

ТАДЕУШ БОРОВСКИЙ ПРОЩАНИЕ С МАРИЕЙ

Тадеуш Боровский

ПРОЩАНИЕ С МАРИЕЙ

рассказы



Тадеуш Боровский

ПРОЩАНИЕ С МАРИЕЙ

рассказы



Тадеуш Боровский
ПРОЩАНИЕ С МАРИЕЙ

рассказы

*Перевод с польского
под редакцией С. Тонконоговой*



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1989

ББК 84.4П
Б83

Tadeusz Borowski
Pożegnanie z Marią. Opowiadania.

Составление
С. ЛАРИНА

Предисловие
Т. ДРЕВНОВСКОГО

Иллюстрации
Б. ЛИНКЕ

Оформление художника
Л. РЕВТОВА

Б $\frac{4703010100-164}{028(01)-89}$ 129-89
ISBN 5-280-00664-5

© Состав, перевод предисловия, переводы, не отмеченные*, оформление. Издательство «Художественная литература», 1989 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В богатой и многообразной польской литературе военного времени и первых послевоенных лет Тадеуш Боровский занимает совсем особое место. Он прожил всего лишь двадцать девять лет, литературное его наследие невелико, не лишено внутренних противоречий, многие замыслы остались незавершенными, — и все же его значение трудно переоценить.

Еще при жизни у него было много читателей, его произведения потрясали, хотя отношение к ним было далеко не однозначным. Почти каждый его рассказ, каждая книга вызывали споры и возражения. Их критиковали и часто даже осуждали с разных позиций и по разным причинам. Они не укладывались в привычные рамки, поэтому в них часто усматривали проявление необузданного юношеского нигилизма. Сам Боровский не стремился помочь читателю: он писал свободно, безоглядно, не боялся выставить себя в неприглядном виде, был раздираем противоречиями своего времени и своей психики. И только после его трагической смерти, после того как были собраны уцелевшие произведения, выяснены не известные ранее факты биографии, в перспективе времени и приобретенного исторического опыта, стало возможным по-новому взглянуть на это исключительное явление и понять его место в польской литературе.

Боровский дебютировал во время оккупации, в конце 1942 года. Ему было двадцать лет. Он работал в Варшаве кладовщиком строительной конторы в районе Праги и изучал полонистику в подпольном варшавском университете. Война ускорила про-

цесс созревания нового литературного поколения. Среди соучеников Боровского по университету оказалось много молодых поэтов: Кшиштоф Камиль Бачинский, Вацлав Боярский, Тадеуш Гайцы, Анджей Тшебинский, Здислав Строинский, Станислав Марчак-Оборский и другие. Благодаря этой молодежи в оккупированной Варшаве появились первые ростки литературной жизни. Однако им не легко было преодолеть пережитую катастрофу и обрести новое, свое, идейное направление. Большинство объединилось вокруг журнала «Штука и наруд» («Искусство и народ»), связанного с организацией правого толка «Национальная Конфедерация», которая в оккупированной стране продолжала вынашивать мечту о великодержавной Польше. Боровский, так же как и Бачинский, был ярким противником этой идеологии (на этой почве он разошелся со своим школьным и университетским другом Анджеем Тшебинским). Из послевоенных воспоминаний Боровского об этом периоде видно, с какой страстью и верой в науку и искусство он погрузился в занятия, зачитываясь философами и поэтами. А вскоре и сам выступил как поэт. Тогда же вокруг него образовался литературный кружок, ставший центром левой и сочувствующей ей творческой молодежи, который противопоставлял себя «Искусству и народу». Собиралась молодежь обычно в помещении склада на Скарышевской, где работал и жил Боровский; они устраивали диспуты, читали стихи, развлекались. Несмотря на грозное время, они не хотели отказываться от того, «в чем радость юности и поэзии». Тяжело работая, Боровский в эти страшные годы жил как в «золо-

том веке»: отдавался науке, поэзии, дружбе, любви. Все, о чем он мечтал, что любил, что ненавидел, стало темой первых его поэтических опытов. В конце 1942 года он решил вслед за «Избранными стихами» К.-К. Бачинского издать томик своих стихов и отпечатал его на гектографе в складе на Скарышевской. Это был поэтический цикл «Везде, где земля...». Дебют не был эффектным. Мрачными, раздерганными «метафизическими гекзаметрами» изображал он свершающийся апокалипсис. В цикле было лишь одно стихотворение, написанное ямбом, — «Песнь», оно оканчивалось пророческими словами:

Как труп на поле боевом,
лиловы небеса в потемках.
Что мы оставим? Ржавый лом
и смех язвительный потомков¹.

В то время почти все молодые поэты писали «катастрофические» стихи, частично они были навеяны предвоенной поэзией, но прежде всего самой окружающей действительностью. Катастрофизм Боровского выделялся на общем фоне более широким восприятием эпохи, которую Андре Мальро окрестил «годами презрения» (по названию его романа), ощущением значительности и трагизма зарождающейся поэзии и наконец стоицизмом мужественного человека, который, сопротивляясь судьбе, сознает весь ужас и масштабы происходящего. Не удивительно поэтому, что весь цикл, а особенно «Песнь» не нашли понимания у большинства пер-

¹ Перевод Л. Тоома.

вых читателей, а сверстникам из «Искусства и народа» показались плодом малодушия.

Поэзию Боровского трудно понять, не зная обстоятельств его жизни. Трагедия эпохи коснулась его еще до того, как началась война. Он родился в 1922 году в Житомире на Украине, и уже в раннем детстве ему пришлось пережить арест и ссылку родителей. Он остался один, под присмотром дальних родственников. В 1932 году его отец, отбывавший ссылку на дальнем севере, смог вернуться в Польшу благодаря предпринятому властями обмену, и тогда же был репатриирован вместе с братом десятилетний Тадеуш; годом позже вернулась мать. Семья поселилась в Варшаве. В Польше их ждала нелегкая жизнь. Отец поступил рабочим на фабрику Лильпоппа, мать подрабатывала шитьем, сыновей отдали в интернат ордена францисканцев. В сентябре 1939 года, во время осады Варшавы дом сгорел, и семья осталась без крова. Нужно было начинать зарабатывать на жизнь и учение. Знакомство с «годами презрения» для Боровского началось рано. Война и оккупация оказались не первыми тяжелыми впечатлениями его юности. Все это определило мрачный, в своем роде единственный колорит сборника «Везде, где земля...».

Через несколько месяцев после поэтического дебюта, в феврале 1943 года, Боровский был арестован гестапо. Внезапно исчезла его невеста, и когда он, ни минуты не раздумывая, отправился на поиски, то попал в засаду и был брошен в тюрьму Павяк. Вскоре его вывезли в самый крупный гитлеровский концлагерь Освенцим, где уже на всю мощь рабо-

тали крематории. Боровскому вытатуировали на руке номер 119198. Проработав несколько месяцев в Будах и Гармензе, он тяжело заболел и попал в освенцимский лазарет. Когда он был уже вне опасности, друзьям удалось оставить его там в качестве санитаря. Неподалеку, за колючей проволокой, в еще более ужасных условиях находилась его невеста. Тадеуш пытается наладить с ней связь, передает ей лекарства. Позднее воспроизведенные автором письма к невесте сложатся в рассказ «У нас в Аушвице...». Вскоре он добровольно оставляет лазарет и вступает в команду «дахдекеров» — лагерных кровельщиков, чтобы иметь возможность видаться со своей возлюбленной. Линия фронта приближается, напуганные немцы начинают ликвидацию Освенцима. В августе 1944 года Боровский попадает в эшелон, и его везут еще почти на год в концлагеря в глубь рейха — сначала в Даутмерген около Штутгарта, а затем в Дахау Аллах.

Реакция Боровского на арест и лагерные мытарства была поразительной. Казалось, он ничего иного и не ожидал, был ко всему готов. В превратностях своей жизни он видел лишь закономерность общей судьбы. В тюрьме и лагере он не перестает писать. На рождество 1943 года создает в Освенциме цикл лагерных колядок, в лагере поют его песенку о любви, которая «сильнее смерти». В стихах и письмах, адресованных невесте, молодой поэт, студент варшавского университета, старается постигнуть тайну лагеря, сопоставить его со своими представлениями о человеке, с бессмертными мифами европейской культуры.

Я, певец человека, в грязном лежу бараке,
взглядом ловлю легенду, как птичий полет в облаках,
только ищу напрасно в глазах человеческих знака.
Есть человек, лопата, ров да похлебки черпак...¹

(«Невесте»)

Лагерных стихов Боровского сохранилось немного, но и то, что уцелело, эти необычные свидетельства складываются в страшную картину ада («люди горят, как груды добрых смолистых дров»), в рассказ о «царстве зла, где нет Бога», «где брат оподлившийся губит брата», в жуткую эпопею «тела блуждающего, битого тела, на границе жизни и смерти». В этом кошмарном мире, где попораны все человеческие ценности, где идет борьба лишь за выживание, ослепительно сияет любовная лирика Боровского, его «Солнце Освенцима».

1 мая 1945 года лагерь Дахау Аллах был освобожден Седьмой американской армией. Но Боровского не сразу выпустили на свободу. Из страха перед столпотворением, которое могло возникнуть при освобождении громадной массы людей, согнанных гитлеровцами в глубь рейха, американцы организовывали лагерь для перемещенных лиц и постепенно их разгружали. Боровский снова оказался за проволокой, в бывших казармах СС во Фреймане, предместье Мюнхена. Оттуда он вышел благодаря случаю сравнительно скоро: его вызвали в Мюнхен, когда там создавалось Бюро розыска родственников при Комитете Польского Красного Креста. Боровский усиленно занимается розысками и прежде все-

¹ Перевод З. Левицкого.

го пытается найти свою невесту, о судьбе которой долго ничего не знает. Он шлет письма во все концы, пишет поэтическую «Молитву к Марии». И наконец через несколько месяцев находит ее — тяжело больную — в Швеции, куда незадолго до конца войны была вывезена специальным эшеленом часть женского лагеря Равенсбрюк. Боровский считал, что им легче будет соединиться, если он останется в Германии. Но, несмотря на отчаянные усилия и содействие друзей, добиться этого не удалось. Освобожденная Европа не была милостива даже к влюбленным.

Пребывание в лагере для перемещенных и год, проведенный в Мюнхене, оказались для Боровского очень плодотворными. Еще в лагере, где ему сопутствовала поэтическая слава (не всегда облегчая жизнь!), он получил предложение от союзника, бывшего издателя и прекрасного графика Анатоля Гирса, издать сборник варшавских и лагерных стихотворений. Теперь Гирс осуществил свое намерение. В известном мюнхенском издательстве Брукмана появилось изящное, библиофильское издание — третий том поэзии Боровского, называвшийся «Имена течения» (второй, скромный сборник лирических стихов друзья издали в Варшаве, когда Боровский был еще в Освенциме). Но — самое главное — он продолжает писать стихи: стихи об освобождении и о новых порядках в Европе, которые он наблюдает с немецкого пепелища. После всего, что пережила Европа, после всего, что испытал он сам, он надеялся, что восторжествует справедливость, опирающаяся на правовые нормы, что уцелевшая в схватке с фа-

шизмом Европа восстановит давние традиции свободы и демократии. Но, по мнению поэта, этим и не пахло. Преступления оставались безнаказанными, правосудие было лицемерным фарсом, в конце второй мировой войны уже маячило начало третьей, а тем временем американцы насаждали в Европе свои порядки. Поэзия Боровского дышит горечью и иронией. Она взывает к возмездию и отмщению (эти чувства в то время охватили сотни оставленных без крова людей), не чужды ей и мысли о свершении правосудия своими руками. Боровского самого пугают эти опасные порывы: он хотел бы, чтобы суд вершился законным порядком, а он, поэт, вернулся бы к нормальной жизни. Но нет спасения от собственного опыта и собственной памяти. Когда рушатся надежды, связанные с освобождением, поэзию Боровского вновь заполняют мрачные сонмы призраков прошлого. Пред ним предстают сожженные, расстрелянные друзья-узники. В прекрасных стихах «Погибшие поэты», «Уход поэта» и других, посвященных павшим в бою товарищам его варшавской молодости, возникает, несмотря на некогда разделявшие их взгляды, чувство вечного единения в смерти, которое предопределяет и его судьбу:

зовет травяная глубь, лугов замогильных зелья,
дальше иду, под землю, глубже и глубже,
к вам в подземелья¹.

(«Погибшие поэты»)

¹ Перевод В. Британишского.

В ожившей памяти рождается сознание вины перед павшими — близкими и незнакомыми — за то, что выжил! Сознание вины, тяготеющее над каждым участником этой трагедии: «А кто же из вас, живых, смерть видевших, — без вины?» Это чувство вины всех уцелевших, и своей собственной, одновременно сочетается с «мистической верой» в нравственное возрождение человечества, которое, несмотря ни на что, должно с их помощью наступить. Среди пассивности окружающего мира Боровскому все яснее становится, что эта задача для него связана с «Землей расстрелянных», с возвращением на родину.

Что ты такое, если душу
тревожишь тьмой развалин черных
и через море, через сушу
к себе зовешь меня упорно?

Что ты, руина или пашня,
о муза, всех других упрямей?
Ни на минуту ты не дашь мне
забыть об известковой яме!

Что ты? Борюсь с тобой, встревожен
призывом призрака постылым,
земля расстрелянных... И все же
иду к тебе, к твоим могилам!¹

И несмотря на то, что не все ожидания исполнились, несмотря на множество опасений, сомнений, противоречий (о чем так трагически сказано в последнем мюнхенском стихотворении: «...ни стихи, ни проза, лишь веревки кусок...»), «муза, всех других упря-

¹ Перевод В. Бурича.

мей» привела Боровского на родину. Через три года и три месяца после ареста, в июне 1946 года, возвращением в Варшаву окончились его мытарства по разоренной Европе и одновременно завершился его потрясающий поэтический дневник.

Вернувшись в Польшу, куда удалось наконец приехать и его невесте и где они поженились, Боровский неожиданно забрасывает поэзию, не издав даже того, что уже было написано — обещанного «Разговора с другом». Он поглощен другими замыслами, которые, кстати, в его поэзии, явно недооцененной, назревали уже давно. Еще в Мюнхене по совету Гирса три молодых автора: Тадеуш Боровский, Кристин Ольшевский и Януш Нель Седлецкий написали книгу-документ под названием «Мы были в Освенциме». В этой книге, изданной в Мюнхене в 1946 году, составленной и отредактированной Боровским, он поместил свои первые рассказы, не придавая им особого значения. Но когда они были опубликованы в польском журнале «Творчество», стали громким литературным событием и вызвали настоящий скандал, поэт понял, в чем его истинное призвание. Через полтора года, в 1948 году, Боровский выпустил свою знаменитую книгу рассказов «Прощание с Марией».

По понятным причинам польская литература оставила много свидетельств о военном времени. Сразу после войны появились произведения документального характера, рассказывающие о гитлеровских преступлениях и мученичестве польского народа (самое известное «Дым над Биркенау» С. Шмаглевской). Были и произведения психологические, ана-

лизирующие феномен озверения палачей и героизма жертв; безмерность страданий пытались порой трактовать в мистическом плане, например, З. Косак-Щуцкая в своей книге «Из бездны». Крупнейшие писатели мира видели в беспримерном массовом истреблении полный крах традиции европейского гуманизма. Но ни одна из этих книг, даже самых значительных, не в состоянии была передать всю правду о тотальной войне и ее ужаснейшем проявлении — Освенциме.

Боровский также не претендовал на то, чтобы рассказать всю правду об Освенциме. Но ему удалось вскрыть самое существенное и самое мучительное. Он не стал заниматься психологией палача и психологией жертвы, сумел отрешиться от страданий миллионов и того ада, что пережил сам, — и посмотрел на лагерь взглядом холодным, беспощадным.

Для Боровского лагерь — это следствие успехов и побед третьего рейха, того нового порядка, который гитлеризм пытался навязать покоренной Европе. Чтобы утвердить господство немецкой расы над миром, гитлеровский фашизм счел необходимым использовать в своих интересах покоренные народы, принудить жертвы к соучастию в их же истреблении. Лагерь не был ни сборищем преступных натур, ни бессмысленной гекатомбой, ни возмездием за грехи человеческие, — это была четко продуманная система, сознательно организованное предприятие, служившее целям гитлеризма. Это не были — говоря словами Альбера Камю — обычные преступления от разгула страстей, испокон века известные человечеству, здесь миру явилась следую-

щая ступень — преступления, подчиненные логике тоталитарной системы, доведенной до высшей точки, до невиданных в истории размеров, до масштабов геноцида. Теперь, по прошествии многих лет, этот механизм детально изучен: множество научных институтов, опираясь на архивные изыскания и всевозможные исследования, раскрыли миру, как гитлеризм пришел к созданию подобного уникального государства, с какой последовательностью внедрял свой новый порядок, как близок был к его осуществлению. Тадеуш Боровский без помощи архивов и сонма ученых, с первого взгляда сам постиг эту систему, обнажив ее политические, экономические и социологические механизмы.

Кроме познавательной ценности, кроме анализа логики гитлеровских преступлений, в рассказах Боровского содержится нечто большее. Трагедия концлагерей сформулирована в них иначе, чем почти во всей прочей литературе. Центр тяжести перенесен на жертвы. Для Боровского истинная трагедия лагерей состояла не в отношениях между палачами и жертвами: палачи, эти не имеющие оправдания послушные винтики гитлеровской машины эксплуатации и уничтожения, — хоть и заслужили петлю — все же на роль полноправных, достойных участников трагедии не тянут.

Главной трагедией концлагерей, к которой привела продуманная, преступная логика их создателей, было истребление всего человеческого в жертве, принуждение под страхом смерти к покорности, расчетливое натравливание человека на человека. В этом Боровский увидел наиболее изощренную,

истинно дьявольскую сторону лагерей. В своих рассказах он не сосредоточивается ни на частых случаях нравственного падения и патологических срывов, ни на нередких случаях геройства, а исследует механизм «будничного выживания». В соответствии с этой задачей героями своих рассказов он сделал не злостного преступника и не лагерного святого, а человека, который хочет выжить — лагерного форарбайтера, заключенного, которого используют на подсобных работах, или же просто узника, постигшего законы лагерной жизни и сумевшего к ним приспособиться. Злоключения такого заурядного, неплохого по природе, но прошедшего лагерную выучку человека и стали содержанием рассказов: «День в Гармензе», «Пожалуйста в газовую камеру», «Смерть повстанца».

В своей книге Боровский не ограничился рассказами о концлагерях. Писатель сделал следующий, еще более рискованный шаг. В рассказах не лагерных, периода оккупации («Прощание с Марией») и периода освобождения («Битва под Грюнвальдом»), он задумался над проблемой: что предвещало появление такого изуродованного лагерем человека и что с ним стало, когда война кончилась. Таким образом, свой диагноз упадка гуманистических ценностей, деградации человека Боровский распространил и на другие ситуации, на более широкую сферу.

Вызывающий характер рассказов Боровского, беспощадных в своих внешних, так называемых би-хевиористских описаниях, в стилистике и языке, усугублялся тем фактом, что поэту-форарбайтеру автор дал свое имя. Хотя очевидно, что весь цикл

был продуманной и искусно построенной литературной конструкцией, Боровский-узник поступил так не случайно. Это был сознательный нравственный акт. И пусть литературный образ имел с автором мало общего, Боровский пытался — как это высказано в его поэзии — взять и на себя вину за то, что выпало на долю простого человека его времени. В этом он видел свою писательскую задачу, этого же требовал в своих статьях от других.

Сборник «Прощание с Марией» дал совершенно оригинальную картину «годов презрения» (пожалуй, ближе всего к ней «Медальоны» З. Налковской) и наиболее острую, притом лишенную всякого морализирования, нравственную критику эпохи. Но эта книга не вмещалась в рамки тогдашних литературных категорий. Она вызвала шок — и почти полное непонимание. Примитивно мыслящие критики, отождествив образ героя с автором, сочли, что Боровский разоблачил себя как лагерного преступника и должен быть посажен на скамью подсудимых. Другая часть критиков, которая приняла за чистую монету вымышленную психологию героя, не уловив критического подтекста, восприняла эту прозу как невольное свидетельство его «зараженности смертью», нигилизма, отречения от всех ценностей. Особое негодование вызвали рассказы периода оккупации и конца войны. В момент выхода книги лишь очень немногие поняли всю сложность ее художественного построения и уловили ее суть: своеобразный способ борьбы автора со злом эпохи.

В том же году вышла и следующая книга Боров-

ского: цикл коротких новелл «Каменный мир». Этот цикл, или, как его называл автор, «один большой рассказ, состоящий из двадцати самостоятельных частей», дополнял картину, созданную в «Прощании с Марией». Он также был защитой авторской позиции, подвергавшейся суровым нападкам. В сравнении с предыдущей книгой в «Каменном мире», написанном в том же стиле, с использованием трудной формы короткой новеллы, так называемой short story, было явлено и нечто новое: автор отказался от посредничества «форарбайтера Тадека»; вместо «будничного выживания» он ввел яркие эпизоды лагерной жизни («Ужин», «Смерть Шиллингера»), привлек больше автобиографического материала («Случай из собственной жизни», «Путешествие в пульмане»). Боровский как бы хотел засвидетельствовать, что «Прощание с Марией», которое шокировало общественное мнение, было лишь облегченной версией подлинной жизни в концлагерях и того, что пережил он сам. Половина новелл «Каменного мира» относится к уже освобожденному миру, но теснейшим образом связана с лагерным прошлым. Послевоенную жизнь Боровский ставит в зависимость от лагерного опыта или его последствий, не всегда, впрочем, достаточно обоснованно. Большинство новелл «Каменного мира» посвящено известным современным писателям, с чьими произведениями или позицией эти новеллы, по мысли автора, должны были полемизировать. Отстаивая свою точку зрения, Боровский в этой книге подкреплял ее новыми произведениями-аргументами, нападая на современную литературу, которая — по его мне-

нию — пренебрегала самым тяжелым и существенным наследием войны.

Работая над «Прощанием с Марией» и «Каменным миром», писатель лелеял более широкие замыслы. Он задумал и частично осуществил новые вещи, также в жанре больших и средних рассказов и коротких новелл, они должны были дополнить задуманную картину, более широко показать интеллектуальный и моральный опыт «годов презрения», дописать до конца эту пережитую главу нравственной истории человека.

К сожалению, в 1948—1949 годы начался период малоблагоприятный для работы писателя. Были выдвинуты догматически упрощенные лозунги социалистического реализма, призывающие к отказу от военной тематики, повороту к современности и строительству социализма, к политической и назидательной литературе. У Боровского эти лозунги отклика не нашли, в то время непонимание, встретившее обе его книги, поколебало его уверенность в правильности избранных им литературных средств и самой идеи «моральной революции», которой они были призваны служить.

Боровский с юных лет был сторонником социальных требований революции и в 1948 году вступил в ППР. Новый, сложный политический курс и испытываемые писателем сомнения вступали в противоречие. В его литературном творчестве возникает двойственность: он пытается писать по-новому, не оставляя, однако, и своих прежних замыслов. Рассказом «Январское наступление», в котором проблематика «годов презрения» переносится из области

морали в историко-политический план, он вскоре завершает свой главный цикл, но через некоторое время отрекается от него и решительно его осуждает. Несмотря на незавершенность, этот цикл вошел в литературу как самое значительное произведение такого рода. «Я считаю, — писал Ярослав Ивашкевич в 1961 году в предисловии к «Прощанию с Марией», — что никто, кроме Боровского, не смог так глубоко проникнуть в сущность процесса, позорящего человечество, никто не сумел так точно описать методы и последствия растления человеческих душ. Никто — это не значит никто у нас. Мне кажется, что рассказам Боровского нет ничего подобного в мировой литературе. Это высшее достижение в этом жанре». Эту оценку подтверждает растущий во всем мире интерес к творчеству Боровского.

В 1949 году, после более чем трехлетнего перерыва Боровский вернулся в Германию. Он занял должность референта по вопросам культуры в Польском информационном пресс-бюро в Восточном Берлине в самый разгар «холодной войны». Он считал своим долгом участвовать в перевоспитании народа-виновника, которое, по его мнению, было возможно лишь на путях социализма. С энтузиазмом взялся он за налаживание культурной жизни в только что образованной ГДР, и о нем сохранились самые лучшие воспоминания в кругу прогрессивных немецких писателей. Оттуда он возвращается ярким сторонником социалистического реализма. В последний год жизни Боровский всецело отдается лихорадочной политической деятельности и воинствующей публицистике (в основном на страницах еженедельника

«Новая культура»), которая, не разбирая средств и аргументов и была в плену догматизма того сложного времени. Собственное творчество отходит на задний план: некоторые из его тогдашних произведений вопреки провозглашаемому им самим принципам сохраняют прежний размах («Концерт в Герценбурге», «День плантатора»), в других же он пытается по-своему, не схематически, отобразить новую проблематику («Заботы пани Дороты»). Внезапное самоубийство писателя 2 июля 1951 года явилось полной неожиданностью для всех и до сих пор осталось неразгаданной тайной. В одном из мюнхенских стихотворений Боровский писал:

Мир — лабиринт перепутанных линий,
линий, плетущих чудовищный узел...¹

(«Лабиринт»)

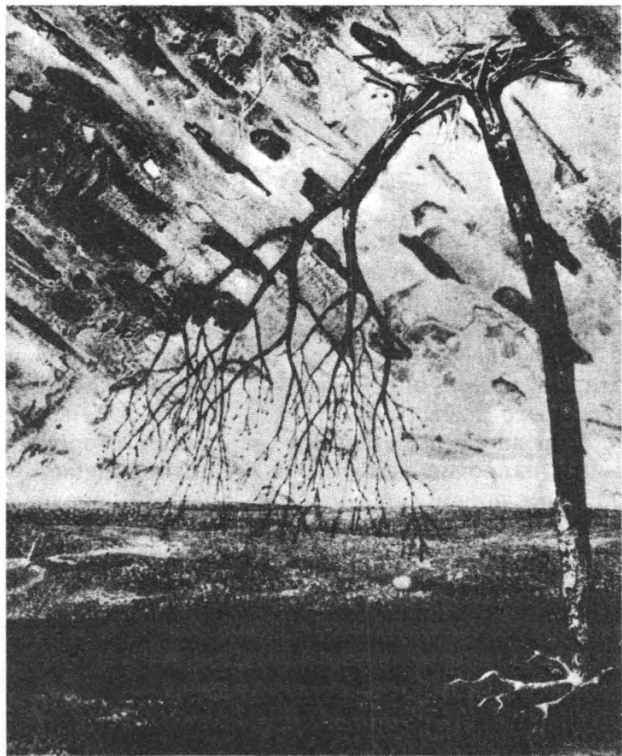
В лабиринте каменного мира, из которого писатель столько раз и так гениально выбирался, он на сей раз не сумел найти выхода.

Тадеуш Боровский принадлежал к тем редким, исключительным писателям, для которых жизнь и творчество представляют единое целое. Благодаря этому он достиг столь многого. Но платил всегда по высшей ставке. Он кровью писал свои произведения, не отгораживаясь от общей судьбы, и в своих сочинениях сокрушал все перегородки между личностью и обществом, требуя от себя и от каждого ответственности за другого человека, за его поступки, за общий миропорядок. Может быть, потому эти страницы уже далекого прошлого все еще живы, по-прежнему волнуют и тревожат...

Тадеуш Древновский

¹ Перевод В. Британишского.

ПРОЩАНИЕ С МАРИЕЙ



ПРОЩАНИЕ С МАРИЕЙ

I

За столом, за телефоном, за стопкой канцелярских книг — окно и дверь. В двери два зеркальных стекла, отливающих ночной чернотой. За окном небо, затянутое набухшими тучами, которые ветер гонит вниз, к северу, за стены сгоревшего дома.

Сгоревший дом чернеет на другой стороне улицы, напротив калитки, за защитной решеткой, увенчанной серебристой колючей проволокой, по которой, как звук по струне, скользит фиолетовый отблеск мерцающего уличного фонаря. На фоне хмурого неба, справа от дома, окутанное молочными клубами паровозного дыма, высится безлистное дерево, неподвижное, несмотря на ветер. Грузенные товарные вагоны минуют его и с грохотом мчатся на фронт.

Мария подняла голову, оторвавшись от книги. Полоса тени лежала на ее лбу и глазах, сползала по щекам, как прозрачная шаль. Она положила руки на лампочку-грибок, стоявшую среди пустых бутылок, тарелок с недоеденным сала-

том, пузатых ярко-красных рюмок на синих подставках. Резкий свет, преломляясь на краях предметов, впитывался, словно в ковер, в сизый дым, застилавший комнату, отражался в хрупких ломких гранях стекла и мерцал внутри рюмок, как золотой лист на ветру, — и вдруг вспыхнул в ее ладонях, которые розовым куполом плотно сомкнулись над ним. Лишь едва заметно пульсировали ярко розовые полосы между пальцами. Комнатка наполнилась уютным сумраком, стеклась к ладоням, уменьшилась до размеров раковины.

— Смотри, нет границы между светом и тенью, — шепнула Мария. — Тень, как прилив, подползает к ногам, окутывает нас, сужает мир: в нем только ты да я.

Я наклонился к ее губам, к маленьким трещинкам, спрятанным в уголках рта.

— Ты пульсируешь поэзией, словно дерево соком, — сказал я шутливо, отмахиваясь головой от назойливого пьяного шума. — Берегись, как бы жизнь тебя хорошенько не стукнула.

Мария приоткрыла губы. Между зубов легонько дрожал темный кончик языка: она улыбнулась. Затем крепче сжала пальцы вокруг грибка, и блеск, таившийся на дне ее зрачков, потускнел и погас.

— Поэзия! Мне это так же недоступно, как слышать форму или осязать звук. — Мария задумчиво откинулась на спинку кушетки. В полутени красный, облегающий свитер набрал пурпурной сочности, а на складках в скользящем свете пушисто вспыхивал кармином. — Но только поэзия способна верно отобразить человека. Я имею в виду: человека во всей полноте.

Я щелкнул пальцами по стеклу рюмки, она отозвалась робким коротким звоном.

— Не знаю, Мария. — Я с сомнением пожал плечами. — По-моему, мерой поэзии, а быть может и религии тоже, является рожденная ими любовь человека к человеку. Это самый объективный критерий.

— Любовь, конечно, любовь! — жмурясь, сказала Мария.

За окном, за сгоревшим домом, по широкой, разделенной сквером улице, с грохотом пронеслись трамваи. Электрические вспышки озарили фиолетовую темноту неба, словно синие сполохи магнезии, они пробивали мрак, заливали лунным светом дом, улицу и ворота, коснувшись черных оконных стекол, стекали по ним и бесшумно гасли. Вслед за ними гасло и высокое, тонкое пение трамвайных рельсов.

За дверью, в соседней комнате, снова завели патефон. Сдавленная, словно исполняемая на гребенке, мелодия терялась в назойливом шарканье ног и в гортанном смехе девушек.

— Вот видишь, Мария, кроме нас существует еще и другой мир, — засмеялся я, поднимаясь с кушетки. — Так-то. Если б можно было понимать весь мир, видеть весь мир, как понимаешь свои мысли, ощущаешь свой голод, как видишь окно, ворота за окном и тучи над воротами, если б можно было видеть все одновременно в законченном виде, тогда, — сказал я задумчиво, обойдя кушетку и встав у горячей печки, между Марией, майоликовыми плитками и мешком картошки, заготовленной на зиму, — тогда любовь была бы не только мерой всех вещей, но и их конечной инстанцией. Увы, мы обречены на экспериментирование, на одинокие, обманчивые

переживания. Какая же это неполная, какая ложная мера вещей!

Дверь, ведущая в комнатку с патефоном, открылась. Пошатываясь в такт музыке, вошел Томаш под руку с женой. Ее округлившийся, как у беременных, но не растущий более живот вызывал неизменное любопытство друзей. Томаш подошел к столу и наклонился над ним, покачивая своей лобастой, круглой, массивной, как у быка, башкой.

— Плохо стараешься, водки нету, — сказал он с мягким укором, внимательно осмотрев посуду, и, увлекаемый женой, прошествовал к выходу. Он рассматривал ее тупым взглядом, как картину. Говорили, это у него профессиональная привычка, — он торговал подделками под Коро, Ноаковского, Панкевича. Кроме того, он был редактором синдикалистского журнала и считал себя крайне левым. Они вышли на скрипящий снег. Клубы морозного пара покатались по полу, словно ворсистые мотки белой шерсти.

Вслед за Томашем в контору величественно вплыли танцующие пары, сонно закружились вокруг стола, майолики и картофеля, старательно обходя подтеки у окна, и, оставив красные следы от свежей мастики, вернулись, откуда пришли. Мария вскочила из-за стола, машинально поправила прическу и сказала:

— Тадеуш, мне пора. Начальник просил начинать пораньше.

— У тебе еще не меньше часа, — возразил я.

Круглые конторские часы с помятым железным циферблатом мерно тикали, подвешенные на длинной веревке между полусвернутым плакатом, карандашным рисунком фантастического горизонта и наброском углем, изображающим

замочную скважину, сквозь которую виден фрагмент кубистской спальни.

— Пойду возьму Шекспира. Постараюсь за ночь подготовить «Гамлета», ведь во вторник занятия.

Войдя в другую комнату, она присела на корточки у книжной полки. Полка была грубо сколочена из неструганных досок. Под тяжестью книг доски прогибались. В воздухеплыли голубые и белые струйки дыма, стоял тяжелый запах водки, смешанный с вонью человеческого пота и известковым духом сырых гниющих стен. На них качались, как белье на ветру, ярко раскрашенные листы ватмана; просвечивающие сквозь голубую дымку, словно морское дно, цветными линиями медуз и кораллов. В черном окне, отгороженный стеклом от ночи, путаясь в тонком кружеве занавески, добытой за бесценок у железнодорожной воровки, грустный пьяный скрипач (считавший себя импотентом) тщательно пытался стопами своего инструмента заглушить хрип патефона. Согнувшись, словно под мешком цемента, он с угрюмым ожесточением извлекал из скрипки один-единственный пассаж — готовился к воскресному музыкально-поэтическому вечеру. Выступал он там вымытый, в выходном костюме в полоску, лицо у него было меланхолическое, глаза сонные, как будто ноты он читал в воздухе.

5 На столе, на скатерти с красными цветами, добытой у железнодорожной воровки, среди рюмок, книг и надкусанных бутербродов красовались голые и грязные ноги Аполония. Аполоний покачивался на табуретке и, повернувшись к деревянному, побеленному известкой для защиты от клопов, топчану, на котором, как рыбы, за-

дышающиеся на песке, лежали полупьяные люди, говорил громким голосом:

— Разве Иисус Христос был бы хорошим солдатом? Нет, скорее дезертиром. Во всяком случае, первые христиане убегали из армии. Не хотели противиться злу.

— Я противлюсь злу, — сказал лениво Петр. Он лежал развалившись, между двумя неряшливыми девицами, запустив пальцы в их прически. — И потому сними ноги со стола или вымой их.

— Вымой ноги, Полек, — поддержала его девица, лежавшая у стены. У нее были толстые, рыхлые бедра и красные, мясистые губы.

— Ну да! Еще чего! Знаете, было такое племя, вандалы, очень трусливое, — продолжал Аполоний, пяткой сдвигая тарелки в одну кучу, — все их били и не то из Дании, не то из Венгрии выгнали в Испанию. Там вандалы сели на корабли, поплыли в Африку и пешком подошли к Карфагену, где епископом был святой Августин.

— И тогда святой выехал на осле и обратил вандалов в христианскую веру, — сказал из-под печки молодой человек, попыхивая трубкой. Он надул пухлые, персиковые щеки, покрытые золотистым пушком. Под глазами у него были громадные синяки. Он был пианистом и уже довольно давно жил с пианисткой, у которой были прелестные ямочки на щечках и хищный, страстный взгляд. Летом мы крестили его (ввиду его опасного вероисповедания) при зажженных свечах, с охапками цветов и полным тазом холодной святой воды, в которой предусмотрительный ксендз тщательно вымыл ему голову, а сразу же после крестин, в самом

людном месте Груецкой улицы, мы едва спаслись от облавы. Поженились пианисты не скоро, только поздней зимой. Родители не давали своего благословения, считая брак неравным. В конце концов они, правда, уступили, предоставили молодым комнату для жилья, пианино для занятий и кухню для производства самогона, но не пожелали пригласить друзей на свадьбу, и тогда друзья сами устроили свадьбу. Невеста, в негнущемся голубом платье, сидела в кресле неподвижно, будто аршин проглотила. Она была сонная, уставшая и пьяная.

— Хорошо здесь у вас, очень хорошо, знаешь? — еврейка, которая бежала из гетто и осталась сегодня без ночлега, встала на колени у книжной полки рядом с Марией и обняла ее. — Странно, я уже так давно не держала в руках зубной щетки, бутерброда, чашки чая, книги. Знаете, это трудно передать. И постоянное сознание, что надо уходить. Мне смертельно страшно!

Мария молча погладила ее по птичьей головке, украшенной блестящими волнами прилизанных волос.

— Ведь вы были певицей? И наверное, ни в чем не нуждались.

На ней было желтое цветастое платье с вызывающим декольте, из которого кокетливо выглядывало кремовое кружево комбинации. На длинной цепочке болтался между грудей золотой крестик.

— Нуждалась? Нет, не нуждалась, — в ее влажных, коровьих глазах мелькнуло удивление. У нее были широкие, способствующие деторождению бедра. — Знаете, с артистками даже немцы иначе... — Она замолчала, бездумно уставив-

шись на книги. — Платон, Фома Аквинский, Монтень. — Она трогала ярко-красным крашеным ногтем истрепанные корешки книг, купленных на лотках и украденных у букинистов. — Но если бы вы видели то, что я видела в гетто.

— Августин написал шестьдесят три книги! Когда вандалы осадили Карфаген, он как раз трудился над корректурой и за этим занятием умер! — с маниакальным упорством продолжал Аполоний. — От вандалов ничего не осталось, а Августина читают по сей день. Ergo — война кончится, а поэзия останется, и вместе с ней останутся мои завитушки.

Под потолком сохли на веревках обложки поэтического сборника. Они сильно пахли типографской краской. Свет проникал сквозь черные и красные листы оберточной бумаги и блуждал среди страниц, как в лесной чаще. Обложки шуршали, как сухие листья.

Еврейка подошла к патефону и сменила пластинку.

— Я думаю, на арийской стороне тоже будет гетто, — сказала она, косясь на Марию. — Только из него уже некуда будет бежать.

Подошел Петр и повел ее танцевать.

— Она нервничает, — тихо сказала Мария. — Вся ее семья осталась в гетто.

Иголка попала на трещинку в пластинке и монотонно заныла. В дверях появился разрумяненный с мороза Томаш. Его жена одернула платье на выпуклом животе.

«Конской мордой еще не разогнаны две последние мрачные тучи», — продекламировал он и, показывая рукой за окно, крикнул с чувством: — Конь, конь!

В круге золотистого света, падающего из две-

ри, ослепительно белый и гладкий снег лежал, будто тарелка на пепельной скатерти, дальше, в тени, он серел и синел, словно отражая небо, и лишь у калитки искрился в блеске уличного фонаря. Нагруженная доверху, будто воз с сеном, подвода неподвижно высилась в темноте. Красный фонарь покачивался под колесами, отбрасывая на снег зыбкие тени, освещая ноги и живот лошади, казавшейся выше и крупнее обычного. Кожа точно дышала — от нее валил пар. Лошадь стояла, понунив голову от усталости.

Возчик топтался у телеги в терпеливом ожидании, хлопая себя по груди ладонями. Когда мы с Томашем отворили ворота, он неторопливо взял в руку кнут, взмахнул вожжами и причмокнул. Лошадь вскинула голову, дернулась изо всех сил, но телега не сдвинулась с места. Передние колеса застряли в сточной канаве.

— Бери ее, стерву, под уздцы и подай назад, — сказал я со знанием дела. — Сейчас доску подложу.

— Наза-а-ад! — заорал возчик, навалясь на оглоблю. Жандарм в голубом плаще, охраняющий соседнее здание бывшей городской школы, набитое, как тюрьма, «добровольцами», отправляемыми на работы в Пруссию, подошел со стороны фонаря, тупо стуча подкованными сапогами по плитам тротуара. На груди к портупее у него был подвешен фонарик. Жандарм нажал кнопку и любезно посветил нам.

— Слишком много барахла 'нагрузили, — заметил он деловито. Из-под шлема, из глубокой тени, его глаза над полосой света блеснули, как у волка. Он каждое утро приходил к нам в контору вызвать себе по телефону сменщика и

неизменно докладывал, что за ночь ничего существенного не произошло.

Лошадь всхрапнула, уперлась задними ногами в землю, всем корпусом подалась назад, и подвода сдвинулась с места. Теперь лошадь потянула ее по булыжнику вперед. Телега, нагруженная горой чемоданов, узлов, мебели и громающей посуды, качаясь, въехала по доскам во двор. Жандарм выключил фонарик, одернул португую и, не спеша, зашагал в сторону школы. Обычно он проходил мимо нее, шел дальше, до маленького костела (частично сожженного в сентябре тридцать девятого и бережно, упорно восстанавливаемого в течение всего сезона материалами нашей фирмы) и сворачивал у подгнившей стены приюта для безработных, который помещался в бывшем заводском цехе у самой железной дороги. Это был бойкий перевалочный пункт, через который текли непрерывным потоком, штабелями и поштучно, одеяла, отрезы, теплая одежда, носки, консервы, сервизы, занавеси, скатерти, полотенца и всяческое другое добро, ворованное с товарных эшелонов, идущих на фронт, а также покупаемое у персонала санитарных поездов, которые, возвращаясь с фронта с продовольствием, ранеными, бельем, часами, деталями машин, мебелью и зерном, часто останавливались на станции, как у портового мола.

Возчик еще раз для острастки взмахнул кнутом, повернул лошадь и подъехал к деревянному сараю. Лошадь тяжело дышала, окутанная клубами пара. Когда возчик с грубоватой нежностью распряг ее, она еще с минуту постояла в оглоблях, словно собираясь с силами, затем медленно побрела к крану и ткнулась мордой в ведро. Вылебав воду до дна, она глотнула еще

из второго ведра, затем, волоча за собой сбрую, двинулась к раскрытым воротам конюшни.

— Ну и привез же ты барахла, Олек, — заметил я, окинув взглядом содержимое телеги.

— Старуха велела все забирать, — ответил возчик. — Гляньте, я прихватил даже кухонные табуретки и полочки из ванной. Она все время над душой у меня стояла.

— Не боялась, средь бела дня?

— Зять получил для нее разрешение у своего приятеля, — сказал Олек. У него было худое, костлявое лицо, посиневшее от мороза. Он скинул шапку. Жесткие от извести волосы взлохматились над лбом.

— А дочь?

— С мужем осталась. Ругалась со старухой, что ей придется остаться еще на сутки. — Он поплевал на свои жилистые ладони, изъеденные цементом, известью, гипсом.

— Ну, давайте разгружать. — Он залез на подводу, распустил веревки и начал подавать один за другим стульчики, вазы, подушки, корзины с бельем, старинные коробки, связки книг. Мы с Томашем подхватывали все это, тащили в затхлый, темный сарай и укладывали там на бетоне, между мешками с окаменевшим цементом, грудой воняющего смолой толя и кучей сухой извести, предназначенной для розничной продажи крестьянам. Едкая известковая пыль носилась в воздухе и щекотала ноздри. Томаш задышался. У него было больное сердце.

— А чего это начальник взял к себе старуху? — спросил возчик, когда мы закончили разгрузку.

— Из благодарности. Она его вывела в люди. — Я закрыл дверь сарая и повесил замок.

— Благодарность — прекрасная вещь, — сказал Томаш, стараясь дышать ровно и глубоко втягивая воздух. Он очистил ладони снегом и вытер их о брюки.

— Да-а... намаялся я сегодня, — возчик слез с подводы, неуклюже двигаясь в своем жестком тулупе, покрытом коркой извести, смолы и дегтя. Он прислонился к телеге, облегченно шмыгнул носом и вытер лоб ладонью. — Ох, пан Тадек, чего я там нагяделся, если бы вы знали! Тетки, детишки... Хотя и еврейские, а все одно...

— Выбрались-то благополучно?

— Инженер встретился нам по пути. Как бы хлопот не вышло?

— Да ну, — сказал я пренебрежительно. — Что нам могут сделать эти охламоны? Раз начальник намерен купить филиал, они не станут его задирать. Утром поедешь с товаром. Кубометр извести налево. К семи возвращайся.

— Да, да, с утра известь из ямы покидать придется. Пойду обряжу коня. — Он побрел вслед за лошадью в конюшню. Проходя мимо конторы, поклонился.

В золотистом круге света, точно в ореоле, точно в объятиях синей, мерцающей звездами ночи, стояла Мария. Она прикрыла за собой дверь, отгораживаясь от людей и музыки, и выжидающе глядела в темноту. Я отряхнул руки от пыли.

— А как завтра с розливом и развозкой? — Я взял ее под руку и по хрустящему, упругому снегу вытоптанной тропинкой повел к калитке. — Может, подождешь до обеда? Развезем вместе.

Мы стояли у открытой калитки. По пустынной улице, освещенной зыбким светом фонаря,

тупо вышагивал охраняющий школу жандарм в голубой шинели. Над улицей, над светом фонаря, над крутой крышей вжавшегося в стенку сарая шумел ветер, разнося паровозный дым, плыли перистые облака, а над ветром и облаками дрожало небо, глубокое, как дно темного потока. Луна просвечивала сквозь тучи, словно горсть золотого песка.

Мария с нежностью улыбнулась.

— Ты прекрасно знаешь, что я развезу сама, — сказала она укоризненно, подставляя мне губы для поцелуя. Большая черная шляпа бросала тень на ее лицо. Мария была на полголовы выше меня. Я не любил целоваться с ней при посторонних.

— Видишь, ты, поэтический солипсист, на что способна любовь, — весело заметил Томаш. — Любовь значит самоотверженность. Я знаю это по собственному опыту, меня многие любили.

Сумерки, смазывающие все очертания, придавали ему грузность и массивность, и Томаш походил на большую, неотесанную глыбу. Родинка под левым глазом игриво чернела на монументальном, словно высеченном в сером песчанике, лице.

— Конечно, любовь! — беззаботно расхохоталась Мария и, церемонно поклонившись нам, пошла по улице вдоль решетки, навстречу тучам, которые ветер гнал у нас над головами. Она прошла мимо лавочки спекулянта, где я покупал хлеб и колбасу на завтрак, а крестьяне выкупали своих запертых в школе детей. Мария, не оглянувшись, свернула за угол и исчезла. Я глядел за нею еще несколько мгновений, словно лова в воздухе ее следы.

— Любовь, конечно, любви! — Я, улыбаясь, повернулся к Томашу.

— Дай возчику водки, если у тебя что-нибудь припрятано под кроватью, — сказал Томаш. — Пошли, надо брататься с народом.

II

Ночью выпал снег. Прежде чем я официально открыл ворота и дал сигнал к началу торговли, выпроводив пьяных гостей и убрав комнату, возчик, поднявшийся до рассвета, успел выбросить известь из ямы и отвезти ее на стройку, а вернувшись, распрячь лошадь и стереть следы колес. В этот ранний час на дворе было еще темновато, а на улице — пустынно. С железной дороги доносился грохот проезжающих составов. Фигура патрульного жандарма как-то посерела и сникла — откатившаяся волна мрака оставила его на опустевшей улице, словно забытую водоросль. В окнах бывшей школы начали мелькать лица пленников. В спекулянтской лавке, близ склада, грелись у раскаленной печки два полиция. Пьяно моргая красными глазами, лавочник дрожащими руками укладывал в витрине сыр, крупу, хлеб. Крестьянка вынимала из корзинки круги колбасы, исчезающие под прилавком. Сквозь замерзшие стекла сочился тусклый расцвет. По ржавым решеткам стекали грязные капли, монотонно падали на подоконник и тоненькой струйкой лились на пол.

Летом, осенью, зимой и весной — мощенная булыжником, провонявшая гнилью открытых сточных канав улочка, затерявшаяся между полем, вязким, как разложившийся труп, и рядом

ветхих одноэтажных домишек, где помещались прачечная, парикмахерская, хозяйственный магазинчик, несколько продовольственных лавок и заплеванная пивная — улочка эта изо дня в день наполнялась плотной, взбудораженной толпой, которая стекалась к бетонным стенам школы; все глаза устремлялись к современным окнам, к красной черепичной крыше, люди задирали головы, размахивали руками и кричали. Из раскрытых окон школы их звали, белыми ладонями подавали знаки — будто с отчаливающего от берега корабля. Сжатая, словно плотинами, двумя шеренгами полицаев толпа, отхлынув, плыла назад по улочке, докатывалась до площади в самом ее начале, откуда открывался живописный вид на речные отмели, покрытые островками ивняка и редкими лишаями снега, на мост, перекинутый над дымкой, под которой мерцала быстрина, на желтые, пастельные дома города, темные в чистом, спокойном, голубом небе — и, побурлив на площади, с криком возвращалась к школе.

Спекулянтская лавка была маленькой, тихой бухтой. За стаканом свекольного самогона полицаи братались у прилавка с крестьянами, торговали людьми, запертыми в школе. Ночью полицейские спускали «товар» через школьное окно, и он тотчас растворялся в закутках улицы или, в кровь раздирая ноги, перелезал через колючую проволоку во двор нашей строительной фирмы и болтался там до утра, потому что контора была, разумеется, закрыта. В основном это были девушки. Они беспомощно бродили по двору, пялились на кучи песка, груды глины, кубы кирпича, шлакоблоков, дерматина, залезали в сусеки с мраморной крошкой, разные оттенки и

размеры которой использовались для лестниц и надгробий, и беззаботно оправлялись там. Проснувшись, я весьма альтруистично вышвыривал их за ворота, но прибыль от этих операций кроме полицаев (и, вероятно, неприступного, чуждого прозаическим, житейским делам жандарма) доставалась исключительно соседу, лавочнику, впрочем, он не испытывал по отношению ко мне ни угрызений совести, ни благодарности. Я каждый день забегал к нему, чтобы купить четвертушку черного хлеба, сто граммов кровяной колбасы и двадцать граммов масла. Он, как правило, не довешивал, цену же здорово округлял. И, смущенно улыбаясь, дрожащей рукой сгребал деньги.

Да что говорить! Он не доливал сто граммов самогона, не довешивал десять граммов масла, резал хлеб на неровные ломтики и безжалостно выжимал из крестьян деньги за каждую выпущенную из школы деваху, потому что сам хотел жить, у него была жена, был сын во втором классе гимназии и дочь — ученица подпольного лицея, которая уже умела ценить красивые наряды, мальчишеские чары, вкус ученья и увлекательность конспирации; а наша строительная фирма продавала как крестьянам, так и инженерам мокрый алебастр, окаменевший цемент, разбавляла известь водой и подмешивала песок в мастику, а также, получая вагоны с товаром, обнаруживала, при молчаливом одобрении железнодорожного кладовщика, крупную недостачу, на которую немедленно оформляла акт. Казенный поставщик набирал в рот воды, поскольку у него были с фирмой сепаратные расчеты, не оформлявшиеся никакими актами.

Строительная фирма! Она, точно терпеливая дойная корова, кормила всех. Ее законный владелец — толстопузый Инженер с бородкой клинышком, в облегающем клетчатом жилете с брелоком, седой, как патриарх, и нервный, как гипертоник, удовлетворяя прихоти сына-эротомана и святоши жены, транжирящей уйму средств на нищих, костелы и монастыри, выжимал из фирмы даже в самое голодное время (когда мы ели очистки и пайковый хлеб с солью), как молоко из вымени, крупные деньги, расширил склады, арендовал территорию предприятия, сгоревшего в сентябре 39-го и открыл там свой филиал, купил барскую пролетку, цуговую лошадь с подстриженным хвостом, нанял кучера, приобрел за полмиллиона имение близ Варшавы, правда несколько запущенное, но пригодное для охоты (большой участок леса) и для налаживания производства (глиняный карьер); и наконец, на третьем году войны, повел успешные переговоры с правлением Германской Восточной железной дороги о покупке и расширении собственной железнодорожной ветки и строительстве около нее перевалочной базы.

Неплохо жилось и подчиненным Инженера. Правда, оккупационный закон запрещал заработка свыше 73 злотых в неделю, но Инженер платил своим людям по собственной инициативе около сотни, без каких-либо вычетов, отчислений и налогов. В экстренных случаях — как вывоз родных в лагерь, болезнь или взятка — он не отказывал в помощи. Вот уже три месяца он оплачивал мое обучение в подпольном университете, требуя лишь одного: чтобы я учился для блага Родины.

Мы, работники филиала, устраивались ина-

че. Возчики продавали известь на улице, привозя на стройку неполные кубометры. Делали левые ездки. Воровали на железной дороге. Я вначале выносил в корзине со склада мел и мастику и продавал в окрестных магазинах, потом, однако, сойдясь поближе с начальником, вошел с ним в компанию, мы поделили сферы деятельности и договорились насчет документации. Сообща мы занимались также производством самогона, который гнали за мой счет у него на квартире. Уступив мне львиную долю дохода от розничной продажи, начальник занялся крупными делами, используя фирму как перевалочный пункт, а складской телефон как основной узел связи. Он понимал толк в золоте и драгоценностях, покупал и продавал мебель, был связан с квартирными маклерами и даже сам торговал жильем, знался с железнодорожными ворами и помогал им вступать в контакт с комиссионными магазинами, дружил с шоферами и продавцами автомобильных запчастей, вел оживленную торговлю с гетто. Однако занимался он всем этим со страхом, как бы через силу, вопреки собственным представлениям о добропорядочности и законности. И глубоко тосковал по безопасному довоенному времени. Он тогда работал кладовщиком в крупной еврейской фирме. Под бдительным оком хозяйки упорно выбивался в люди, приобрел спортивный автомобиль и, превратив его в такси, зарабатывал до трехсот злотых в день, за вычетом оплаты шофера. Вскоре купил за городом земельный участок рядом с автострадой, а за несколько месяцев до войны — второй участок, уже в городе. Он знал, что все его действия честны и законны, и жил, не зная ни забот, ни душевного смятения. От тех времен у него сохра-

нились участки, валюта и глубокая привязанность к старухе — хозяйке.

Старуха сидела на месте Марии в ногах деревянного топчана. Лицо у нее было землистое, изможденное, пустое, как обезлюдивший город. На ней было черное шелковое платье, потертое и лоснящееся на локтях; на шее — широкая бархатная лента, а на голове старомодная, украшенная букетом фиалок шляпа, из-под которой выбивались пряди редких, седых волос. На коленях старуха держала аккуратно сложенное пальто с облезлым воротником. Все это было слишком бедно для предвоенной владелицы огромного склада строительных материалов с парком грузовых машин, десятками рабочих и собственной железнодорожной веткой, обладательницы неисчерпаемых счетов в польских и швейцарских банках; слишком бедно даже для собственницы подводы с багажом, ряда сложных счетных машин, сданных предусмотрительно на хранение в швейцарское консульство, не говоря уже о золоте и бриллиантах, которые — по представлениям арийского населения — любой еврей приносил с собой из гетто. Старуха была бедно одета, скромно сидела в углу. Подняв глаза, она смотрела на паутину над книжной полкой. Паук лез вверх, и паутина дрожала.

— Вы позвоните, Ясик? — обратилась она к начальнику после долгого молчания. Я с удивлением оторвал глаза от книги о средневековые и тогдашнем мракобесии. Старуха говорила шершавым шепотом, как если б терла камнем о камень. Шепот со свистом вырывался из горла вместе с дыханием. Два ряда массивных золотых зубов блестели во рту и, казалось, щелкнули, чуть ли не зазвенели. — Ведь они должны сооб-

щить, придут ли. Правда? — Она смотрела на начальника выцветшими, безжизненными, будто замерзшими глазами.

— Нет, лучше подождем, — решительно ответил начальник. Он согрел дыханием кусок обледеневшего оконного стекла и сквозь образовавшееся отверстие, наклонив голову, поглядывал на площадь, на открытые ворота, на улицу, где уже бурлила толпа, барабанил пальцами по оконной раме, ждал клиента. — Ведь директор обещал сам позвонить. Не сомневайтесь, он сегодня выйдет вместе с вашей дочкой.

— Это вы меня, Ясик, только успокаиваете. А вдруг им не удастся? — Она перевела взгляд с паутины на окно. Вцепилась увядшими, высохшими, скрюченными пальцами в желтый платок, словно собираясь сорвать его с плеч, затем беспомощно опустила руки.

— Ну что вы такое говорите? — начальник свистнул, погладил свои пышные, золотистые кудри, откинув их назад нетерпеливым жестом. Манжет его поплиновой сорочки сдвинулся при этом движении, открывая золотые часы «лонжин», продолговатые, выгнутые по форме руки, — память о блаженном времени в фирме старухи. — Что вам приходит в голову! Ваш зять, директор складов, может уйти в любой момент, когда захочет. Закончит дела, сунет бумажник в карман и — поминай, как звали! Не о том вы беспокоитесь. — Он придвинул себе стульчик и сел, удобно вытянув ноги в высоких офицерских сапогах. — Вы лучше подумайте, где купить квартиру. Вы знаете, сколько просят? Пятьдесят тысяч! Хорошо, что я себе еще в первый год войны организовал крышу над головой, а то бы сейчас пришлось по чужим углам скитаться.

— Ну, вы, Ясик, не пропадете. — Старуха улыбнулась уголками губ.

— Да, слава богу, руки, ноги есть, соображаешь, где что урвать можно, да так и живешь! — Он наклонился ко мне: — Пан Тадек, ваша невеста сварила двадцать пять литров. Экономная девушка! Просто прелесть! И угля сожгла вдвое меньше. Работяга, ничего не скажешь!

— Она звонила, — буркнул я, не отрываясь от книги. — Поехала в город развозить самогон. Должна скоро вернуться.

Между печкой и вешалкой было темновато, но зато тепло. Разогретая спина приятно зудела. У меня шумело в голове, отрывивалось водкой и яйцами. Книга о средневековых монастырях рождала сонные мысли о мрачных кельях, где, среди всеобщего мракобесия, кровавых междоусобиц, войн и пожарищ, работали над спасением человеческих душ.

— Ясик, а чемоданы в сохранности? — шепнула старуха глухо, как со дна колодца. — Знаете, в них теперь все, что у моей дочки осталось. Она такая беспомощная. Привыкла жить под маминым крылышком.

Греясь у печки, я смотрел на пол. Одеяло, свисавшее с топчана, не доставало до выкрашенных в красный цвет половиц, и из-под него видно было черную крышку «ремингтона». Я забрал пишущую машинку из сарая, чтобы она там не отсырела, и на всякий случай засунул ее под кровать.

— У нас все в сохранности, — начальник привычно потер ладони и взглянул на меня, — надежно, как в банке. Вы ведь меня знаете.

— А что, если они меня здесь не найдут? Улочка маленькая и далеко от центра, — вдруг

заволновалась старуха. — Я все же позвоню, — решила она и привстала.

— Вы что, спятили на старости лет? — рявкнул вдруг начальник и в гневе сощурил свои добрые, голубые глаза, почти полностью заслонив их белесыми ресницами. — Немцев вам здесь не хватает? Они же подслушивают! Звоните, если угодно, но только не отсюда. — Старуха испугалась и нахохлилась, как внезапно разбуженная сова. Она сложила руки на груди и машинально вертела в пальцах приколотую к платью брошь.

— А как вы сюда пробрались? — спросил я, чтобы разрядить обстановку.

Хлопнула дверь конторы. Клиент затопал ногами, сбивая снег с сапог. Начальник пнул ногой стул и вышел к нему навстречу. Старуха подняла на меня пустые глаза.

— Я двадцать семь раз была в уличной блокаде. Вы знаете, что такое блокада? Наверно, не очень? Ну, ничего, — прохрипела она взволнованно. — У нас был тайник за шкафом, в такой специальной нише. Двадцать человек! Маленькие дети научились, и, когда солдаты ходили, стучали прикладами в стены или стреляли, маленькие дети молчали и только глядели раскрыв глаза, представляете? Успеют они уйти?

Я подошел к книжной полке. Поставил книгу в отдел средних веков. Оглянулся на старуху:

— Кто, дети?

— Нет, нет, нет! Что дети! Зять и дочь выйдут ли? Зять в прекрасных отношениях со своим начальником, немцем. Вместе учились когда-то в университете в Гейдельберге.

— Почему он не ушел вместе с вами?

— У него там дела. Еще день, еще два... Там

все кончается. Только и слышно: «Raus, raus, raus!»¹ В домах пусто, на улице перо и пух, а людей вывозят, вывозят...

Она задохнулась и умолкла.

Из-за двери доносились резкие, спорящие голоса. Клиент договаривался с начальником о плате за доставку леса с разобранных домов гетто в Отвоцке, откуда вывезли евреев. Крейсгауптман продал их все оптом польскому предпринимателю. Скрипнула дверь, они ушли в лавку, чтобы скрепить сделку вином. Начальник вообще-то был непьющим, но в особо удачных случаях соглашался пропустить стаканчик.

— Я пойду посмотрю свои вещи, — сказала внезапно старуха, скинула пальто с колен и застегнула во двор.

Канторская служащая — маленькая тощая девица, удобно расположившаяся на кушетке и целыми днями читавшая бульварные романы, улыбнулась мне из-за стола. Ее прислал Инженер следить за кассой. По его расчетам получалось, что фирма дает слишком маленький доход. На вторую неделю ее работы в кассе не хватило тысячи злотых. Начальник покрыл недостачу из собственного кармана, а Инженер потерял к девице доверие. Она, впрочем, приходила в контору всего на несколько часов, ни разу не заглянула на склад, не умела отличить битумную мастику от простой, но зато с регулярностью почты доставляла мне подпольные газеты, украшенные гербом с изображением меча и плуга. Я завидовал ее тесному сотрудничеству с подпольем, ибо сам ограничивался размножением военных сводок, да и то больше как дилетант, а также чте-

¹ Выходи, выходи, выходи! (нем.).

нием, сочинением стихов и выступлениями на поэтических утренниках.

— Ну, что старуха? Кучу мебели привезла? — иронически спросила девица. У нее была высокая, сбившаяся прическа.

— Каждый спасается как может.

— При помощи ближних. — Она язвительно улыбнулась. Ее тонкий нос на плохо напудренном лице блестел, как смазанный салом. — Ну, пан кладовщик, как стихи? Обложка высохла?

Начальник за руку привел старуху в контору. Зашел возчик погреться. Присел на корточки возле печки и, тяжело дыша, протянул к огню потрескавшиеся от мороза и ветра ладони. От его тулупа шел пар, воняло прелой кожей.

— На улицах жандармские фургоны, — сказал возчик. — Я был в управлении. Кругом пусто, даже страшно ехать. Говорят, как с евреями управятся, нас станут вывозить. И здесь их полно. Около церкви и у вокзала прямо в глазах рябит от жандармов.

— Вот это да! — фыркнула девица и в волнении встала из-за стола. Она шаркала ногами в слишком больших бурках, с бессознательным кокетством вертя костлявыми бедрами. — Как же я вернусь домой?

— Per pedes¹, — ответил я кисло и, накинув куртку, вышел из конторы. Резкий ветер со снегом ударил мне в лицо. Над ящиком с известью стоял, ритмично покачиваясь, рабочий. Притопывая от холода, он размешивал лопатой гашеную известь. Клубы белого пара, поднимаясь над бурлящим раствором, окутывали ему лицо. Он работал всю зиму напролет, готовясь к лет-

¹ Ногами, (пешком) (лат.).

нему сезону, и за день проворачивал на морозе до двух тонн сухой извести.

Ворота склада начальник прикрыл. Когда облава докатывалась до нашей улочки, мы запирали их на замок. Пьяные полицаи освобождали улицу от остатков толпы, уходившей в сторону полей. Немецкий жандарм, презиравший толпу и ее горести, но бдительно следивший за каждым жестом полицаев, равнодушно стучал коваными каблуками по мостовой. На площади, у стен домов, было еще многолюдно и шумно. Под окнами и подоконниками продавцы топали ногами в соломенных лаптях и хрипло орали над корзинами с булками, сигаретами, кровяной колбасой, пончиками, белым и черным хлебом. Казалось, что это трясется и кричит черная стена дома. В подворотнях взвешивали на самодельных весах парную свинину и поспешно разливали саmogон. На площадке позади школы еще продолжалось гулянье. Карусель с единственным, обалдевшим ребенком на лошади медленно крутилась под звуки визгливой музыки. Пустые деревянные автомобили, велосипеды, лебеди с распростертыми крыльями мягко проплывали в воздухе, как на волнах. Рабочие, загороженные досками, тянули привод под каруселью. Около ярко раскрашенного тира и в зоологическом саду под шатром (где, как гласила поблекшая от снега афиша, должны были находиться крокодил, верблюд и волк) была безнадежная пустота. Несколько газетчиков, с пачками немецких газет под мышкой, нерешительно топтались у трамвайной остановки. Трамваи без пассажиров делали петлю вокруг площади и, громыхая, тащились вдоль бульвара. Деревья стояли заснеженные, сверкая на ярком солнце, словно вырезан-

ные из ломкого хрусталя. Был обыкновенный базарный день.

В глубине улицы пространство замыкали глыбы домов и купы голых, отощавших деревьев. За виадуком, охраняемым проволочными заграждениями и таблицами с грозными надписями, окруженная цепью жандармов, бурлила толпа. Из толпы выныривали пузатые, крытые брезентом грузовики и, мяся колесами снег, натужно тащились на мост. Вслед за последней машиной из толпы выскочила женщина. Не успела. Грузовик набрал скорость. Женщина с отчаянием вскинула руки и чуть не упала, но ее подхватил жандарм и втокнул обратно в толпу.

«Любовь, конечно, любовь», — подумал я расстроганно и убежал во двор, так как площадь начала пустеть перед приближающейся облавой.

— Звонила ваша невеста, — сказал начальник. Он был в хорошем настроении, мурлыкал песенку и приплясывал. — Едет сюда, но спешить боится. Всюду хватают. Будет только к вечеру.

Сухощавая девица взглянула на меня со скрытым злорадством.

— Наверное, и с нами начнут, как с евреями? Вы огорчены?

— Она должна пробраться, — сказал я начальнику. Я промерз до костей, поэтому подошел к печке, пошуровал, подкинул торфа. Из открытой топки повалил дым. — Похоже, в этом месяце нам вагонов не дадут? Все вагоны пойдут на вывозку людей.

Начальник сделал недовольную гримасу, сел и тонкими, как у пианиста, пальцами постучал по столу.

— А какой нам толк от вагонов? — спросил он с горечью. — Инженер боится держать це-

мент и гипс, известь у него только для немцев, так что вы хотите? Чтобы мы процветали? Гроховский завод получил три вагона цемента, у Боровика и Серебряного есть все, что душе угодно, а у нас? Коньковая черепица, крошка, мастика, циновки...

— Не прибедняйтесь, — перебила девица. — Если порыться в сараях, можно кое-что найти!

— Вот именно, кое-что! То, что я добываю собственным промыслом! А иначе кто бы к нам сюда приходил? Разве только лавочник, гирю одолжить!

Забренчал телефон. Начальник быстро повернулся, перехватил трубку у девицы и протянул мне, делая знаки руками.

— Наша машина, — шепнул я, прикрыв ладонью микрофон. — Что сказать?

— Пусть везет пятьдесят.

— Fünfzig, — сказал я в трубку. — Abends? Ладно, пусть будет вечером.

— Отлично, тогда давайте перекусим.

Старуха неподвижно сидела на топчане, словно загнанное в угол животное. Начальник захлопотал, поставил на плитку бульон, освободил столик.

— Если Инженер будет получать от нас меньше дохода, то он, во-первых, выгонит эту девку, а во-вторых... ну как, вы решились?

— Мне за вами не угнаться, — ответил я уныло. — Мы все вложили в самогон. Вы же знаете. Купили немного книг, кое-какую одежонку и все. Бумага тоже стоила денег.

— Вы хоть продадите эти стихи?

— Не знаю, — ответил я обиженно. — Я писал не ради продажи. Это вам не пустотелый кирпич и не смола.

— Все равно, если стихи хорошие, покупатели найдутся, — сказал примирительно начальник, откусывая булку. — Вы этих пару тысяч для пая наскребете, у вас башка варит.

Старуха ела медленно, но с аппетитом. Золотой, массивный ряд зубов с наслаждением впивался в хлебную мякоть. Я смотрел, инстинктивно пытаюсь определить вес и стоимость этой челюсти.

Хлопнула дверь, вошел покупатель. Монах из соседнего костела, в роговых очках и со смущенной улыбкой. Сообщив об облаве, он заказал пару мешков цемента и желтую мастику. И тут же расплатился связанными в пачки мелкими купюрами.

— Оставайтесь с богом, — сказал монах и, надев черную шляпу, вышел, шурша сутаной.

— Аминь, — ответила девица, закрыла печку и обрывком газеты вытерла пальцы. — Как вы думаете, что сделает старуха?

— Начальник подыщет ей квартиру. У нее слишком много денег, он их из рук не выпустит, — ответил я вполголоса.

— Да ну, — девица презрительно фыркнула, — значит, вы ничего не знаете? Когда начальник выходил, старуха звонила дочери. Они не могут выбраться из гетто. Слишком поздно. Там массовая облава.

— Что ж, мать погорюет и перестанет.

— Очень может быть.

Она закуталась в потертую шубу, уселась поудобнее на кушетке и вернулась к книге, не обнаруживая никакого желания продолжать разговор.

По вечерам я оставался на складе один среди сохнувших, как выстиранное белье, обложек поэтического сборника. Аполоний вырезал их из бумаги форматом *in folio*¹, приспособив к размерам пластины ручного гектографа; добытый нами для размножения радиосводок и ценных инструкций (со схемами) по ведению уличных боев в крупных городах, он послужил также для напечатания высокопарно-метафизических гекзаметров, выражающих мое отрицательное отношение к апокалипсическому вихрю истории. Обложка была украшена с обеих сторон черно-белыми виньетками, выполненными сенсационно-новой техникой: кусочки белковой матрицы, наклеенные на пластину, давали белые пятна, а сама пластина — черные. На это ушла уйма краски, и обложки сохли уже целую неделю безо всякого результата. И вот я осторожно снял их с веревок, обернул плотным пергаментом, увязал и засунул под деревянный топчан. Спущенное до самого пола одеяло скрывало от посторонних глаз сломанный радиоприемник, ожидающий механика, портативный гектограф, плоский, как портсигар, солидную пишущую машинку марки «ремингтон», взятую из сарая, чтобы не намокла, и подшивку изданий одной империалистической организации, оставленную на хранение выселенным из квартиры приятелем-коллекционером: даже лишившись крова, он не мог расстаться с любимым архивом.

¹ В пол-листа (лат.).

По вечерам же, не щадя ни поясницу, ни колени, я старательно драил пол, вытирал стол, окно, а когда видел, что в комнате делалось чисто и уютно, как в ухе, прикрывал грибок зеленым абажуром и плотно закрывал дверь, чтобы не уходило тепло. Затем я садился в конторе у печки, делал подробные библиографические выписки, складывал их в специальные коробки, записывал на отдельных листочках глубокие мысли и меткие афоризмы, вычитанные в книгах, и заучивал их наизусть. Между тем подкрадывались сумерки и ложились на страницы книг. Я поднимал глаза и, глядя на дверь, ждал Марию.

За окном снег терял голубизну, смешиваясь с сумерками, как с серым цементом. Высокая стена сгоревшего дома, рыжая, как необожженный кирпич, наливалась чернотой, застывала, словно умолкнув, бесшумный ветер вздымал над рельсами клубы розового дыма, рвал их в клочья и швырял в синеву небес, словно снежные хлопья в прозрачную воду. Обыденные вещи, вязкая, как гнилая дыня, куча песка, извилистая дорожка, ворота, тротуары, стены и дома улицы исчезали во мраке, словно в волнах прилива. Остался только неуловимый шум, которым пронизана самая глубокая тишина, горячий пульс, который стучит в человеческом теле, и глухая тоска по вещам и чувствам, которых не будет никогда.

Во дворе еще возились люди. Возчик вытаскивал из темной глубины сарая, как из мешка, узлы и с размаха швырял их на подводу. На подводе стоял расставив ноги старый рабочий, прежде гасивший известь. Он подхватывал вещи и со знанием дела укладывал их на

телеге, словно это были мешки с гипсом или известью. От усердия он оттопырил щеку языком.

Начальник стоял позади телеги рядом со старухой и машинально ковырял доску ногтем.

— Я не знаю, меня не так учили, — заговорил он, сердито надув губы. — К чему такая спешка? Где тут смысл? Где резон? И зачем было весь огород городить?

Старуха склонила набок голову в шляпе с цветочками. От мороза на ее землистых щеках выступили темно-красные пятна. Губы дрожали от холода. Золотые зубы сверкали.

— Укладывают осторожно! — прикрикнула она на рабочего. Лицо ее вздрагивало при каждой броске, будто не вещи, а ее самое кидали на подводу. — Вы уж извините, Ясик, за беспокойство, — повернулась она к начальнику. — Но вы же не остались внакладе, правда?

— Да бросьте вы, — начальник пожал плечами. — Деньги ваши я отдал за квартиру, а это барахлишко, что вы у меня оставили, можно в любую минуту... Я на этом не наживусь.

Сгорбившись у стенки сарая, старуха переступала с ноги на ногу в своих поношенных, стоптанных туфлях, шмыгала носом и с молчаливой улыбкой смотрела на начальника слезящимися, красноватыми, близорукими глазами.

— Ну что там толку от вас? Им все равно каюк, — продолжал начальник, уставясь в землю, на спицы колес, на грязь под телегой. — Разве вы не знаете, как будет? Убьют,

сожгут, уничтожат, растопчут, и все тут. Не лучше ли остаться жить? Я верю, придет время, и людям разрешат спокойно торговать.

Мощный дизель с прицепом вкатился на улицу и, плюясь дымом, подъехал к воротам. Начальник улыбнулся с облегчением и поспешил открывать второй сарай, в то время как я прямоком по снегу побежал к воротам. Трактор уперся задом в противоположный тротуар, как жук переполз через канаву во двор и остановился у раскрытого сарая. Из кабины выскочил шофер в грязном комбинезоне и немецкой фуражке на черных блестящих волосах.

— Abend. Пятьдесят? — спросил шофер и, громко хлопнув в ладоши, вошел, покачиваясь, в сарай.

— Ого-го! Все продали? — Он причмокнул, с любопытством озираясь кругом. — Большие обороты, большая прибыль. Но сейчас на десятку дороже с мешка. По тридцать пять?

— Этот номер не пройдет. — Начальник выразительным жестом развел руками.

— Тридцать два. На рынке дают пятьдесят пять и больше, — терпеливо уговаривал солдат.

— Люди у него есть для разгрузки? — спросил у меня начальник. — Надо брать.

— Keine Leute¹, — засмеялся солдат. У него были здоровые, лошадиные зубы и гладкие, тщательно выбритые щеки. Подойдя к прицепу

¹ Нет людей (нем.).

и расшнуровав брезент, он скомандовал: — Meine Herren, gaus¹. Очень прошу — ausladen!²

Двое рабочих, дремавших на мешках, сбросили пальто, которыми укрывались, вскочили, напуганные криком, и откинули борт. Один подтаскивал мешки к краю кузова, второй подхватывал их снизу, прижимая к груди, вносил внутрь склада и с шумом швырял на пол. Пришлось подойти и растолковать ему, как складывают цемент, закрепляя мешки, чтобы все не развалилось к черту.

Дремавший в кабине напарник шофера высунулся из окошка.

— Поторопи их, Петер. Нам надо ехать.

Опираясь подбородком на руки, он сонно наблюдал за разгрузкой. На запястье у него болтался дамский золотой браслет. Руки были волосатые, лицо смуглое, покрытое черной щетиной.

— Живее, живее, du alte Slawe³, — пробормотал он сквозь зубы, а встретив мой пытливый взгляд, дружелюбно улыбнулся.

В сарае перепачканный цементом рабочий (кто не умеет обращаться с товаром, тот, перетаскивая мешки, обязательно разорвет несколько штук) повернул ко мне серебристое от цемента лицо и, вытирая его для вида верхом ладони, спросил шепотом:

— Есть пять лишних мешков. Возьмете?

— По двадцать, — буркнул я, не разжимая губ, и, обращаясь к солдату, сказал: — Пошли в контору, рассчитаемся.

¹ Выходите, господа (нем.).

² Выгрузить! (нем.)

³ Ты, старый славянин (нем.).

Солдат погасил спичку, старательно затоптал ее подошвой, с наслаждением затянулся. Бледно-желтый огонек осветил его щеки и отразился в глазах.

— Fünfzig штук? Пятьдесят? — Он показал рабочему растопыренную пятерню.

— Ja, ja¹, шеф, я считаю! Ни одного больше! — заверил с готовностью рабочий на грузовике.

Возчик кончил грузить телегу. Помогавший ему рабочий подправлял багаж и затягивал веревки, которыми они тщательно обмотали всю подводу. Да, вещи были уложены умело. В середине то, что поценнее, кожаные чемоданы, брезентовые мешки с бельем, сверху же и по бокам — плетеные корзины, табуретки, дребезжащая посуда. Подвода стояла терпеливо, как ковчег. Старуха топталась у сарая, пряча руки в муфту. Увидев проходившего мимо солдата, испугалась и шмыгнула за дверь склада.

— На новую квартиру? — спросил шофер мимоходом.

— Конечно. Куда же еще?

Небо стало теснее и осело над мраком бесшумно, как птица. Безлистное дерево у рельсов боролось с ветром упорно, словно человек, решивший не сдаваться.

— Ну и спокойно же вы живете, — сказал солдат с добродушным презрением. — А наши за вас воюют.

Начальник разговаривал по телефону с женой и жестом пригласил нас сесть.

— Ну, что, обед удался? Свеклу не надо.

¹ Да, да (нем.).

Возьми капусту. — Он снисходительно улыбнулся. — Малыш? Спит? Разбуди, сколько можно спать?

— Книг, я вижу, прибавилось, — солдат приоткрыл дверь в комнату. — О, как уютно! Еще только патефон завести! И девушка, да? Девушка? — Он ткнул пальцем в красный халат на вешалке. Осмотрел картины Аполония — нищенку у обшарпанной стены, держащую за руку лупоглазого ребенка, и натюрморт с желтым кувшином. Внес в комнату грязь и тяжелый солдатский дух.

Начальник достал из бумажника пачку аккуратно связанных купюр, пересчитал и протянул шоферу.

— Опять в среду, через неделю, да? — спросил шофер.

— Ist gut, — ответил начальник. — Ist sehr gut¹. Видите, пан Тадек, будь у нас свой склад, не пришлось бы прятать товар. Придержали бы его пару деньков — и заработок железный.

— Наша девица мигом наябедничает Инженеру.

— А он ничего не найдет. Сейчас же все продадим Черняковской фабрике. Да и вообще Инженер теперь не станет с нами задираться. Он вложил деньги в железнодорожную ветку, и ему самому туго приходится.

— Договаривайтесь насчет того склада. Я добавлю, сколько смогу.

— А если совсем запретят строить?

— Теперь тоже запрещают, а люди строят.

¹ Хорошо, очень хорошо (нем.).

На жизнь вам пока хватит тех денег, что у вас есть наличными. А после войны очень кстати будет иметь участок и пару сараев. Ну ладно, пошли, проводим старуху.

— Она здесь забыла пишущую машинку, — сказал начальник, приглаживая волосы и надевая форменную фуражку. На улице он изображал трамвайщика. Ездил бесплатно на трамваях и меньше боялся облав.

— Машинка пригодится в конторе.

— Ja, ist gut, — солдат пересчитал деньги, спрятал их в карман комбинезона и, крепко, хотя и вполне равнодушно, пожав нам руки, вышел, скрипя сапогами.

Возчик отнял у лошади мешок с сеном, зажег фонарь и закрепил его на телеге, взял в руки вожжи, причмокнул губами, и подвода, освещенная ярко, как карнавальная карета, со скрипом выехала из ворот на улицу.

Между пурпурным, как спекшиеся губы, одеялом, перетянутым белым шнурком от занавески, и пузатыми чемоданами — свернувшись клубочком, словно собака, сидела, поджав под себя ноги, старая еврейка, прикрытая сверху крышкой поставленного на попа стола, чьи ножки, как мертвые культяпки, торчали кверху и, подпрыгивая вместе с крышкой при каждом движении телеги, казалось, мстительно грозили небесам. Старуха прикрыла глаза, втянула голову в меховой воротник, должно быть, дремала. Несколько оборванных ребятишек бежали за подводой в надежде что-нибудь стащить.

Улица начинала жить вечерней жизнью. На синем небе золотая луна катилась, как ломтик

ананаса, навстречу перистым облакам, металлический блеск ее падал на крыши домов, на стены, на хрустящий, словно листовое серебро, снег тротуара. Перед школой прохаживался до-родный жандарм, весь голубой в сумерках. Девушки из прачечной пробегали под фиолетовым фонарем и исчезали в тени сгоревшего дома. От лавочника выходили на ночную вахту захмелевшие полицейши. Колокольчик в обновляемом нашим цементом и известью костеле начинал радостно ворковать как резвящийся младенец, спугивая заснувших на колокольне голубей, которые, хлопая крыльями, взлетали вверх, чтобы тут же, как лепестки хризантем, сонно опуститься на крышу.

Трактор, привозивший нам цемент, осторожно объехал ямы с известью и, дав прощальный гудок, выкатился со двора. Я подбежал к прицепу и сунул деньги в протянутую руку рабочего. Тот крикнул: «Было десять, десять!» — и исчез под брезентом.

— Ну хватит, отработались, — сказал начальник, затягивая ремень на своей шинели трамвайщика. Он старался выглядеть худым и затянул ремень на совесть, изо всех сил. — Оставляю вас в одиночестве. Что-то невеста запаздывает.

— Я боюсь за нее. Облава идет весь день. Небось массу народу похватали.

— Что поделаешь? — тяжело вздохнул начальник. — Ваша невеста, видно, не может сюда пробраться. — Он положил в портфель кусок мяса, заготовленный для завтрашнего обеда.

— Подождите, я с вами, куплю чего-нибудь к ужину. Есть хочется после этого дурацкого

дня. — Мы вышли, захлопнув калитку. Немецкий трактор, загораживая пролет улицы, пытел и дымился. Прохожие собирались на тротуаре и смотрели на площадь. Подвода с барахлом стояла у края тротуара. Возчик терпеливо ждал, пока освободится проезд.

Сумерки сгущались. За черной полосой поля, над серебристой лентой реки каменный мост дугой выгибался на фоне неба. На том берегу черная громада города погружалась в вязкую темноту. Высокие столбы прожекторов взметались ввысь ртутными лучами света, перечеркивали небо, словно руки марионеток, и, беспомощно опадая, ложились на землю. Мир суживался на мгновение до размеров одной улицы, пульсирующей, как вскрытая рана.

С грохотом, с зажженными фарами, подпрыгивая на ухабах, один за другим катились по мостовой набитые людьми грузовики. Человеческие лица, белые, словно обвалянные в муке, высывались из-под брезента и тут же, как ветром сдутые, исчезали в темноте. Мотоциклы с солдатами в касках выскакивали из-под виадукка и, хлопая крыльями тени, словно чудовищные бабочки, с грохотом мчались вслед за машинами. На улице стояла удушливая вонь выхлопных газов. Колонна шла к мосту.

— Около церкви переловили, — сказал лавочник за моей спиной, положив мне на плечи свои тяжелые ручищи. От него разило винным перегаром и махоркой. — Гады, ни дна им, ни покрышки!

— Да, взялись за нас, — сказал угрюмо дежурный полицейский. Он снял фуражку и

вытер лоб рукавом. Красная полоса от фуражки на лысом черепе бледнела на морозе. — Уж это точно, — добавил он сквозь зубы.

— Еврейка что, съехала от вас? — шепнул конфиденциально лавочник. — Так быстро?

— Перебралась в другое место.

— А что с квартирой? — лавочник, обеспокоенный, наклонился к моему уху. — Я же договорился с людьми. Начальник обещал сегодня дать задаток.

— Вот и ищите начальника, — буркнул я нетерпеливо и сбросил с плеч его лапы.

— Простите, — шепнул лавочник. Свет фары ударил ему в лицо, и он зажмурился. Затем луч скользнул дальше, в улицу, лицо лавочника окутал мрак.

— Она поехала обратно в гетто. Там у нее дочь, которая уже не может выбраться.

— И правильно, — убежденно сказал лавочник. — По крайней мере, умрут вместе, как люди... — Он тяжело вздохнул и стал смотреть на колонну.

У поворота на бульвар образовалась пробка. Колонна остановилась, грузовики приблизились друг к другу. Послышались гортанные окрики. Мотоциклы выкатились из-за машин, осветив фарами мостовую, трамваи, тротуар и молчаливую толпу. Лучи скользнули по человеческим лицам, как по выбеленным костям; заглянули в черные, слепые окна квартир, выхватили светящуюся зелеными лампами остановленную на полутакте карусель с покачивающимися на тросах пестрыми лошадками, лебедями с мягко выгнутыми шеями, деревянными автомобилями, велосипедами; протрусили площадку с лошадь-

ми; коснулись шатра зоопарка с крокодилом, волком и верблюдом; исследовали внутренность трамваев, стоявших с выключенным светом, дернулись влево и вправо, как голова рассерженной гадюки, вернулись к людям, еще раз осветили глаза и направились в сторону машин.

Лицо Марии под широкими полями черной шляпы было белым, как известь. Мертвенно-бледные, меловые ладони она лихорадочным прощальным жестом прижала к груди. Мария стояла на грузовике, зажатая со всех сторон людьми, вплотную с жандармом. И напряженно смотрела мне в лицо, как слепая, прямо на фару. Пошевелила губами, будто собираясь крикнуть. Пошатнулась и чуть не упала. Машина задрожала, затарахтела и внезапно двинулась. Я стоял, совершенно не зная, что делать.

Потом я узнал, что Марию, как арийско-семитскую Mischling¹ вывезли с эшелонам евреев в печально знаменитый лагерь на побережье, умертвили в газовой камере, а тело ее, вероятно, пошло на мыло.

МАЛЬЧИК С БИБЛИЕЙ

Надзиратель открыл дверь. В камеру вошел мальчик и остановился на пороге. Дверь за ним захлопнулась.

— Тебя за что взяли? — спросил Ковальский, наборщик с Беднарской.

¹ Помесь (нем.).

— Ни за что, — ответил мальчик и провел рукой по стриженной голове. На нем была потертая черная ученическая форма, через плечо перекинута пальто с барашковым воротником.

— А за что его могли взять? — сказал Козера, контрабандист с Малкини. — Ведь он еще щенок. И наверняка еврей.

— Козера, что вы такое говорите, — отозвался сидевший у стены Шрайер, служащий с Мокотовской. — Совсем не похож.

— Перестаньте болтать, а то он подумает, что здесь сидят одни бандиты, — сказал наборщик Ковальский. — Садись, парень, на тюфяк. Чего там думать.

— Нет, сюда пусть не садится, это место Млавского, он может сейчас вернуться с допроса, — сказал Шрайер с Мокотовской, у которого при обыске нашли газеты.

— Ты что, старик, совсем с ума спятил? — удивился наборщик Ковальский. Он подвинулся, давая мальчику место. Мальчик сел и положил пальто на колени.

— Ну, что смотришь? Подвала никогда не видел? — спросил Матуля, который под видом гестаповца ходил по деревням в высоких сапогах и кожаной куртке и реквизировал у крестьян свиней.

— Не видел, — огрызнулся мальчик.

Камера была маленькая и низкая. На стенах в темноте поблескивали капли. Грязная покосившаяся дверь была покрыта датами и именами, вырезанными перочинным ножом. Возле двери стояла параша. У стены на бетонном полу лежали два тюфяка. Люди сидели, поджав ноги, касаясь друг друга коленями.

— Смотри, смотри, да хорошенько, — рас-
смеялся Матуля. — Такое не везде увидишь.
И уселся на тюфяке поудобнее.

— Еще? — спросил он.

— Еще, — я добрал карту. — Хватит.

Потом он взял три карты. Посмотрел в них.

— Была не была. Хватит.

— Двадцать, — я выложил карты.

— Я проиграл, — сказал Матуля. Смахнул
пыль с колена. На его бриджах еще сохрани-
лись канты. — Пайка твоя. Хотя карты очень
заметные.

В коридоре защелкали выключатели. Загорел-
ся тусклый свет. В оконце под потолком вид-
нелась синяя полоска неба и кусок крыши
кухни. Решетка в проеме была совершенно
черная.

— Как твоя фамилия, мальчуган? — спро-
сил служащий Шрайер. Кроме газет, у него
нашли какие-то расписки на собранные для ор-
ганизации деньги. Целыми днями он не вста-
вал с тюфяка и непрерывно жевал искусствен-
ной челюстью. От голода уши у него оттопы-
ривались все больше.

— Да ладно, как фамилия, — ответил маль-
чик пренебрежительно. — Мой отец директор
банка.

— В таком случае ты сын деректора банка, —
сказал Шрайер, поворачиваясь к нему.

Мальчик сидел склонившись над книгой.
Почти уткнувшись в нее. Аккуратно сложенное
пальто лежало на коленях.

— А, книга. Что это за книга?

— Библия, — ответил мальчик, не отрывая
от нее глаз.

— Библия? Думаешь, она тебе здесь по-

может? Черта с два, — вмешался контрабандист Козера. Он ходил большими шагами от стены к стене, два шага вперед, два шага назад, поворот на месте. — Все одно крышка.

— Как кому, — сказал я, снова беря у Матули карты. — Очко.

— Интересно, кого сегодня вызовут из нашей камеры? — спросил Шрайер с Мокотовской. Он все время ждал, что его расстреляют.

— Опять ты?! — сказал враждебно Ковальский.

— Давай еще разок, — предложил «гестаповец» Матуля. У него отказал револьвер во время последней реквизиции. — Была не была, жить-то надо.

Карты были сделаны из картонной коробки от передачи. Фигуры химическим карандашом нарисовали те, кто сидел здесь до нас. Все карты были меченые.

— Ничего ему не будет, — сказал я, тасуя карты. — Посидит немножко, папаша деньжат подкинет, мамаша улыбнется кому надо, и парня выпустят.

— У меня матери нет, — сказал мальчик с Библией. И еще больше приблизил книгу к глазам.

— Так, так, — сказал наборщик Ковальский и тяжело положил руку на голову мальчика. — Кто знает, доживем ли мы до завтра?

— Ты опять? — отозвался служащий Шрайер с Мокотовской.

— Не волнуйся, — сказал я мальчику. — Главное, чтобы о тебе не волновались. Это хуже всего. Когда тебя арестовали?

— Меня не арестовали, — ответил мальчик.

— Ты не был в полиции? — спросил удивленный Козера, контрабандист с Малкини.

— Не был, — ответил мальчик. Он аккуратно закрыл книгу и спрятал в карман пальто. — Меня схватили на улице.

— Сегодня была облава? На какой улице? — спросил с беспокойством служащий Шрайер, у которого нашли газеты и расписки. У него были две дочки, учившиеся в нелегальной гимназии, он надеялся получить из дому продуктовую передачу.

— Здесь что-то не то, — сказал наборщик Ковальский. — Если бы была облава, то привезли бы много людей, а не его одного. Что-нибудь и здесь было бы слышно.

— Разве увидишь ворота из этой ямы? — сказал я, кивнув головой в сторону окна под потолком. — Здесь только крыша кухни и часть мастерской.

Я показал «гестаповцу» Матуле карты:

— Девятнадцать.

— Смотря откуда, — сказал Козера, контрабандист с Малкини. Он вез в генерал-губернаторство солонину и был схвачен в классическом месте на границе. Козера стоял у дверей и смотрел в окно. — От дверей видно больше. Возле кухни ходит вахман с собакой. Выгружают картошку на завтра.

— Опять перебор, — сказал Матуля, бросая карты на тюфяк. — Мне не везет. Наверно, придут за мной. А то зачем бы меня стали сюда переводить. Чтобы шлепнуть, да?

— А ты думал, чтобы освободить? — отозвался контрабандист Козера. Он ходил большими шагами от двери к тюфякам и обратно.

— Ну-ка, — сказал со вздохом Матуля, — Может, еще отыграюсь. А если нет, завтрашняя пайка — твоя. И стал перебирать карты, сделанные из коробки, оставшейся от передачи.

— Если за тобой придут сегодня, то что мне твоя завтрашняя пайка? — Я протянул руку. — Давай карты.

— Меня схватил полицейский на Козьей, — сказал мальчик.

— «Синий»? Меня тоже, — сказал контрабандист Козера.

— Обыкновенный полицейский. И привел сюда.

— Прямо к воротам? Через гетто? Неправда, — сказал Шрайер, служащий с Моко-товской.

— Привез на извозчике. Сказал, что уже очень поздно везти в полицию. Вот он и доставил меня к воротам, — сказал мальчик, широко улыбнувшись.

— Этот полицейский был с юмором, — сказал я, обращаясь к мальчику. — Ты, наверно, писал краской на стене?

— Мелом, — ответил мальчик.

— И надо было тебе рисовать? — сказал Ковальский, наборщик с Беднарской. — Теперь из-за тебя дворнику работа. Был бы я твоим отцом... — Он погладил мальчика по наголо остриженной голове.

— Ковальский, а ты зачем печатал газеты на Беднарской? — спросил контрабандист Козера. Он ходил большими шагами от стены к стене.

— Не печатал я никаких газет. Я пошел купить оттоманку.

— Прямо в подпольную типографию, да? Перебор. — Я передал колоду «гестаповцу» Матуле.

— «Ты так подходишь ей, как французский дукат руке проститутки». Это Шекспир, наборщик Ковальский.

— Ну, еще разок. Дай отыгаться, — сказал Матуля и стал тасовать карты.

— Хватит. Две пайки мои. — Я отодвинул карты.

— Меня взяли так же ни за что, как и тебя, — сказал Ковальский, наборщик с Беднарской.

— Ты же хорошо знаешь, что я пошел искать свою невесту, потому что ее два дня не было дома.

— К оружейному мастеру, да? — засмеялся наборщик Ковальский.

Я наклонился к мальчику и тронул его рукой.

— Дашь мне потом почитать?

Мальчик отрицательно замотал головой.

— А откуда я мог знать? — сказал наборщик Ковальский. — Ведь объявление висело на столбе.

Все замолчали. Под потолком горела тусклая лампочка. Мы сидели на двух порванных тюфяках. В углу под окном, положив голову на колени, сидел служащий Шрайер с Мокотовской, две дочки которого ходили в нелегальную гимназию. Уши у него оттопырились еще больше. «Гестаповец» Матуля, который ходил на реквизиции, сидел спиной к дверям и заслонял разложенные на тюфяке карты. На другом тюфяке сидел Ковальский, наборщик с Беднарской, который покупал оттоманку в подпольной ти-

пографии. Рядом с ним сидел мальчик, который писал мелом на стене, и читал Библию. Козера, контрабандист с Малкини, ходил от тюфяков к двери и обратно.

Дверь была низкая и черная, со множеством нацарапанных на ней имен и дат. За черной решеткой разбитого окна блестела рыжая крыша кухни и светлело фиолетовое небо. Ниже была стена. На стене вышки с пулеметами.

Дальше за стеной были обезлюдившие дома гетто с пустыми окнами, из которых вылетали перья вспоротых подушек и перин.

Служащий Шрайер поднял голову и посмотрел на мальчика с Библией.

Мальчик продолжал читать, низко склонившись над книгой.

В коридоре слышались шаги. Зазвякали металлические плиты, покрывающие пол. Захлопали двери камер.

— Наконец приехали, — сказал наборщик Ковальский, настороженно прислушивающийся вместе с Шрайером.

— Интересно, сколько новых.

— Этого товара всегда хватает. Контрабандой его перевозить не надо. Сам придет, — сказал Козера, контрабандист с Малкини.

— Хоть расскажут, что слышно на воле, — сказал Матуля, который ходил на реквизиции и ожидал смертного приговора.

— Вот вы были на той воле еще две недели назад, — сказал служащий Шрайер. — Ну и много вы знали, что там слышно?

— А теперь я не знаю, буду ли жив через две недели, — ответил Матуля.

— Так зачем тебе знать, что слышно? И

так крышка, и так крышка, разве нет? — сказал Козера.

— А если война скоро кончится, может, и не крышка?

— Польский суд тоже поставил бы тебя к стенке за грабеж, — сказал наборщик Ковальский.

— А тебе даст Крест Заслуги за то, что ты покупал оттоманку.

Дверь в камеру открылась. Вошел Млавский, ездивший на допрос. Дверь за ним захлопнулась.

— Как вы здесь, ребята? — спросил он. — Ну и натерпелся я сегодня страху. Думал, останусь на ночь. Мы приехали второй машиной.

— Деревья уже, наверно, цветут, да? Люди как ни в чем не бывало ходят по улицам? Да? — спросил я, вертя в руках карты.

— Ты что, сам не видел, когда ехал? Живут люди, живут.

— Вот суп. — Наборщик Ковальский подал Млавскому миску с ужином. — Обед твой мы съели.

— На обед был гороховый суп с хлебом. Жратву дают неплохую.

— Зато жару задают тоже первоклассно, — сказал Млавский. Он стоял у тюфяка и резал ложкой загустевший, как студень, суп.

— Ну и как? Сидеть можешь?

— Ничего страшного! Чепуха. Только в «трамвае»¹ был. Нам попался знакомый следователь. Он с моим отцом делал дела в Радоме.

¹ Камера предварительного заключения на Аллее Шука в Варшаве, где в период фашистской оккупации помещалась гестапо.

Знаешь, как это, нет? — Млавский не спеша сгребал ложкой суп. — Люблю я эту похлебку. Даже холодная она вкусная. Как дома. Картошки сегодня много.

— Я сказал раздатчику, что это для тебя. Он зачерпнул с самого дна, — ответил я.

— А что сказал следователь? — спросил служащий Шрайер, у которого нашли газеты и расписки.

— Ничего, — отрезал Млавский. Он поставил миску возле параши и снял пальто. — Я получил по морде из-за твоего пальто. Из-под подкладки выпал кусок стекла. Ты что, резаться задумал?

— На всякий случай, — ответил я и подложил пальто под спину.

Млавский взял пальто у меня на допрос, так как боялся, что его почти новую кожаную куртку у него в полиции отберут. Он сел возле меня.

— Знаешь, — сказал он шепотом, — следователь предложил отцу стать осведомителем. Как ты думаешь?

— А как отец думает?

— Отец согласился. Что ему оставалось делать, скажи?

Я пожал плечами. Млавский повернулся к мальчику с Библией.

— Новенький, да? Я, кажется, видел тебя в полиции. Нет? Мы с тобой не сидели в «трамвае»?

— Нет, — ответил мальчик, уткнувшись в Библию. — Не сидел я ни в каком трамвае.

— Он говорит, что его задержал на улице «синий» и на извозчике привез в тюрьму, — сказал Млавскому сидевший у дверей Козера.

— Держу пари, что я видел тебя в полиции, — сказал Млавский мальчику, — но если ты говоришь, что тебя задержал полицейский... Странно... может быть.

Мы молчали. Между небом и черной решеткой был весенний вечер, освещенный снизу тюремными фонарями. Шрайер сидел, спрятав лицо в ладони, из которых торчали оттопырившиеся от голода уши. Козера ходил взад-вперед, от двери к тюфякам. Мальчик читал Библию.

— Сыграем в очко? — спросил Матуля. — Чем сидеть сиднем. Может, отыграюсь?

— Кончайте с вашей игрой, — не поднимая головы сказал Шрайер. — Родную мать проиграть готовы. Здесь человек...

Он замолк, продолжая жевать искусственной челюстью.

— Отозвался. Газетный интеллигент, — сказал Матуля. — Сыграем?

— Становись лучше на поверку. Раздатчик уже орет, — сказал Ковальский, наборщик с Беднарской.

Мы поднялись с тюфяков. Стали в шеренгу, лицом к двери.

— Сегодня дежурит украинец. Но может быть, все пройдет спокойно, — шепнул я Млавскому.

В ответ Млавский кивнул головой.

Дверь в нашу камеру открылась. В дверях стоял толстый приземистый эсэсовец, с красным квадратным лицом и редкими светлыми волосами. Губы у него были крепко сжаты. На кривых ногах — высокие блестящие сапоги. За поясом «семерка». В руках он держал хлыст. Позади него стоял долговязый украинец с ключами.

Черная фуражка была лихо сдвинута на ухо. Возле него стояли раздатчик и писарь — маленький сморщенный еврей, адвокат из гетто. В руках у писаря были списки.

Шрайер с Мокотовской пробормотал по-немецки несколько заученных фраз. Камера такая-то, заключенных столько-то. В наличии все.

Вахман с красным лицом старательно пересчитал всех пальцем.

— Ja, — сказал он, — stimmt¹. Писарь, кто отсюда?

Писарь поднес документы к глазам.

— Бенедикт Матуля, — прочитал он и посмотрел на нас.

— О боже, братцы, мне крышка! — громко шепнул Матуля, который, переодевшись гестаповцем, ходил на реквизиции.

— Los выходи, gaus!² — крикнул вахман и схватив его одной рукой за шиворот, выбросил в коридор. Дверь открылась настежь.

В глубине коридора в полном вооружении стояли вахманы. В тусклом свете лампочек зловеще поблескивали каски. За поясами у них торчали гранаты.

Вахман обернулся к писарю.

— Все? Идем?

— Нет, не все, — сказал писарь-еврей, адвокат из гетто. — Еще один. Намокель. Збигнев Намокель.

— Я, — сказал мальчик с Библией.

Он подошел к тюфяку и взял пальто. В дверях он обернулся. Но ничего не сказал. И вы-

¹ Да (...), точно (нем.).

² Давай (...), живее! (нем.)

шел в коридор. Дверь камеры за ним захлопнулась.

— Вот и поверка прошла! Одним днем больше! Двумя людьми меньше! Даешь следующий день! — крикнул Козера, контрабандист с Малкини.

— Много ли их у нас еще осталось? — уныло сказал Ковальский. — Был парень и нет парня.

Он раскорячился над парашей.

— Отливайте, ребята, а то расстилаем тюфяки. Чтобы потом никто по головам не ходил. Айда стелиться, пока есть свет.

Мы начали расстилать тюфяки.

— Жаль, что Библию не оставил, — сказал я Млавскому. — Было бы что читать.

— Теперь ему Библия ни к чему. А все-таки я его видел сегодня в полиции, клянусь, — сказал Млавский. — Что он мог сделать, такой маленький? И зачем врал, что его схватил на улице полицейский?

— Он был похож на еврея, ну и наверняка был евреем, — сказал Шрайер. Он уже лег на тюфяк у окна и, кряхтя, кутал ноги в пальто. Он шепелявил, потому что вынул изо рта искусственную челюсть. Завернул ее в обрывок бумаги из-под передачи и положил в карман.

— А зачем ему в таком случае нужна была Библия?

— Он наверняка еврей. Иначе бы его не поставили к стенке, — сказал Ковальский, ложась на бок рядом с Козерой. — Хотя вот Матулю тоже взяли.

— Уголовник, холера, экспроприатор, ночью с револьвером рыскал, где бы пожить, — сказал Козера. — Ему уже давно причиталось.

Мы с Млавским легли рядом. Ноги обернули кожаной курткой, а сами укрылись моим пальто. Я уткнулся в мягкий меховой воротник. От него исходило приятное тепло.

Из разбитого окна веяло сыростью и холодом. Небо стало совсем черным. Пространство между небом и окном, находившимся на уровне земли, было залито золотистым светом. Горели все тюремные фонари. Сквозь их свет проступали бледные мерцающие звезды.

— Хорошо, брат ты мой, на свете, только нас на нем нет, — сказал я вполголоса Млавскому. Мы лежали с ним, тесно прижавшись друг к другу, чтобы было теплее.

— Интересно, — шепнул он мне, — моего отца взяли?

Я обернулся и посмотрел ему в лицо.

— Сегодня вскрылось, что он еврей, — сказал Млавский. — Его опознал тот следователь. Они вместе делали дела в гетто в Радоме.

— Но тогда бы и тебя потащили, — ответил я шепотом.

— Меня пока что нет, я полукровка. Моя мать была полька.

— Но ведь отец станет осведомителем? Тогда, может, не тронут?

— Дай бог, чтобы он им стал. Это было бы хорошо.

— Заткнитесь хоть ночью, — сказал Козера, поднимаясь с тюфяка. — Хотите, чтобы вам устроили перед сном физзарядку?

Мы замолчали. И уже начали дремать, когда где-то вдалеке раздался глухой выстрел. Потом второй. Все подняли головы с тюфяков.

— Видимо, в лес их не вывезли. Шлепают где-то здесь, у тюрьмы, — сказал я вполголоса

и стал считать. — Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать...

— Шлепают напротив ворот, — сказал Млавский и изо всей силы сжал мне руку.

— Тогда он наверняка еврей, тот мальчик с Библией. Какой выстрел пришелся на него? — сказал наборщик Ковальский.

— Ложитесь-ка лучше спать, — прошепелявил Шрайер, служащий с Мокотовской. — Боже! Ложитесь-ка лучше спать.

— Надо спать, — сказал я своему товарищу.

Мы легли снова, укрывшись кожаной курткой и пальто. И еще крепче прижались друг к другу. От окна шел сырой пронизывающий холод.

У НАС В АУШВИЦЕ .

!

...итак, я уже на медицинских курсах. Выбрали нас десятка полтора из всего Биркенау и будут учить чуть ли не на докторов. Нам предстоит узнать, сколько у человека костей, как происходит кровообращение, что такое брюшина, как бороться со стафилококками да как со стрептококками, как производить стерильно операцию слепой кишки и для чего делают пневмоторакс.

Миссия у нас весьма благородная: мы будем лечить наших товарищей, которых, «по воле злого рока», мучает болезнь, апатия или отращение к жизни. Мы должны — именно мы,

полтора десятка человек из двадцати тысяч мужчин в Биркенау, — уменьшить смертность в лагере и поднять дух узников. Так говорил нам при отъезде лагерный врач, он еще спросил у каждого о его возрасте и профессии и, когда я ответил: «Студент!» — удивленно поднял брови:

— Что же вы изучали?

— Историю литературы, — скромно ответил я.

Он с неудовольствием покачал головой, сел в машину и укатил.

Потом мы шли по очень красивой дороге в Освенцим, видели уйму всяческих пейзажей, потом кто-то где-то устраивал нас, в каком-то больничном блоке в качестве санитаров-гостей, но я этим не слишком интересовался, я сразу пошел со Сташеком (помнишь, он мне дал коричневые брюки?) по лагерю — искать кого-нибудь, кто бы передал тебе это письмо, а Сташек — к кухне и к складу, организовать на ужин белого хлеба, маргарина и хоть немного колбасы, а то ведь нас тут пятеро.

Я, конечно, никого не нашел, я же миллионщик, а тут сплошь старые номера, и они смотрят на меня свысока. Однако Сташек обещал с помощью своих связей переслать письмо, только, мол, чтоб было недлинное, «это же, наверно, такая скучища, писать девушке каждый день».

Вот когда я выучу, сколько у человека костей и что такое брюшина, я, может быть, смогу тебе помочь от твоей пиодермии, а соседке твоей по нарам — от лихорадки. Боюсь только, что даже когда буду знать, как лечить *ulcus duodeni*¹, мне не удастся стащить для тебя эту

¹ Язву двенадцатиперстной кишки (лат.).

дурацкую противочесоточную мазь Вилькинсона, потому что сейчас ее нет во всем Биркенау. Больных чесоткой у нас поливали мятным настоем, произнося при этом некие весьма эффективные заклинания, которые, к сожалению, нельзя повторить.

Что ж до сокращения смертности, в моем блоке лежал один лагерный «аристократ», было ему худо, сильный жар, он все чаще говорил о смерти. Однажды подозвал меня. Я присел на край кровати.

— А ведь в лагере меня знали, правда? — спросил он, тревожно глядя мне в глаза.

— Ну конечно, как можно было тебя не знать... и не запомнить, — вполне простодушно ответил я.

— Смотри, — сказал он, указывая рукой на красное от зарева окно.

Сжигали там, за лесом.

— Знаешь, я хотел бы, чтобы меня положили отдельно. Чтобы не вместе. Не в кучу. Понял?

— Не бойся, — сердечно сказал я. — Я даже дам тебе простыню. И с уборщиками трупов тоже поговорю.

Он молча пожал мне руку. Но все это было зря. Он выздоровел и прислал мне из лагеря пачку маргарина. Я им сапоги мажу, он, знаешь, рыбой отдает. Вот так я уменьшил смертность в лагере. Но, пожалуй, хватит об этом, слишком уж лагерные темы.

Почти месяц, как нет писем из дому...

Чудесные дни — без проверок, без выходов на работу. Весь лагерь стоит на апельплаце, а мы, высунувшись в окно, глядим — зрители из другого мира. Люди нам улыбаются, и мы людям улыбаемся, нас называют «Товарищи из Биркенау», отчасти сочувствуя, что наша судьба такая незавидная, и отчасти стыдясь, что им так повезло. Пейзаж из окна вполне невинный, крематория не видно. Люди влюблены в Освенцим, говорят с гордостью: «У нас в Аушвице...»

И в общем-то, хвалиться есть чем. Попробуй представь себе, что такое Освенцим. Возьми Павяк, этот мерзкий сарай, прибавь Сербию¹, помножь на двадцать восемь и поставь их так близко друг к другу, чтобы между Павяками было совсем немного места, обведи все вокруг двойным рядом колючей проволоки, а с трех сторон — бетонной стеной, замости проходы, посади хилые деревца — и между всем этим размести тысяч пятнадцать человек, которые несколько лет провели в лагерях, терпели невообразимые муки, пережили самые худшие времена, а теперь у них брюки с ровной, как стрела, складкой и ходят они вразвалку, — сделай все это и ты поймешь, почему они так презирают и жалеют нас, выходцев из Биркенау, где есть только дощатые бараки-конюшни, где нет тротуаров, а вместо бани с горячей водой — четыре крематория.

Из лазарета, в котором очень белые, как-то не по-городскому белые стены, цементный тю-

¹ Сербия — женское отделение тюрьмы Павяк в Варшаве.

ремный пол и много-много трехэтажных нар, прекрасно видна дорога на воле — то человек пройдет по ней, то машина проедет, то телега с решетками по бокам, то велосипедист, возможно, рабочий, возвращающийся после работы. Дальше, но уже очень-очень далеко (ты не представляешь себе, какие просторы умещаются в таком вот небольшом окне, я хотел бы после войны, если ее переживу, жить в высоком доме с окнами на поле), видны какие-то дома, а за ними синий лес. Земля черная, наверно, влажная. Как в сонете Стаффа — помнишь «Весеннюю прогулку»?

Есть, однако, в нашем лазарете и кое-какие более уютные вещи, например, кафельная печь из цветных майоликовых изразцов, таких, какие у нас на складе лежали. В этой печке есть хитроумно встроенная решетка для жарения — вроде бы ничего не видно, а хоть поросенка жарь. На нарах «канадские» одеяла, пушистые, как кошачий мех. Простыни белые, хорошо выглаженные. Есть стол, который иногда накрывают скатертью — для праздничных трапез.

Окно выходит на обсаженную березами дорогу — Биркенвег. Жаль, что теперь зима и ветки плакучих берез без листьев висят, как растрепанные метлы, а вместо газонов под ними липкая грязь — наверно, такая, как в «том» мире за дорогой, только здесь нам приходится ее месить ногами.

По березовой дороге мы гуляем вечерами после поверки, чинно, степенно приветствуя кивками знакомых. На одном из перекрестков стоит указатель с барельефом, а на барельефе изображены двое сидящих на скамейке, один что-то шепчет другому на ухо, к ним накло-

нился третий и, насторожив ухо, подслушивает. Предупреждение: каждый твой разговор подслушивается, обсуждается, доносится куда надо. Здесь о каждом известно все: когда ты был доходягой, что и у кого раздобыл, кого задушил и на кого наступал, и каждый ехидно усмехается, когда кого-то похвалишь.

Итак, представь себе Павяк, во много раз увеличенный, окруженный двойным рядом колючей проволоки. Не так, как в Биркенау, где и вышки вроде аистов, стоят на высоких тонких шестах, и лампы горят через три столба, и проволока одножильная, но зато участков — пальцев не хватит сосчитать!

Нет, здесь не так: лампы горят через каждые два столба и вышки на массивных каменных основаниях, проволока двойная да еще стена вокруг.

И гуляем мы по Биркенвегу в наших штатских костюмах, прямо из прожарки — единственная пятерка не в полосатых робах.

Гуляем мы по Биркенвегу выбритые, свежие, беспечные. Народ бродит кучками, толпится перед десятым блоком, где за решетками и за наглухо забитыми окнами сидят девушки — подопытные кролики, но самая большая толпа собирается перед канцелярским блоком, и не потому, что там есть зал для оркестра, библиотека и музей, но просто потому, что на втором этаже там — «пуфф». Что такое пуфф, напишу в другой раз, а пока пусть тебя разбирает любопытство...

Знаешь, так странно писать тебе, ведь я уж очень давно не видел твоего лица. Твой образ расплывается в моей памяти, и даже большим усилием воли мне не удастся его вызвать. И в

снах есть что-то жуткое, ты снишься мне так явственно, так рельефно. Ведь сон — это, знаешь, не столько картина, сколько переживание, при котором ощущаешь пространство, тяжесть предметов и тепло твоего тела...

Мне трудно вообразить тебя на лагерных нарах, с остриженными после тифа волосами... Помню тебя по Павяку: высокая, стройная девушка с легкой усмешкой и печальными глазами. В Аллее Шуха ты сидела, опустив голову, и я видел только твои черные волосы, теперь остриженные.

И вот это самое заветное, что осталось во мне оттуда, из того мира: твой образ, хотя мне так трудно тебя вспомнить. И потому-то я пишу тебе такие длинные письма — это мои с тобой вечерние беседы, как тогда на Скарышевской. И потому в письмах моих нет тревоги. Я сохранил в душе большой запас спокойствия и знаю, что ты тоже его не утратила. Несмотря ни на что. Несмотря на склоненную перед гестапо голову, несмотря на тиф, несмотря на воспаление легких и — на коротко остриженные волосы.

А эти люди... Они, видишь ли, прошли страшную школу лагеря, того первоначального лагеря, о котором ходят легенды. Они весили тридцать кило, их били, из их рядов отбирали в газовые камеры — понимаешь, почему теперь у них такие смешные пиджаки в обтяжку, особенная качающаяся походка и почему они на каждом шагу хвалят Освенцим?

В общем, так вот... Гуляем мы по Биркенвегу, этакie франты в штатском. Но что поделаешь — миллионщики! А здесь — сто три тысячи, сто девятнадцать тысяч, прямо с ума сойдешь, поче-

му нам не достались более ранние номера! Подошел к нам некто в полоску, двадцать семь тысяч, такой старый номер, голова кружится. Молодой парень с мутным взглядом онаниста и походкой зверя, чующего опасность.

— Вы откуда, друзья?

— Из Биркенау, приятель.

— Из Биркенау? — Он недоверчиво посмотрел на нас. — И так хорошо выглядите? Но ведь там ужасно... Как вы там могли выдержать?

Витек, мой долговязый друг и отличный музыкант, одергивая манжеты, ответил:

— Фортепиано у нас там, к сожалению, нету, но выдержать можно.

Старый номер посмотрел на нас будто сквозь туман.

— А мы-то боимся Биркенау...

11

Начало курсов все откладывается, потому что ждем санитаров из соседних лагерей: из Янины, из Явожна, из Буны. Должны также прибыть санитары из Гливиц и из Мысловиц, лагерей более дальних, но еще относящихся к Освенциму. Тем временем мы выслушали несколько возвышенных речей чернявого начальника курсов, невысокого, худенького Адольфа, который недавно приехал из Дахау и весь пропитан духом товарищества. Он будет улучшать состояние здоровья лагерников, просвещая санитаров, и снижать смертность, обучая, что такое нервная система. Адольф — исключительно симпатичный парень и не из того мира, однако,

будучи немцем, он не понимает соотношения предметов и представлений и цепляется за значение слов, как если бы они были реальностью. Он говорит «камераден» и думает, что мы действительно товарищи; он говорит «уменьшать страдания» и думает, что это возможно. На воротах лагеря сплетенные из железных прутьев буквы: «Труд дает свободу». Пожалуй, они и впрямь в это верят, эти эсэсовцы и заключенные немцы. Те, которые воспитывались на Лютере, Фихте, Гегеле, Ницше. В общем, курсов пока нет, и я брожу по лагерю, совершаю краеведческие и психоведческие экскурсии. Точнее, бродим мы втроем: Сташек, Витек и я. Сташек обычно крутится возле кухни и склада, высматривая тех, кому он когда-то что-то дал и кто теперь должен дать ему. И вот вечером начинается хождение. Являются какие-то типы с гнусными физиономиями, любезно улыбаются, морща бритые щеки, и вытаскивают из-под узеньких пиджаков кто пачку маргарина, кто белый больничный хлеб, этот колбасу, тот сигареты. Они бросают все это на нижние нары и исчезают, как привидения. Мы делим добычу, разбираем из пачек сигареты и готовим себе еду в печке с цветными майоликовыми изразцами.

Витека не оторвешь от рояля. Стоит эта черная бандура в музыкальном зале того блока, где находится и пуфф, но в «арбайтсцайт»¹ играть не разрешается, а после поверки там играют музыканты, которые, кроме того, дают каждое воскресенье симфонические концерты. Обязательно схожу послушаю.

Против музыкального зала мы обнаружили

¹ Arbeitszeit — рабочее время (нем.).

двери с надписью: «Библиотека», но люди сведущие утверждают, что там всего несколько детективных романов, и выдают их лишь «райхсдойчам». Проверить не мог, потому что двери всегда заперты.

Рядом с библиотекой в этом блоке культуры есть политический отдел, а возле него — зал музея. Там находятся фотографии, изъятые из писем, и, кажется, больше ничего. А жаль, могли бы ведь там поместить ту недожарившуюся человеческую печень, за надкус которой моему приятелю греку всыпали двадцать пять ударов по заду.

Но самое главное находится на втором этаже. Это пуфф. Пуфф — это окна, полуоткрытые даже зимой. В окнах после поверки появляются женские головки всевозможных мастей, а из голубых, розовых и салатových (я очень люблю этот цвет) халатиков выглядывают белые, как морская пена, плечики. Головок, я слышал, пятнадцать, значит, плечиков — тридцать, если не считать старой Мадам с могучим, эпическим, легендарным бюстом, которая сторожит эти головки, шейки, плечики и т. д.. Мадам в окно не выглядывает, зато исполняет службу цербера у входа в пуфф.

Вокруг пуффа стоят толпой лагерные аристократы. Если Джульетт десяток, то Ромео (и отнюдь не завалящих) тысяча. Поэтому к каждой Джульетте толчея и конкуренция. Наши Ромео стоят в окнах барачков, находящихся напротив, кричат, сигнализируют руками, манят. Среди них старший в лагере и главный капо, и больничные врачи, и капо из команд. У многих Джульетт есть постоянные обожатели, и наряду с уверениями в вечной любви, в счастливой

совместной жизни после лагеря, наряду с упреками и шутливой перебранкой слышны речи о вещах более конкретных — мыле, духах, шелковых трусиках и сигаретах.

Среди соперников царит дух товарищества — нечестных приемов не применяют. Женщины в окнах очень нежны и соблазнительны, но недоступны, как золотые рыбки в аквариуме.

Так выглядит пуфф снаружи. Внутри можно проникнуть только через канцелярию, по талону, который является наградой за хорошую, усердную работу. Правда, мы в качестве гостей из Биркенау и здесь пользуемся привилегией, однако мы отказались, у нас ведь красные треугольники¹. Пусть уж уголовники пользуются тем, что им положено. Поэтому извини, но сведения будут не из первых рук, хотя они исходят от таких почтенных свидетелей и таких старых номеров, как санитар (впрочем, уже только почетный) М. из нашего блока, у которого номер почти в три раза меньше, чем две последние цифры моего номера. Представляешь — член-учредитель! Поэтому он ходит вразвалку, как утка, и носит широкие брюки клеш, скрепленные спереди английскими булавками. Вечерами он возвращается возбужденный и веселый. Он, понимаешь, наладился ходить в канцелярию и, когда зачитывают номера «допущенных», ждет, нет ли отсутствующего; тогда он кричит «hier»², хватается пропуск и бежит к Мадам. Сует ей в лапу пару пачек сигарет, она проделывает ему ряд гигиенических процедур, и, весь

¹ Нашитые на лагерную одежду цветные треугольники обозначали категорию узника, в частности, красные — политических.

² Здесь (нем.).

промытый, санитар наш мчится во весь опор наверх. Там по коридору прохаживаются стоявшие у окон Джульетты в небрежно запахнутых на голом теле халатиках. Какая-нибудь из них, проходя мимо санитаря, лениво спрашивает:

— Какой у вас номер?

— Восьмой, — отвечает санитар, для верности посмотрев на талончик.

— А, это не ко мне, это к Ирме, вот к той блондиночке, — разочарованно буркнет девушка и шаркающей походкой отойдет к окну.

Тогда санитар входит в дверь с восьмеркой. На дверях он еще прочитает, что таких-то и таких-то развратных манипуляций производить не разрешается, за это карцер, а разрешается лишь то-то и то-то (подробный перечень) и лишь на столько-то минут, со вздохом посмотрит на глазок, в который иногда заглядывают товарки, иногда Мадам, иногда командофюрер пуффа, а иногда даже сам комендант лагеря, кладет на стол пачку сигарет и... да, еще он замечает, что на тумбочке лежат две пачки английских. Потом наконец совершается то самое, после чего санитар выходит, по рассеянности сунув в карман те две пачки английских сигарет. Тут он опять подвергается дезинфекции и, веселый и счастливый, все это рассказывает нам.

Впрочем, дезинфекция порой подводит, из-за чего в пуффе некогда пошла зараза. Пуфф закрыли, проверили по номерам, кто был, вызвали их по списку к начальству и подвергли лечению. Поскольку же торговля пропусками ведется широко, лечили не тех, кого надо. Ха-ха, такова жизнь. Женщины из пуффа также совершали экскурсии в лагерь. Ночью в мужских костюмах они спускались по лест-

нице и участвовали в пьянках и оргиях. Но это не понравилось часовому из ближайшей будки, и все прекратилось.

Женщины есть и в другом месте: блок десятый, экспериментальный. Там производят искусственное оплодотворение (так говорят), прививают тиф, малярию, делают хирургические операции. Я мельком видел того, кто занимается этой работой: в зеленом охотничьем костюме, в тирольской шляпе, утыканной спортивными значками, лицо добродушного сатира. Говорят, профессор университета.

Женщины защищены решетками и заборами, но сплошь да рядом мужчины прорываются и туда и оплодотворяют их отнюдь не искусственно. Старый профессор, наверно, бесится.

Ты пойми, люди, которые этим занимаются, не извращенцы какие-нибудь. Весь лагерь, как люди поедят и выпьются, говорит о женщинах, весь лагерь мечтает о женщинах, весь лагерь рвется к ним. Старший надзиратель лагеря угодил в карательный транспорт за то, что систематически пробирался в пуфф через окно. Девятнадцатилетний ээсовец застукал в амбулатории дирижера, толстого, почтенного господина, а также нескольких врачей в не вызывающих сомнения позах с партнершами, пришедшими рвать зубы, и, не мешкая, отвесил оказавшейся у него в руке тростью надлежащую порцию ударов по надлежащему месту. Подобное событие — не позор: просто им не повезло.

В лагере нарастает психоз влечения к женщине. Поэтому к женщинам из пуффа относятся как к нормальным женщинам, которым говорят о любви и о семейной жизни. Женщин

таких десять, а мужчин в лагере больше десяти тысяч.

Поэтому они так стремятся в ФКЛ¹ в Биркенау. Эти люди — больные. И подумай: Освенцим ведь не единственный. Есть сотни «больших» концентрационных лагерей, есть «офлаги» и «шталаги», есть...

Знаешь, о чем я думаю, когда пишу тебе все это?

Сейчас поздний вечер, я сижу, отгороженный шкафом от большой палаты со множеством тяжело дышащих во сне больных, сижу в маленьком закутке у черного окна, в котором отражаются мое лицо, салатовый абажур лампы и белый лист бумаги на столе. Франц, молоденький паренек из Вены, договорился со мною в первый же вечер, и я сижу теперь за его столом, при свете его лампы и пишу тебе на его бумаге. Но я не буду писать о том, о чем мы говорили сегодня, — о немецкой литературе, о вине, о философии романтизма, о проблемах материализма.

Знаешь, о чем я думаю, когда пишу тебе все это?

Я думаю о Скарышевской улице. Смотрю в темное окно, вижу в стекле отражение своего лица, а за стеклом — ночь и внезапные вспышки прожекторов на сторожевых вышках, выхватывающие из темноты куски лагеря. Смотрю и думаю о Скарышевской улице. Вспоминаю бледное, усеянное искрами небо, развалины сгоревшего дома напротив и переплет оконной рамы, рассекающий эту картину, как витраж.

¹ ФКЛ (FKL — Frauenkonzlager) — женское отделение концлагеря.

Я думаю о том, как мучительно тосковал по твоему телу в те дни, и порой слегка улыбаюсь, когда мелькает мысль о том, как они, наверно, бесились, когда после нашего ареста нашли у нас наряду с моими книгами и стихами — твои духи и халат, красный, как парча на картинах Веласкеса, тяжелый, длинный халат (мне он ужасно нравился, в его обрамлении ты выглядела роскошно, хотя я никогда тебе об этом не говорил).

Я думаю о том, сколько в тебе было зрелости, сколько доброты и — прости, что я это тебе пишу теперь — сколько самоотверженности ты вложила в наши отношения, как охотно входила в мою жизнь, — крошечная комнатенка без воды, вечера с холодным чаем, несколько полуувядших цветков, собака, которая все грызла, и керосиновая лампа у моих родителей.

Я думаю об этом и снисходительно усмехаюсь, когда мне толкуют о морали, о законах, о традициях, о долге... Или когда отвергают всякую нежность и сентиментальность и, показывая кулак, говорят о жестоком веке. Усмехаюсь и думаю, что человек снова и снова находит человека — через любовь. И что это — самое главное и самое неизменное в человеческой жизни.

Я думаю об этом и вспоминаю камеру в Павяке. В первую неделю я не мог себе вообразить дня без книги, без вечернего светлого круга под лампой, без листа бумаги, без тебя...

И смотри, что значит привычка: я ходил по камере и в ритме шагов сочинял стихи. Одно стихотворение я записал в Библии товарища по

тюремной камере, но из других — то были песни в горацианском духе — я помню лишь отдельные строфы, например, вот эту из стихотворения к друзьям на воле:

Друзья дорогие мои на свободе! Тюремную песней
Я с вами прощаюсь, чтоб знали: отчаянью я не поддался.
Я верю, что после меня и любовь и стихи мои век не исчезнут,
А также, пока вы живете, жив буду я в памяти вашей.

Сегодня воскресенье. До полудня гуляли, глазе-ли сверху на экспериментальный женский блок (они просовывают головы в решетку, точно как кролики моего отца, ты помнишь, серые, с одним обвислым ухом?), потом внимательно осматривали блок ЗК¹ (там во дворе пресловутая черная стена, у которой прежде расстреливали, теперь убивают тише и скромнее — в крематории). Видели городских: две испуганные женщины в мехах и мужчина со смятым, невыспавшимся лицом. Вел их эсэсовец — только не пугайся! — в камеру временного заключения, которая как раз находится в блоке зондеркоманды. Женщины с ужасом смотрели на людей в полосатых робах и на внушительные лагерные сооружения: двухэтажные здания, двойная колючая проволока, за проволокой стена, массивные сторожевые вышки. А если б они еще знали, что стена — так говорят — уходит на два метра вглубь, чтобы нельзя было сделать подкоп! Мы им улыбались, это же просто коме-

¹ ЗК (SK — Sonderkommando) — крематорная команда.

дия — посидят неделю-другую и выйдут. Разве что им докажут-таки, что они занимались спекуляцией. Тогда отправятся в крематорий. Смешные эти городские. Реагируют на лагерь, как дикари на огнестрельное оружие. Они не понимают механизма нашей жизни, им чудится во всем этом что-то невероятное, мистическое, превосходящее силы человеческие. Помнишь, как ты, когда тебя арестовали, сидела в оцепенении, — ты мне об этом писала. Я читал у Марии «Степного волка»¹ (она тоже была в чтении переборчива), но не слишком себе представлял, как себя чувствуют при аресте.

Теперь же, когда мы запанибрата с невероятным и мистическим, когда крематорий — наша повседневность и кругом тысячи флегмонозных и чахоточных, испытав, что такое дождь и ветер, и солнце, и хлеб, и суп из брюквы, и труд ради спасения, и рабство, и власть, живя, так сказать, наравне со скотом, — я смотрю на них, на городских этих, чуточку снисходительно, как ученый на невежду, как посвященный на профана.

Очисти повседневные события от их повседневности, отбрось ужас, и отвращение, и презрение и найди для всего этого философскую формулу. Для газа и для золота, для поверки и для пuffed, для новичка и для старого номера.

Если бы я сказал тебе тогда, когда мы танцевали вдвоем в маленькой комнатке при оранжевом свете: послушай, вот тебе миллион человек, или два, или три миллиона, убей их так, чтобы никто об этом не знал, даже они сами, посади в тюрьму несколько сот тысяч, сломи их

¹ Роман Германа Гессе (1877—1962), изданный в 1927 г.

солидарность, натрави человека на человека... ты, конечно, сочла бы меня сумасшедшим, и, пожалуй, нам пришлось бы прервать танец. Но я бы, наверно, так не сказал, даже если бы знал лагерь, — я не стал бы портить настроение.

А тут — во-первых, один деревенский, с белеными стенами сарай, и в нем — душат людей. Потом четыре строения побольше — двадцати тысяч как не бывало. Без волшебства, без ядов, без гипноза. Несколько человек направляют движение, чтобы не было толчеи, и люди текут, как вода из крана. Происходит это среди хилых деревьев задымленного лесочка. Обыкновенные грузовики подвозят людей, возвращаются и опять подвозят — как на конвейере. Без волшебства, без ядов, без гипноза.

И как же это получается, что никто не крикнет, не плюнет в лицо, не вцепится в грудь? Почему мы снимаем шапку перед ээсовцами, которые возвращаются из того лесочка, а когда назовут нас в списке, идем с ними на смерть и — молчок? Голодаем, мокнем под дождем, у нас отбирают близких. Видишь ли, это мистика. Странное колдовство, которым человек сковывает человека. Какая-то дикая пассивность, которую ничем не пронять. И единственное оружие — наша численность, газовые камеры не вмещают.

Или еще так: рукоятью лопаты по горлу, и вот тебе по сто человек ежедневно. Или суп из крапивы и хлеб с маргарином, а потом молодой, рослый ээсовец с измятым листком бумаги, номер, вытатуированный на твоей руке, потом грузовик, один из тех...

...а знаешь, когда в последний раз отбирали «арийцев» в «газ»? Четвертого апреля. А по-

мнишь, когда мы прибыли в лагерь? Двадцать девятого апреля. А что было бы с твоим воспалением легких, если бы мы приехали сюда на три месяца раньше?

...знаю, что ты лежишь на общих нарах с подругами, которых, наверно, очень удивляют мои письма. «Ты говорила, этот Тадеуш веселый, а смотри, пишет он все только о печальных вещах». И наверно, они мною очень возмущаются. Но ведь мы же имеем право говорить и о том, что происходит вокруг нас. Мы же не выискиваем зло попусту и безответственно, мы просто утопаем в нем...

...а теперь вот опять поздний вечер после дня, полного удивительнейших происшествий.

После обеда я пошел на боксерский матч в большой барак «вашраума»¹, туда, откуда раньше отправлялись партии в «газ». Нас пропустили в самую середину, хотя зал был набит до отказа. Ринг был устроен в просторном предбаннике. Верхний свет, судья (NB, польский олимпийский судья), боксеры с мировой славой, но только арийцы, евреям выступать не разрешается. И те же люди, которые изо дня в день выбивают зубы десятками, люди, у которых у самих нередко увидишь беззубую челюсть, — восторгались Чортеком, Вальтером из Гамбурга и каким-то пареньком, который, тренируясь в лагере, достиг, говорят, высокого класса. Тут еще жива память о номере 77, который когда-то избивал немцев в боксе за милую душу, беря на ринге реванш за то, что другим доставалось на работе.

¹ Waschraum — умывальная, баня (нем.). В старом Освенциме помещение это служило для других целей, например, для спортивных состязаний.

Зал был весь в сигаретном дыму, боксеры лупили друг друга вволю. Но делали это непрофессионально, хотя и весьма энергично.

— Вот тебе и Вальтер, — говорит Сташек, — только посмотрите! В рабочей команде, если захочет, так одним ударом доходягу уложит! А тут, глядишь, три раунда и — ничего! Еще ему самому морду набили. Наверно, зрителей слишком много, правда?

Зрители тоже благодумствовали, а уж мы-то в первом ряду — понятное дело, гости.

Сразу после бокса я отправился «в свет», на концерт. Вы там, в вашем Биркенау, понятия не имеете, какие тут происходят чудеса культуры, в нескольких километрах от печей. Вообрази, играют увертюру к «Танкреду», и что-то Берлиоза, и еще какие-то финские танцы композитора, у которого в фамилии сплошные «а». Куда Варшаве до такого оркестра! Но расскажу тебе все по порядку, а ты слушай, стоит того. Так вот, вышел я после бокса в приподнятом настроении и сразу направился в блок, где пуфф. Внизу, под пуффом, музыкальный зал. Там были теснота и шум, у стен стояли слушатели; музыканты, рассевшись по всему залу, настраивали инструменты. Против окна — возвышение, на него взошел кухонный капо (он же дирижер), и тут «картофельники» и «повозочники» (забыл тебе написать, что оркестр в рабочее время чистит картошку и возит тачки) начали играть. Я едва успел втиснуться между вторым кларнетом и фаготом. Примостился на незанятом стуле первого кларнета и весь обратился в слух. Ты даже вообразить не можешь, как мощно звучит симфонический оркестр из тридцати человек в большой комнате! Дирижер взмахивал па-

лочкой осторожно, чтоб не удариться рукой об стену и выразительно грозил тем, кто фальшивил. Вот уж задаст им на картошке! Сидевшие по углам комнаты (с одной стороны бубен, с другой контрабас) наяривали изо всех сил. Всех заглушал фагот — может, потому, что я сидел с ним рядом. А уж контрабас! Пятнадцать слушателей (больше не поместилось) упивались музыкой со знанием дела и награждали оркестр скупыми аплодисментами... Кто-то назвал наш лагерь «Betrugslager» — «лагерь обманов». Чахлая живая изгородь у белого домика, дворик вроде деревенского, таблички с надписью «баня» — этого достаточно, чтобы одурачить миллионы людей, обмануть их, даже ведя на смерть. Какой-нибудь бокс, да газончики возле блоков, да две марки в месяц для самых прилежных узников, горчица в ларьке, еженедельная проверка на вшей и увертюра к «Танкреду» — этого достаточно, чтобы обмануть мир и — нас. Те, на воле, думают, что это ужасно, но все же не так уж страшно, если есть и оркестр, и бокс, и газоны, и одеяла на койках... Обман даже в той пайке хлеба, к которой надо что-то добавлять, чтобы выжить.

Обман — наша работа, во время которой нельзя разговаривать, сидеть, отдыхать. Обман — каждая неполная лопата земли, которую мы выбрасываем из рва.

Внимательно приглядывайся ко всему этому и не трать сил, если тебе плохо.

Ведь возможно, что об этом лагере, об этом времени обманов, мы еще должны будем дать отчет живым и встать на защиту погибших.

Когда-то мы ходили в лагерь командами. В такт шагающим шеренгам играл оркестр.

Подошли люди из ДАВ¹ и десятки других команд и остановились у ворот: десять тысяч мужчин. И тогда подъехали из ФКЛ грузовики с голыми женщинами. Женщины протягивали руки и кричали:

— Спасите! Нас везут в «газ»! Спасите нас!

И они проехали мимо нас, мимо стоявших в глубоком молчании десяти тысяч мужчин. Ни один человек не пошевелился, ни одна рука не поднялась.

Потому что живые всегда правы перед мертвыми.

V

Сперва мы были на курсах. В общем-то, мы посещаем курсы уже давно, только я тебе об этом ничего не писал, потому что они на чердаке и там очень холодно. Мы сидим на утащенных из разных мест стульях и отлично развлекаемся, между прочим, большими муляжами частей человеческого тела. Кто полюбопытней, разглядывает их, а мы с Витеком перебрасываемся губкой и фехтуем линейками, чем приводим в отчаяние чернявого Адольфа. Он размахивает руками над нашей головой и разглагольствует о чувстве товарищества и о лагере. Тогда мы тихо усаживаемся в угол, Витек достает фотографию жены и вполголоса спрашивает:

— Интересно, много он поубивал там, в

ДАВ (DAW — Deutsche Abrüstungswerke) — германские предприятия по демонтажу, занимавшиеся в основном разборкой сбитых над Германией самолетов.

Дахау? Наверно, да. Иначе не задавался бы так... Ты бы его придушил?

— Угу... Да, красивая женщина. Ты ее любишь?

— Гуляли мы однажды в Прушкове¹. Кругом, знаешь, зелень, укромные тропинки, на горизонте лес. Идем, прижавшись друг к другу, и тут сбоку выскакивает эсэсовская собака...

— Ну-ну, не заливай. Это ж в Прушкове было, не в Освенциме.

— Нет, правда, эсэсовская собака, там рядом вилла, захваченная эсэсовцами. И зверюга эта кинулась на мою Ирку! Что бы ты сделал? Я пальнул из револьвера по зверю, хватаю жену за руку. «Ирка, — говорю, — бежим!» А она стоит как вкопанная и на пушку уставилась: «Откуда это у тебя?» Еле уволок ее, а на вилле уже голоса слышались. Эх, и припустили мы через поле, точно пара зайцев. Долго мне пришлось объяснять Ирке, что при моей профессии эта железная штука необходима.

Тем временем кто-то из очередных докторов толкует о пищеводе и о всякой всячине, что есть внутри у человека, а Витек, как ни в чем не бывало, продолжает трепаться:

— Поссорился я как-то раз с приятелем. Решил — или он, или я. Впрочем, он тоже так решил, я ж его хорошо знал. Ходил я за ним и только поглядывал, нет ли за мною хвоста. Застукал его вечерком на Хмельной и пырнул, только не попал куда надо. Прихожу на другой день, у него рука перевязана, сам на меня исподлобья смотрит. Говорит: «Я упал».

¹ П р у ш к о в — город недалеко от Варшавы.

— А ты что? — спрашиваю я с интересом, история явно недавняя.

— Да ничего, потому что меня сразу посадили.

Был ли этот приятель тому причиной или же нет, сказать трудно, однако Витек не из тех, кто поддается судьбе. В Павяке он был то ли надзирателем, то ли банщиком — в общем, пипель¹ у Кроншмидта, который вместе с одним украинцем в каждое дежурство мучил евреев. Знаешь подвалы Павяка? Их железные полы? Так вот, евреи, голые, с распаренной после бани кожей, должны были ползать по ним туда и обратно, туда и обратно. А ты видала когда-нибудь подошвы солдатских сапог? Сколько там гвоздей? Кроншмидт становился в таких сапогах на голое тело и ездил на ползающем человеке. Для арийцев была поблажка, я, правда, тоже ползал, но в другой секции и на меня никто не влезал. И заставляли меня ползать не из принципа, а когда плохо отрапортую. Для нас зато была гимнастика: один час в два дня. Бегать вокруг двора, потом падать и выжиматься на руках, хорошее упражнение, его в школе делают.

Мой рекорд: 76 раз подряд и боль в руках до следующего раза. Но самое лучшее упражнение из мне известных, это коллективное «Налет, прячься!». Шеренга по двое, в затылок один другому, несет на плечах лестницу, поддерживая ее одной рукой. При команде «Налет, прячься!» все падают наземь, не выпуская из рук лестницу. Кто отпустит руку, погибает под

¹ Pipel (нем.) — подросток, обслуживающий капо и старост, «подкапник».

ударами дубинки или затравленный собаками. Потом по ступенькам лежащей на людях лестницы начинает ходить ээсовец — туда и обратно, туда и обратно. Потом надо встать и, не смешивая рядов, опять падать.

Видишь ли, тут все неправдоподобно: без конца кувыряться, как в Заксенхаузене, часами катиться по земле, делать сотни приседаний, дни и ночи стоять на одном месте, месяцами сидеть в бетонном гробу, в карцере, висеть привязанным за руки на столбе или на жерди, положенной на два стула, скакать по-лягушечьи или ползти ужом, ведрами, до удушья, пить воду, быть битым тысячами всевозможных кнутов и палок тысячами различных людей — я, знаешь, с жадностью слушаю истории из никому не известных провинциальных тюрем в Малкине, Сувалках, Радоме, Пулавах, Люблине, о чудовищно усовершенствованной технике мученья человека и не могу поверить, что она выскочила из головы человеческой внезапно, как Минерва из головы Юпитера. Я не могу понять этой внезапно вспыхнувшей страсти убивать, этого взрыва, казалось бы, изжитого атавизма.

И еще вот что: смерть. Мне рассказывали о таком лагере, куда каждый день приходили эшелоны с новыми узниками, по несколько десятков человек каждый. Но в лагере было установлено постоянное количество порций — не помню сколько, может, две, может, три тысячи, — и комендант не желал, чтобы узники голодали. Каждый узник должен был получать свой паек. Так что в лагере каждый день было несколько десятков лишних людей. Каждый вечер в каждом блоке бросали жребий на картах или на хлебных катышках, и вытянувшие

смерть на следующий день не шли на работу. В полдень их выводили за ограду и расстреливали.

И среди этого разгула атавизма стоит человек из другого мира, человек, который занимается конспирацией для того, чтобы не было тайных афер, который крадет, чтобы на земле не было грабежей, человек, который убивает, чтобы не было больше убийств.

И вот Витек был из того, другого мира, и он же был пипелем у Кроншмидта, злейшего палача в Павяке. А теперь он сидит рядом со мной и слушает, что есть у человека внутри и как быть, если это, там внутри, испортится, как это налаживать подручными средствами. Потом на курсах случился скандал. Доктор обратился к Сташеку, который так здорово умеет что хочешь раздобыть, и приказал повторить про печень. Сташек повторил плохо. Доктор сказал:

— Вы отвечаете очень глупо и, кстати, могли бы встать.

— Я сижу в лагере, значит, могу и на курсах сидеть, — ответил, побагровев, Сташек. — И, кстати, прошу меня не оскорблять.

— Молчать, вы на курсах.

— Ну ясно, вам хочется, чтобы я молчал, а то я мог бы слишком много нарасказать, что вы тут творили в лагере.

Тут мы давай стучать стульями и орать: «Верно! верно!», и доктор выбежал за дверь. Пришел Адольф, стал нам долдонить про чувство товарищества, а потом мы пошли в блок, как раз на половине системы пищеварения. Сташек сразу помчался к своим друзьям, чтобы доктор не смог ему подставить ножку. И наверно, не подставит, потому что у Сташека есть надежная рука. Толь-

ко это и выучили мы из лагерьной анатомии: у кого есть надежная рука, тому трудно подставить ножку. А с доктором тем и вправду всякое бывало, он на больных хирургии учился. Сколько их искромсал ради науки, а сколько по невежеству — сосчитать трудно. Но, наверно, немало, потому что больница всегда забита, да и морг полнехонек.

Читая это, ты подумаешь, что я уже совершенно отдалился от того, домашнего мира. Все пишу тебе только о лагере, о наших мелких происшествиях, вылуциваю из этих происшествий их смысл, словно ничто иное нас уже не ждет...

Помнишь нашу комнатку? Литровый термос, который ты мне купила? Он не влезал в карман и в конце концов — к твоему возмущению — отправился под кровать. А ту историю с облавой на Жолибоже, во время которой ты целый день передавала мне репортажи по телефону? О том, что вытаскивали из трамваев, но ты, мол, вышла на остановку раньше; что был оцеплен квартал, но ты убежала в поля у самой Вислы? И то, как ты, когда я сетовал на войну, на варварство, на то, что мы вырастаем поколением неучей, мне говорила:

— Подумай о тех, кто в лагерях! Мы только тратим время попусту, а они мучаются.

В том, что я говорил, было много наивности, незрелости и жажды комфорта. Но думаю, что мы все же не тратили время попусту. Вопреки ужасам войны мы жили в другом мире. Возможно, ради того мира, который настанет. Если это слишком смело сказано — извини. А то, что теперь мы здесь, — это, пожалуй, тоже ради того мира. Ведь если бы не надежда, что тот, другой мир настанет, что человеку вновь

вернут его права, неужели ты думаешь, что мы прожили бы в лагере хоть один день? Именно она, надежда, велит людям апатично идти в газовую камеру, велит не рисковать, не пытаться бунтовать, погружает в оцепенение. Именно надежда рвет узы семьи, велит матерям отречься от детей, женам — продавать себя за хлеб и мужьям — убивать людей. Именно надежда велит им бороться за каждый день жизни, потому что, может быть, как раз этот день принесет освобождение. Ах, и это даже не надежда на другой, лучший мир, а просто на жизнь, в которой будет покой и отдых. Никогда еще в истории человечества надежда не была так сильна в человеке, но никогда она не причиняла и столько зла, как в этой войне, как в этом лагере. Нас не научили отказываться от надежды, и потому мы гибнем от газа.

Смотри, в каком оригинальном мире мы живем: как мало сыщется в Европе людей, которые бы не убили человека! И как мало людей, которых другие люди не жаждут убить!

А мы-то мечтаем о мире, где есть любовь другого человека, где можно уединиться от людей и отдохнуть от инстинктов. Таков, видимо, закон любви и молодости.

Р. С. Но прежде я, знаешь, охотно прирезал бы кое-кого, просто для разрядки, чтобы избавиться от лагерного комплекса, комплекса снимания шапки, бездеятельного созерцания избитых и истерзанных, комплекса страха перед лагерем. Боюсь, однако, что этот комплекс никогда нас не оставит. Не знаю, выживем ли мы, но хотел бы, чтобы мы когда-нибудь сумели называть вещи их настоящими именами, как делают смелые люди.

VI

Вот уже несколько дней у нас после обеда есть постоянное развлечение: из блока für Deutsche¹ выходит колонна и, маршируя с пеньем «Morgen nach Heimat»², делает несколько кругов по лагерю. Дирижирует старший надзиратель лагеря, отмечая тростью Schritt und Tritt³.

Это уголовники, или солдаты «добровольцы». Повытаскивали все зеленые треугольники, и тех, у кого преступление полегче, пошлют на фронт. Какому-нибудь типу, который зарезал жену и тещу, а канарейку выпустил на свежий воздух, чтобы птичка не мучилась в клетке, тому повезло, он останется. Но пока они все вместе.

Учат их маршировать и ждут, проявят ли они понимание жизни в коллективе или же нет. А они проявляют коллективизм как могут. Находятся здесь всего немного дней, а уже успели разорить склад, наворовали посылок, разбили буфет и разгромили пуфф (в связи с чем его опять, ко всеобщему сожалению, закрыли). Мол, зачем, очень мудро говорят они, нам идти драться и подставлять свою голову ради ээсовцев и кто нам будет там сапоги чистить, когда нам и здесь хорошо? Фатерланд себе фатерландом, он и без нас пропадет, а кто нам на фронте сапоги будет чистить и есть ли там хорошенькие мальчики?

И вот шагает такая орава по дороге и поет «Завтра на родину». Все славные драчуны, один

¹ Для немцев (нем.).

² «Завтра на родину» (нем.).

³ Шаг (нем.).

знаменитей другого: Зеппель, ужас «дахдекеров», тот, который безжалостно заставляет работать в дождь, в снег и в мороз и сбрасывает с крыши за плохо забитый гвоздь; Арно Бем, номер 8, многолетний блокфюрер, капо и лагеркапо, тот, который убивал дневальных, если они продавали чай, и давал по двадцать пять ударов за каждую минуту опоздания и каждое слово, сказанное после вечернего отбоя; тот самый, который писал старикам родителям во Франкфурт короткие, но трогательные письма о разлуке и возвращении. Мы их всех узнаем: вот тот избивал в ДАВе, тот — ужас Буны, этот — хлюпик, но, когда заболел, делал набег в комнату старшего в бараке за табаком, пока не был избит до полусмерти и изгнан в лагерь, где получил в свои воровские лапы какую-то несчастную команду. Идут в шеренге отпетые педерасты, алкоголики, наркоманы, садисты — а в самом хвосте шагает щегольски одетый Курт, он озирается вокруг, сбивается с ноги и не поет. В конце-то концов, подумал я, это он отыскал мне тебя и носил нам письма, и я мигом сбежал вниз, схватил его за шиворот и говорю:

— Курт, ты, наверно, голоден, давай, доброволец-уголовник, приходи к нам наверх, — и я показал ему наше окно.

Как-то под вечер он явился к нам — как раз к обеду, сготовленному в печке с майоликовыми изразцами. Курт очень мил (звучит это странно, но другого определения не найду) и умеет хорошо рассказывать. Когда-то он хотел стать музыкантом, но отец, богатый лавочник, выгнал его из дому. Курт поехал в Берлин, познакомился там с девушкой, дочкой другого лавочника, жил с ней, писал в спортивные

газеты, угодил на месяц в каталажку за драку со «штальхельмом»¹, а потом так и не показался к девушке. Раздобыл спортивный автомобиль и занялся контрабандой, спекулировал валютой. Однажды на прогулке встретил свою девушку, но не посмел к ней подойти. Потом ездил в Австрию и в Югославию, пока его не схватили и не посадили. И поскольку он рецидивист (из-за того несчастного месяца!), его после тюрьмы упекли в лагерь, жди, мол, конца войны.

Наступает вечер, лагерная поверка кончилась. Мы сидим за столом и рассказываем истории. Рассказывают всюду: по дороге на работу, возвращаясь в лагерь, с лопатой и у вагонетки, вечером на нарах, стоя на поверке. Мы рассказываем романы и рассказываем жизнь. И то и другое из запроволочного мира. Нынче нас потянуло на лагерь, возможно, оттого, что Курт скоро из него выйдет.

— Собственно о лагере никто ничего подробно не знал. Болтали какую-то чепуху о бессмысленной работе, вроде того, что там без конца взламывают асфальт и снова им заливают или разгребают песок. Ну и конечно, о том, что это ужасно. Всякие слухи ходили. Но богом клянусь, не больно-то я этим интересовался. И так известно — попадешь, уже не выйдешь.

— Вот если бы ты, Тадек, приехал года два назад, тебя бы, наверно, уже ветром из трубы развеяло, — скептически заметил Сташек, мастер раздобывать что угодно.

¹ Stahlhelm — стальной шлем (нем.) — прозвище немецких жандармов.

Я досадливо пожал плечами.

— А может, и нет. Тебя не развеяло, так, может, и меня бы не развеяло. А знаете, в Павяке был один из Аушвица.

— Наверно, на суд приехал.

— Вот именно. Мы его спрашивали, а он молчит, будто воды в рот набрал. Одно говорил: «Приезжайте, увидите. А сейчас — что вам говорить. Вы как дети».

— Ты боялся лагеря?

— Боялся. Выехали мы из Павяка рано утром. В машинах на вокзал. Дело плохо: солнце в спину. Значит, на Западный. Аушвиц. Погрузили нас в темпе в вагоны и — поехали! Распределили по алфавиту, в вагоне по шестьдесят душ, даже не было тесно.

— Шмотки взял?

— Ясно, взял. Плед и куртку, подарки моей невесты, да две простыни.

— Эх ты, растяпа, надо было товарищам оставить. Ты что, не знал, что все отберут?

— Жалко было. Потом мы повыдергали все гвозди из одной стенки, вырвали доски и — деру! Только на крыше стоял пулемет, первых троих сразу уложили. Последний высунул голову из вагона и схлопотал пулю в затылок. Поезд сразу остановили — мы все в угол! Шум, крики, чистое пекло! Нечего было удирать! Трусы! Поубивают нас! И проклятья, да еще какие!

— Ну, уж не хуже, чем в бабском лагере.

— Не хуже. Но все равно крепкие. А я сидел на полу, в самом низу, на мне куча народу. Думаю: вот хорошо, как будут стрелять, не меня первого убьют. И таки хорошо, потому что стреляли. Дали очередь по всей куче, двоих

убили, а третьего ранили в бок. И los, aus¹, без вещей! Ну, думаю, теперь капут! Нет, только отколотили! Немного жаль было куртки, в ней Библия лежала, и она, знаете, тоже подарок моей невесты.

— Да и плед, кажется, был от невесты?

— Да. Тоже было его жалко. Но я ничего не взял, меня сбросили со ступенек. Вы и представить не можете, какой мир огромный, когда вылетаешь из закрытого вагона! Небо такое высокое...

— ... голубое...

— Вот именно, голубое, деревья так пахнут, лес — рукой подать! Кругом эсэсовцы с автоматами. Четверых отвели в сторону, а нас загнали в другой вагон. Теперь нас ехало сто двадцать, из них трое убитых и один раненый. Чуть не задохнулись в вагоне. Было так душно, что с толка буквально вода лилась. Ни одного окошка, ничего, все забито досками. Мы кричали «воздуха», «воды», но когда там начали стрелять, все сразу успокоились. Потом повалились на пол, так и лежали как зарезанные поросята. Я снял с себя свитер, две сорочки. Все тело было облито потом. Из носу медленно текла кровь. В ушах шумело. Хотелось поскорей в Освенцим, ведь это означало на свежий воздух. Когда открыли дверь на перрон, с первым глотком воздуха ко мне полностью вернулись силы. Ночь была апрельская, звездная, холодная. Холода я не чувствовал, хотя натянул на себя совершенно мокрую сорочку. Кто-то сзади обнял меня и поцеловал. «Брат, брат», — шептал он. В черноте скрывавшего землю мрака светились

¹ Давай, выходи! (нем.)

ряды лагерных огней. Над ними рвалось ввысь тревожное рыжее пламя. Вокруг него тьма была еще гуще. Казалось, оно пылает где-то высоко в небе. «Крематорий», — пронесся шепот по рядам.

— Красиво говоришь, видно, что поэт, — одобрительно сказал Витек.

— Мы шли в лагерь, несли трупы. Я слышал позади тяжелое дыхание людей и представлял себе, что за мной идет моя невеста. То и дело глухие удары. У самых ворот мне дали штыком в бедро. Больно не было, только сразу стало очень жарко. Кровь потекла по бедру и голени. Через несколько шагов мышцы одеревенели, и я стал хромать. Конвоир эсэсовец ударил еще нескольких впереди меня и, когда мы входили в решетчатые ворота лагеря, сказал:

— Тут вам будет хороший отдых.

Было это в четверг ночью. А в понедельник я уже пошел на работу, за семь километров от лагеря. В Буды, телеграфные столбы носить. Нога болела — сил нет. Но отдых тут дают, ничего не скажешь!

— Ерунда все это, — сказал Витек, — евреям-то в поезде еще хуже приходится. Нечего тебе хвалиться.

Мнения разделились — и о том, кому хуже, и о евреях вообще.

— Евреи, они, знаете, какие, эти евреи! — вырвался вперед Сташек. — Увидите, они здесь, в своем же лагере, еще гешефт сделают! Они и в крематории, и в гетто — родную мать продадут за миску брюквы! Стоим мы как-то утром в рабочей команде, возле нас крематорная команда, парни что быки, жизнью довольны, еще бы нет! Рядом со мною мой друг Мойше,

тот самый, кочегар. Он из Млавы, и я из Млавы, сами понимаете, земляки, значит, друзья и компаньоны, надежность и доверие. «Что с тобой, Мойше? Чего ты такой скучный?» — «Да вот, получил фотографию своей семьи». — «Чего ж ты огорчаешься, это же хорошо». — «Чтоб тебе подавиться таким «хорошо», я отца в печь отправил!» — «Не может быть!» — «Вот и может, отправил. Приехал он в эшелоне, увидел меня возле камеры, я туда людей загонял, он кинулся мне на шею, давай целовать и спрашивать, что тут будет, говорит, голодный, два дня ехали не евши. А тут начальник команды кричит, чтобы не задерживаться, работать надо! Что было делать! «Иди, говорю, отец, помойся в бане, а потом поговорим, видишь, теперь мне некогда». И отец пошел в камеру. А фотографию я потом вынул из его одежды. Вот и скажи, что тут хорошего, что я заимел фотографию?»

Мы рассмеялись. В общем-то, неплохо, что арийцев теперь не посылают в «газ». Что угодно, только не это.

— Раньше-то посылали, — сказал «здешний» санитар, который всегда к нам подсаживается. — Я в этом блоке уже давно, многое помню. Сколько через мои руки прошло народу в «газ», товарищей и знакомых из моего города! Уже и лиц не вспомнишь. Что говорить — масса! Но один случай, пожалуй, всю жизнь буду помнить. Был я тогда санитаром в амбулатории. Перевязки делаешь без особых стараний, известно, на всякие церемонии времени нет. Поковыряешь ему руку, или спину, или еще где — лигнин, повязка и пошел вон! Следующий! Даже на лицо не взглянешь. И никто не благодарит,

потому не за что. Но однажды сделал я перевязку какой-то флегмоны и слышу, он уже в дверях говорит: «Спасибо, пан санитар!» Бледный такой паренек, худенький, еле держится на опухших ногах. Я потом пошел его навестить, суп принес. У него была флегмона на правой ягодице, потом на всем бедре, гною уйма. Мучился ужасно. Все плакал, говорил о матери. «Тише ты, — говорю ему, — у нас же тоже есть матери, а мы не плачем». Утешал его как мог, а он все горевал, что домой не вернется. Что я мог ему дать? Миску супа, а иногда кусок хлеба. Укрывал я Толечку, как мог, от селекций, но однажды его обнаружили, записали. Я сразу к нему пошел. У него был жар. Говорит: «Не беда, что меня в «газ». Видно, так надо. Но когда кончится война и ты переживешь ее...» — «Не знаю, Толечка, переживу ли», — перебил я его. «Переживешь, — настойчиво сказал он, — и поедешь к моей матери. После войны, наверно, не будет границ, не будет государств, не будет лагерей, люди не будут убивать друг друга. Ведь это есть наш последний бой, — сказал он со значением. — Последний, понимаешь?» — «Понимаю», — ответил я. «Поедешь к моей матери и скажешь ей, что я погиб. Ради того чтобы не было границ. Чтобы не было войны. Не было лагерей. Скажешь?» — «Скажу». — «Запомни: моя мать живет в Дальневосточном крае, город Хабаровск, улица Льва Толстого, двадцать пять, повтори». Я повторил. Пошел к старшему блока Шарому, он мог еще вычеркнуть Толечку из списка. А он дал мне по морде и вышвырнул из своей комнаты. Отправили Толечку в «газ». Шарый через несколько месяцев попал в эшелон. На

прощанье попросил сигарет. Я подговорил народ, чтобы никто ему не давал. Не дали. Может, я плохо поступил, он же ехал на гибель в Маутхаузен. А адрес Толечкиной матери я хорошо запомнил: Дальневосточный край, город Хабаровск, улица Льва Толстого...

Мы молчали. Курт, обеспокоившись, спросил, в чем дело, он же и так из нашего разговора ничего не понимал. Витек ему изложил в двух словах:

— Говорим о лагере и о том, будет ли мир лучше. Ты бы тоже мог что-нибудь рассказать.

Курт, усмехаясь, посмотрел на нас и сказал медленно, чтобы все мы поняли:

— Расскажу очень короткую историю. Когда я был в Маутхаузене, там поймали двух беглецов, как раз в сочельник. Поставили на плацу виселицу, рядом с большой елью. Когда их вешали, собрали на апельплац весь лагерь. И зажгли огни на елке. Потом вышел вперед комендант лагеря, повернулся к заключенным и скомандовал:

— Häftlinge, Mützen ab!¹

Мы сняли шапки. Комендант вместо традиционной новогодней речи сказал:

— Кто ведет себя как свинья, с тем будут обращаться как со свиньей. Häftlinge, Mützen auf!²

Мы надели шапки.

— Разойдись.

Мы разошлись.

Молча, мы закурили сигареты. Каждый думал о своем.

¹ Заключенные, снять шапки! (нем.)

² Заключенные, надеть шапки! (нем.)

Если бы вдруг рухнули стены бараков, тогда тысячи избитых, сгрудившихся на нарах людей повисли бы в воздухе. Зрелище было бы поужасней средневековых картин Страшного суда. Нет ничего более потрясающего, чем вид другого человека, спящего на своем кусочке нар, на том месте, которое он вынужден занимать, ибо у него есть тело. А уж тело-то использовали на все лады: вытатуировали на нем номер, чтобы сэкономить кандалы, дали столько часов сна ночью, чтобы человек мог работать, и столько времени днем, чтобы мог поесть. А еды ровно столько, чтобы не издох, пока может трудиться. Место для жительства лишь одно: кусочек нар, все остальное принадлежит лагерю, государству. Но этот кусочек места, и рубаха, и лопата — не твои. Заболеешь — все отберут: одежду, шапку, недозволенное кашне, носовой платок. Умрешь — вырвут у тебя золотые зубы, заранее записанные в лагерной книге. Сожгут, пеплом посыпят поля или будут осушать пруды. Правда, при сжигании переводят столько жира, столько костей, столько мяса, столько тепла! Но в других местах делают из людей мыло, из человеческой кожи — абажуры, из костей — украшения. Кто знает, может, все это на экспорт для негров, которых они когда-нибудь завоюют?

Мы работаем под землей и на земле, под крышей и на дожде, у вагонеток, с лопатой, киркой и ломом. Мы таскаем мешки с цементом, кладем кирпич, укладываем рельсы, огораживаем участки, утаптываем землю... Мы закладываем основы какой-то новой, чудовищной цивили-

лизации. Лишь теперь я понял, чего стоят создания древности. Какое чудовищное преступление все эти египетские пирамиды, храмы, греческие статуи! Сколько крови оросило римские дороги, пограничные валы и городские здания! Этот древний мир был гигантским концентрационным лагерем, где рабу выжигали на лбу тавро владельца и распинали на кресте за побег! Этот древний мир был великим заговором свободных людей против рабов!

Помнишь, как я любил Платона? Теперь я знаю, что он лгал. Ибо в земных вещах вовсе не отражается идеал, в них заложен тяжкий, кровавый труд человека. Это мы строили пирамиды, ломали мрамор для храмов и камень для имперских дорог, это мы гребли на галерах и волочили соху, а они писали диалоги и драмы, оправдывали свои интриги благом отечества, воевали за границы и за демократию. Мы были грязны и умирали всерьез. У них был эстетический вид, и они спорили для вида.

Я говорю «нет» красоте, если в ней таится издевательство над человеком. Нет — истине, которая об этом издевательстве умалчивает. Нет — добру, которое его позволяет.

Что же знает древний мир о нас? Знает хитрого раба у Теренция и Плавта, знает народных трибунов Гракхов и имя лишь одного раба — Спартака.

Они творили историю, и, будь то преступник Сципион, адвокат Цицерон или Демосфен, их-то мы прекрасно помним. Мы восхищаемся избивением этрусков, разрушением Карфагена, изменами, коварством и грабежом. Римское право! И теперь тоже существует право!

Что будет мир знать о нас, если немцы победят? Возникнут гигантские сооружения, автострады, фабрики, грандиозные монументы. Под каждым кирпичом будет лежать наша ладонь, на наших плечах будут перенесены железнодорожные шпалы и бетонные плиты. Уничтожат наши семьи, уничтожат больных, стариков. Уничтожат детей.

И о нас никто не будет знать. О нас умолчат поэты, адвокаты, философы, священники. Они создадут красоту, добро и истину. Создадут религию.

Три года тому назад здесь были деревни и хутора. Были поля, проселочные дороги, на межах росли груши. Были люди — не лучше и не хуже других людей.

Потом пришли мы. Мы прогнали людей, разрушили дома, разровняли землю, превратили ее в сплошную грязь. Поставили бараки, ограды, крематории. Мы принесли с собой чесотку, флегмоны и вшей.

Мы работаем на фабриках и в шахтах. Мы совершаем огромную работу, из которой кто-то извлекает неслыханную прибыль.

Поразительна история здешней фирмы «Ленц». Фирма эта построила нам лагерь, бараки, цеха, склады, карцеры, печи. Лагерь ссужал ей заключенных, а СС поставляло материалы. При подведении итогов выявились настолько фантастические, миллионные прибыли, что за голову схватился не только Аушвиц, но сам Берлин. Господа, сказали там, это невозможно, вы слишком много заработали, столько-то и столько-то миллионов! Однако, возразила фирма, извольте, вот счета. Пусть так, сказал Берлин, но мы не можем этого допустить. Тогда пополам,

предложила патриотическая фирма. Тридцать процентов, еще поторговался Берлин, на том и сошлись. С тех пор все прибыли фирмы «Ленц» соответственно срезаются. Впрочем «Ленц» не огорчается: как все немецкие фирмы, она умножает основной капитал. На Освенциме она нажила громадные прибыли и спокойно ждет конца войны. Точно так же «Вагнер» и водопроводная фирма «Континенталь», фирма «Рихтер» по артезианским скважинам, «Сименс» — освещение и электрическое оборудование, поставщики кирпича, цемента, железа и леса, производители барачных секций и полосатой одежды. Равно как крупнейшая автомобильная фирма «Унион» и заведения ДАВа, занимающиеся сортировкой металлолома. Равно как владельцы шахт в Мысловицах, Гливицах, Янине, Явожне. Тот из нас, кто выживет, должен когда-нибудь потребовать эквивалент этого труда. Не деньги, не товары, но тяжкий, беспощадный труд.

Когда больные и отработавшие свое засыпают, я на расстоянии разговариваю с тобой. Вижу в темноте твое лицо, и, хотя в моих словах чуждые тебе горечь и ненависть, я знаю, что ты внимательно слушаешь.

У нас с тобой общая судьба. Только твои руки не созданы для кирки и тело не привыкло к чесотке. Нас соединяет наша любовь и безграничная любовь тех, кто остался на воле. Тех, что живут для нас и составляют наш мир. Лица родных, друзей, образы оставленных вещей. И есть самое дорогое, чем мы можем делиться: впечатления! И хотя бы нам оставили лишь тело на лазаретной койке, при нас еще останутся наша мысль и наши чувства.

И я считаю, что достоинство человека поистине заключено в его мысли и в его чувствах.

VIII

Ты не представляешь, как я счастлив.

Прежде всего — долговязый электрик. Каждое утро я хожу к нему с Куртом (это его знакомый), и мы отдаем ему письма к тебе. Электрик этот — фантастически старый номер, тысяча с чем-то — нагружается колбасами, мешочками с сахаром, женским бельем и засовывает куда-то в сапог пачку писем. Сам-то электрик лысый, и у него нет сочувствия к нашей любви. Электрик кривится при виде каждого письма, которое я приношу. Когда я хочу сунуть электрику сигареты, электрик говорит:

— Приятель, у нас в Аушвице за письма не берут! А ответ принесу, если удастся.

Итак, вечером опять к нему. Совершается обратная процедура: электрик лезет в сапог, достает письмо от тебя, подает мне и досадливо кривится. Потому что у электрика нет сочувствия к нашей любви. И наверняка ему не улыбается карцер, эта клетка метр на полтора. Потому как электрик очень длинный, и в карцере ему было бы неудобно.

Итак, прежде всего — долговязый электрик. А во-вторых, брак испанца. Он защищал Мадрид, бежал во Францию, и его привезли в Освенцим. Испанец как испанец: была у него какая-то француженка, а от нее ребенок. С годами ребенок порядочно подрос, а испанец все еще в лагере, и француженка давай вопить, хочет обвен-

чаться! Пишет прошение самому Г.! Г. возмущен: такое безобразие в новой Европе! Немедленно обвенчать!

Привезли француженку с ребенком в лагерь, с испанца в спешном порядке сняли полосатую робу, подогнали на нем элегантный, самим капо из прачечной выутюженный костюм, тщательно подобрали из богатых лагерных запасов галстук к носкам и обвенчали.

Потом новобрачные пошли фотографироваться: она с сыночком и с букетом гиацинтов в руке, он держит ее под руку. За ними оркестр *in согроге*¹, а за оркестром взбесившийся ээс-совец с кухни.

— Я про вас доложу, что вы играете в рабочее время, вместо того чтобы картошку чистить! У меня суп варится без картошки! Послал я все ваши свадьбы к...

— Тише... — стали его успокаивать другие важные особы. — Таков приказ Берлина. А суп может быть и без картошки.

Тем временем молодоженов сфотографировали и предоставили им для брачной ночи апартаменты пуффа, который изгнали в десятый блок. Назавтра француженку отправили обратно во Францию, а испанца в полосатой робе — на работы.

Зато весь лагерь ходит задравши нос.

— У нас в Аушвице даже венчают.

Итак, прежде всего — долговязый электрик. Во-вторых — бракосочетание испанца. А в-третьих — мы кончаем курсы. Недавно их закончили санитарки из ФКЛ. На прощанье мы устроили им камерный концерт. Они все уселись у окон

¹ В полном составе (лат.).

десятого блока, а в окнах нашего для них играли несколько музыкантов из оркестра: бубен, саксофон и скрипки. Чудесней всего саксофон: он плачет и рыдает, смеется и ликует!

Жаль, что Словацкий не знал его, не то, наверно, стал бы саксофонистом из-за богатой выразительности этого инструмента.

Сперва женщины, а теперь мы. Собрались на своем чердаке, пришел лагерный врач Роде (тот самый, «порядочный», который не делает разницы между евреями и арийцами), пришел, поглядел на нас и наши перевязки, сказал, что он очень доволен и что теперь у нас в Аушвице наверняка станет лучше. И быстро ушел, потому что на чердаке холодно.

Сегодня у нас в Аушвице целый день прощаются с нами. Франц, что из Вены, прочитал мне последний доклад о смысле войны. Слегка запинаясь, он говорил о людях, которые трудятся, и о людях, которые уничтожают. О победе первых и о поражении вторых. О том, что за нас воюет товарищ, наш сверстник, из Лондона и Уральска, из Чикаго и Калькутты, с континента и с острова. О грядущем братстве людей создающих. «Вот так, — думал я, — среди уничтожения и смерти зарождается мессианизм, обычный путь мысли человеческой». Потом Франц достал посылку, которую только получил из Вены, и мы пили вечерний чай. Франц пел австрийские песни, а я читал стихи, которых он не понимал.

У нас в Аушвице мне дали с собой немного лекарств и несколько книг. Я впихнул их в пакет с едой. Только вообрази — мысли Ангелуса

Силезиуса¹. Вот я и счастлив, тут все сошлось: долговязый электрик, бракосочетание испанца, окончание курсов. А в-четвертых — вчера я получил письма из дому. Долго они меня искали, а все ж нашли.

Почти два месяца я не имел весточки из дому и ужасно тревожился — здесь, знаешь, ходят фантастические слухи о делах в Варшаве, и я уже начал было писать отчаянные письма, и как раз вчера — только подумай! — два письма: одно от Сташека и одно от брата.

Сташек пишет очень простыми фразами, как человек, которому надо передать что-то идущее от сердца на чужом языке — «Мы тебя любим и помним о тебе, — пишет он, — и помним также о Тусе, твоей невесте. Живем, трудимся и творим». Они живут, трудятся и творят, только Анджей погиб да Вацек «ушел из жизни».

И как ужасно, что эти двое, самые одаренные из нашего поколения, с самой огромной страстью к творчеству, что именно они должны были погибнуть!

Ты знаешь, как резко я восставал против них: против их имперской идеи построения ненасытного государства, их нечестности в социальном мышлении, их теории народного искусства, их философии, мутной, как сам их наставник Бжозовский², их поэтической практики, пытающейся прошибить лбом твердыню «Аван-

¹ Ангелус Силезиус (наст. имя — Иоганн Шефлер; 1624—1677) — немецкий поэт-мистик, автор философских изречений в стихах «Херувимский странник».

² Бжозовский Станислав (1878—1911) — философ, литературный критик и романист; в своих философских воззрениях прошел эволюцию от своеобразно понятого социализма к синдикализму.

гарда»¹, их стиля жизни, пронизанного сознательной или бессознательной фальшью.

И теперь, когда нас разделяет порог меж двух миров, порог, который вскоре и мы с тобой переступим, я завожу снова спор о смысле существования мира, о стиле жизни и облике поэзии. И теперь я тоже упрекаю их в том, что они поддались соблазнительным теориям могучего, захватнического государства, упрекаю в любовании злом, изъян которого в том, что это не наше зло. И теперь я упрекаю их в безыдейности их поэзии, в отсутствии в ней человека, отсутствии в ней поэта.

Но я вижу их лица через порог, из другого мира, думаю о них, о людях моего поколения, и чувствую, что пустота вокруг нас становится все заметней. Они ушли, еще такие невероятно живые, ушли на самой середине сооружаемого ими творения. Ушли, хотя неразрывно принадлежали этому миру. Я прощаюсь с ними, друзьями с другой баррикады. Пусть в мире ином они найдут истину и любовь, которых здесь не встретили!

..Эва, та девушка, которая так красиво читала стихи о гармонии и звездах и о том, что «еще не так плохо», тоже расстреляна. Пустота, пустота все более ощутимая. Уходят и дальние и близкие, и уже не о смысле борьбы, но о жизни любимых людей пусть молятся те, кто умеет молиться.

Я-то думал, что на нас это кончится. Что когда мы вернемся, то вернемся в мир, который не изведает этой ужасной, гнетущей нас атмосферы.

¹ В польской литературе группа поэтов 30-х гг. — Я. Пшибось, Т. Пейпер, А. Важик.

Что только мы опустились на дно. Но вот люди уходят и оттуда — в самом разгаре жизни, борьбы, любви.

Мы бесчувственны, словно деревья, словно камни. И молчим, словно деревья, когда их рубят, словно камни, когда их дробят.

Второе письмо — от брата. Ты же знаешь, какие сердечные письма пишет мне Юлек. И теперь пишет, что они думают о нас, что ждут, что хранят все книги и стихи...

Когда я вернусь, то увижу на моих книжных полках новый мой томик. «Это стихи о твоей любви», — пишет брат. Думаю, есть что-то символическое в том, что наша любовь и поэзия переплетаются и что стихи, которые были написаны только для тебя и с которыми тебя арестовали, это одержанная заранее верная победа. Их издали — быть может, как воспоминание о нас? Я благодарен человеческой дружбе — за то, что она сохраняет после нас поэзию и любовь и признает наше право на них.

И еще брат пишет мне о твоей матери — она думает о нас и верит, что мы вернемся и будем всегда вместе, потому что таково право человека.

...Помнишь, что ты писала в первом, полученном от тебя письме через несколько дней после прибытия в лагерь? Ты писала, что больна и что ты в отчаянии от того, что «засадил» меня в лагерь. Что если бы не ты, я бы... и т. д. А знаешь ли ты, как было на самом деле?

Было то, что я ждал твоего звонка от Марии, как мы договорились. После полудня у меня собрались на тайные курсы — как обычно по средам, — я, кажется, говорил что-то о своей

работе по языку, и тут, кажется, погасла карбидная лампа.

Потом я опять ждал твоего звонка. Я знал, что ты должна позвонить, раз обещала. Ты не звонила. Не помню, ходил ли я обедать. Если ходил, то, возвратясь, опять сидел у телефона, боялся, что из соседней комнаты не услышу. Читал какие-то вырезки из газет и новеллу Морруа о человеке, который взвешивал души для того, чтобы, научившись упрячивать человеческие души в неразрушающийся сосуд, спрятать свою душу и душу любимой женщины. Но спрятал он только души двух случайно встреченных цирковых клоунов, а его душа и душа женщины развеялись по вселенной. К рассвету я заснул.

Утром пошел домой, как обычно, с портфелем, с книгами. Позавтракал, сказал, что приду обедать и что очень спешу, покрутил ухо собаке и пошел к твоей матушке. Она сильно тревожилась о тебе. Я поехал на трамвае к Марии. Долго смотрел на деревья Лазенок, они мне очень нравятся. Чтобы рассеяться, пошел пешком по Пулавской. На лестнице валялось необычно много окурков и, если память не подводит, были следы крови. Но, возможно, это самовнушение. Я подошел к двери и позвонил условным звонком. Открыли мужчины с револьверами в руках.

С тех пор миновал год. Но пишу я об этом, чтобы ты знала, — я никогда не жалел, что мы здесь вместе. И никогда не думаю о том, что могло бы быть по-другому. Хотя о будущем думаю часто. О том, как будем мы жить, если... О стихах, которые напишу, о книгах, которые мы будем читать, о вещах, которые у нас будут. Знаю,

это глупо, но я о них думаю. У меня даже есть идея насчет нашего экслибриса. Это будет рука, лежащая на закрытой толстой книге с большими средневековыми металлическими застежками.

IX

Мы уже возвратились. Я, как прежде, пошел в свой барак, помазал чесоточных мятным настоем, а сегодня утром мы все вместе вымыли пол. Потом я стоял с умным видом возле доктора, когда он делал пункцию. Потом взял две последние ампулы пронтозила, посылаю их тебе. Наконец-то парикмахер нашего блока (на гражданке владелец ресторана возле почты в Кракове) Генек Либерфройнд признал, что теперь я бесспорно буду лучшим санитаром среди литераторов.

А еще я целый день был занят письмом к тебе. Письмо к тебе — это вот эти листки, но, чтобы они дошли куда надо, у них должны быть ноги. Вот я и искал такие ноги. Наконец нашел пару — в высоких красных сапогах со шнуровкой. У ног, кроме того, черные очки, они весьма плечисты и каждый день ходят в ФКЛ за трупами детей мужского пола. Трупы эти должны пройти через нашу канцелярию, наш морг, и наш врач должен осмотреть их собственными глазами. Мир порядком держится, или менее поэтично — *Ordnung muss sein*¹.

Итак, ноги ходят в ФКЛ и со мною весьма приветливы. У них самих, говорят, жена в баб-

¹ Должен быть порядок (нем.).

ском лагере, и они знают, как это тяжело. Поэтому берут письма просто так, из любезности. И мне тоже передают, когда случится оказия. Ответ я посылаю сразу же и уже подумываю, как бы прийти к тебе. Прямо дорожное настроение появилось. Друзья советуют прихватить плед и подложить кое-куда. Зная мое счастье и лагерную практичность, они справедливо рассудили, что при первой же экскурсии я попадусь. Разве что кто-нибудь будет меня опекать. Я же посоветовал им помазаться от чесотки перуанским бальзамом.

И еще смотрю на пейзаж в окне. Ничего не изменилось, только удивительно много грязи прибавилось. Пахнет весной. Люди будут тонуть в грязи. Из леса тянет то запахом сосен, то дымом. То едут машины с тряпьем, то доходяги из Буны. То везут обед на вещевой склад, то эсэсовцев — сменять охрану.

Ничего не изменилось. Вчера было воскресенье, мы ходили в лагерь проверять на вшей. Как ужасны лагерные бараки зимой! Грязные нары, подметенные земляные полы и застоявшийся запах человека. Бараки забиты людьми, но вшей — ни одной. Недаром уничтожение вшей идет ночи напролет.

Закончив проверку, мы уже уходили из барак-ков, когда в лагерь возвращалась из крематория зондеркоманда. Они шли, прокопченные дымом, лоснясь от жира, сгибаясь под тяжелыми узлами. Им разрешается приносить все, кроме золота, однако именно золотом они больше всего промышляют.

От барак-ков кучками бежали люди, врывались в марширующие шеренги и хватали заранее намеченные узелки. Воздух сотрясался от криков,

проклятий, ударов. Наконец зондеркоманда скрылась в воротах своего, отгороженного от остальных барачных дворов. Но сразу же оттуда начали украдкой выходить евреи — поторговать, что-нибудь раздобыть и в гости.

Я окликнул одного из них, приятеля по нашей прежней команде. Я-то заболел и отправился в лазарет. Ему больше «повезло», его назначили в зондеркоманду. Все-таки лучше, чем лопатой орудовать за миску супа. Он с радостью протянул мне руку.

— А, это ты? Надо чего-нибудь? Если у тебя есть яблоки...

— Нет, яблок у меня нет, — дружелюбно ответил я. — Ты еще жив, Абрамек? Что слышно?

— Ничего интересного. Вот чешек в «газ» отправили.

— Это я и без тебя знаю. А личные дела?

— Личные? Какие у меня могут быть личные дела? Печь, бараки и опять печь. Разве у меня есть тут кто-то близкий? Ага, если хочешь знать о личном: мы придумали новый способ сжигать в печи, знаешь какой?

Я изобразил самое вежливое любопытство.

— А вот такой. Берем четырех ребятшек с волосами, приставляем головами вместе и поджигаем волосы. Потом уже само горит и — gemacht¹.

— Поздравляю, — сказал я сухо, без восторга.

Он как-то странно засмеялся и посмотрел мне в глаза.

— Слушай, ты, санитар, должны же мы у нас

¹ Готово (нем.).

в Аушвице развлекаться как умеем. Иначе разве можно выдержать?

И, сунув руки в карманы, он, не прощаясь, удалился.

Но это ложь и гротеск, как весь лагерь, как весь мир.

ЛЮДИ ШЛИ И ШЛИ...

Сначала мы расчищали под футбольное поле пустырь за больничными бараками. Расположен этот пустырь был «как нельзя лучше»: налево — цыганский лагерь с кишачей детворой, смазливыми, расфуфыренными старостами, сортирами, в которые набивались женщины; сзади — колючая проволока, за ней — ширококолейное железнодорожное полотно и длинная платформа, вдоль которой всегда стояли вагоны, а за платформой — женский лагерь. Собственно, никто не говорил «женский лагерь». Говорили просто «ФКЛ», и все. Направо, за платформой, рядом с ФКЛ находился крематорий и совсем близко, прямо за колючей проволокой, — второй. Солидные, приземистые строения. За крематориями виднелась березовая роща, через нее вела дорога к белому дому.

Весной, еще не кончив расчищать футбольное поле, мы сажали под окнами барачных цветы, а проходы между ними засыпали кирпичной крошкой. Посеяли шпинат и салат, чеснок и подсолнухи. Газоны обложили дерном, нарезанным около футбольного поля. Воду для полива каждый день привозили в бочках из лагерной умывальни.

Когда цветы подросли (а поливали их обильно), футбольное поле было готово.

Итак, цветы росли, больные лежали на койках, а мы играли в футбол. Раздав вечерний «порцион», санитары гоняли мяч на пустыре или, стоя у колючей проволоки, переговаривались через железнодорожное полотно с обитательницами ФКЛ.

Как-то я стоял в воротах. Было это в воскресенье. На футбольном поле собралась порядочная толпа санитаров и выздоравливающих больных. Как водится, кто-то за кем-то бежал и, разумеется, — за мячом. Я стоял в воротах спиной к платформе. Мяч ушел за пределы поля и покатился к колючей проволоке. Я побежал за ним. Подняв его, я посмотрел в сторону платформы.

Там как раз остановился состав. Из товарных вагонов выгружались люди и шли к березовой роще. Издали пестрыми пятнами выделялись женские платья, наверно, впервые надетые в этом сезоне. Белели рубашки, — мужчины шли без пиджаков. Шествие подвигалось вперед медленно, из вагонов к нему присоединялись все новые и новые люди. Вот оно совсем остановилось. Все присели на траву, глядя в нашу сторону. Я вернулся с мячом и вбросил его. Передаваемый от одного игрока к другому, он, описав дугу, чуть не влетел в ворота. Я отбил мяч на угловой. Он покатился по траве, и я снова побежал за ним. А когда поднял и выпрямился, то остолбенел: платформа была пуста. Пестрой, полетнему одетой толпы как не бывало. Вагоны уже убрали. И они не загораживали больше барачков женского лагеря. У колючей проволоки опять толпились санитары, громко приветствуя женщин, а те отвечали им с другой стороны платформы.

Я вернулся с мячом и опять подал его на угловой. Между двумя угловыми успели отравить газом три тысячи человек.

Впоследствии люди направлялись к роще по двум дорогам: одна шла прямо от железнодорожного полотна, другая огибала больничные бараки. И та и другая вела в крематорий, но некоторые счастливики шли дальше — в баню; и для них она означала не просто вошебойку, мытье, стрижку и выдачу новой, полосатой одежды — она означала для них жизнь. За колючей проволокой, но все-таки жизнь.

По утрам, когда я мыл полы, по тем двум дорогам шли люди. Женщины, мужчины, дети. И несли узлы.

Во время обеда (а он был лучше, чем дома) люди все шли и шли по тем двум дорогам. Солнце накаляло барак, мы раскрывали настежь окна и двери, кропили пол водой, чтобы было не так пыльно. Во второй половине дня я приносил со склада посылки, — их еще утром доставляли с почты, из лагерного управления. Писарь разносил письма. Врачи делали перевязки, уколы, пункцию. Шприц, правда, был один на весь барак. Теплыми вечерами я садился в открытых дверях барака и читал роман Пьера Лоти «Мой брат Ив», а по тем двум дорогам люди все шли и шли.

Ночью, когда я выходил из барака, колючая проволока была залита электрическим светом. А дорога тонула во мраке, но оттуда доносился отдаленный гул тысячи голосов, — это все шли и шли люди. Над рощей вставало зарево, крик и языки пламени взмывали к небу.

Я стоял неподвижно, тупо и молча глядя в ночную тьму. Внутри у меня помимо воли все переворачивалось и содрогалось. Тело не повинно-

валось мне, и я ощущал его корчи. Мое тело восставало, хотя я был совершенно спокоен.

Вскоре меня перевели из больницы в лагерь. В мире происходили важные события. В Нормандии высадились союзники. С востока наступали русские, и фронт приближался к Варшаве.

А к платформе днем и ночью прибывали составы, битком набитые людьми. Вагоны отпирали, и по тем двум дорогам все шли и шли люди.

Рядом с нашим лагерем для работяг находилась зона «С». Окруженные колючей проволокой под высоким напряжением там стояли бараки без крыш, а в некоторых не было нар. Обычно в Биркенау в каждой конюшне, предназначенной для жилья, на трехъярусных нарах помещалось до пятисот человек. В зоне «С» в бараки стали набивать по тысяче и больше молодых женщин, отобранных из числа тех, кто шел по тем двум дорогам. Двадцать восемь барачков — свыше тридцати тысяч женщин. Остриженные наголо, в летних платьях без рукавов. Ни белья, ни ложки, ни миски им не выдали. И ничего теплого. Биркенау расположен был в болотистой низине у подножья гор. Днем, когда воздух был прозрачен, оттуда хорошо были видны горы. А в сырые промозглые утра их заволакивало туманом, и казалось, они покрыты инеем. В утренней прохладе мы черпали бодрость перед наступлением дневного зноя, а женщины, в двадцати метрах справа от нас, стоявшие с пяти часов на поверке, синели от холода и жались друг к дружке, как стайка куропаток.

Мы называли между собой этот лагерь «Персидским базаром». В погожие дни женщины высыпали наружу и сновали по широкому проходу между бараками. Пестрые летние платья и раз-

ноцветные платочки на бритых головах издали создавали впечатление живописного базара — оживленного и шумного. А «персидского» потому, что прямо-таки по-восточному экзотичного.

На таком расстоянии ни лиц, ни возраста женщин различить было невозможно. Одни лишь белые пятна и расплывчатые силуэты.

На «Персидском базаре» строительство не было еще завершено. Команда Вагнера мостила дорогу, и ее утрамбовывал огромный каток. Тут, как с недавних пор во всех отделениях Биркенау, проводили водопровод, канализацию. На склад привозили одеяла, алюминиевую посуду и по счету сдавали шефу-эсэсовцу; словом, благосостояние лагеря росло. Часть вещей немедленно перекочевывала в другие зоны — их крали работавшие на складе узники. В том и заключалась польза от этих одеял и посуды, что их можно было украсть.

На «Персидском базаре» каморки для старост покрывали крышами я и мои товарищи. Делалось это не по чьему-либо приказанию и не из сочувствия. И не из солидарности с санитарками из ФКЛ, у которых были еще старые номера и которые занимали здесь начальнические должности. И толь и смолу приходилось «организовывать». За каждый рулон толя, за каждое ведро смолы старосты должны были платить: начальнику работ, капо, разным придуркам. Платили золотом, продуктами, женщинами из своих барачков, собой. Кто чем мог.

На тех же началах, что и мы, монтеры проводили электричество, плотники из досок, добытых левым путем, делали перегородки, мастерили кой-какую мебель, каменщики приносили кра-

денные печурки и устанавливали, где требовалось.

Вот тогда я ближе познакомился с жизнью этого необычного лагеря. Мы приходили утром к лагерным воротам, толкая перед собой тачку с толем и смолой. На вахте стояли эсэсовки — толстозадые блондинки в высоких сапогах. Они обыскивали нас и впускали внутрь. Потом сами являлись в бараки и устраивали шмон. Кое у кого из них среди плотников и каменщиков были любовники. И они отдавались им в недостроенных умывальнях, в каморках старост.

Вкатив тачку на свободное пространство между бараками, мы разводили костер и ставили разогревать смолу. И тотчас нас обступали толпой женщины. Кто клянчил перочинный ножик, кто носовой платок, кто ложку, карандаш, клочок бумаги, бечевку, хлеб.

— Ведь вы — мужчины, вы все можете, — говорили они. — Если вы столько лет в лагере и не умерли, значит, у вас все есть. Почему вы не хотите поделиться с нами?

Поначалу мы раздавали все, что при себе имели, выворачивали карманы в доказательство того, что больше у нас ничего нет. Снимали с себя и отдавали им рубашки. А потом стали приходить с пустыми карманами и ничего не приносили.

Женщины не были похожи друг на друга, как это казалось из другой зоны в двадцати метрах слева отсюда.

Среди них были маленькие девочки с неостриженными волосами; этикие ангелочки с картины Страшного суда. Были совсем юные девушки, они посматривали с недоумением на толпившихся вокруг нас женщин и с презрением — на нас,

грубых, циничных мужчин. Замужние женщины умоляли узнать о судьбе пропавших мужей, матери спрашивали, не знаем ли мы, где их дети.

— Мы бедствуем... голодаем, мерзнем, — плача говорили они, — но, может, им лучше?

— Наверняка лучше, если бог есть на небе, — серьезно, без обычных шуточек и насмешек отвечали мы.

— Ведь они живы, правда? — спрашивали женщины, с беспокойством заглядывая нам в глаза.

В ответ мы молчали и поспешно принимались за работу.

Старостами на «Персидском базаре» были сплошь словачки, понимавшие язык, на котором говорили заключенные женщины. В лагере они отсидели уже по нескольку лет. И помнили, как было вначале: трупы женщин лежали под стенами бараков, разлагались на койках в лазарете, — выносить покойников было некому. А посреди бараков чудовищными кучами громоздился кал.

Несмотря на внешнюю грубость, они сохранили женскую мягкость и даже... доброту. Хотя, наверно, у них тоже были любовники и они тоже крали маргарин и консервы, чтобы заплатить за одеяла, за платье с вещевого склада.

...Помню Мирку. Небольшого росточка, плотная девушка, она была словно вся розовая. В камерке ее тоже преобладал розовый цвет; розовой была и занавеска на выходившем в барак окошке. На лицо ее ложился розовый отсвет, и казалось, его покрывает тончайшая вуаль. В нее влюбился один еврей из нашей команды, — у него были гнилые зубы. Он скупал по всему лагерю для нее свежие яйца и, обернув во что-нибудь

мягкое, перебрасывал через колючую проволоку. Он пропадал у нее целыми часами, невзирая на устраиваемые эсэсовками шмоны и на нашего шефа с большущим пистолетом в кобуре поверх белого летнего кителя. Тот обладал поистине собачьим нюхом, — недаром его прозвали «ищейкой».

Однажды Мирка прибежала к бараку, который мы покрывали толем, и поманила пальцем своего приятеля-еврея, а мне крикнула:

— Слезайте и вы! Может, посоветуете что-нибудь!

Держась за дверь, мы спрыгнули на землю. Она схватила нас за руки, потащила за собой в барак и подвела к нарам, там на ворохе одеял лежал ребенок.

— Видите! Он скоро умрет! Что мне делать? И с чего он вдруг так расхворался? — говорила она возбужденно.

Ребенок метался во сне. Его пылающее румянцем личико в ореоле золотых волос было точно роза с золотым ободком.

— Какой хорошенький ребеночек! — прошептал я.

— «Хорошенький»! — вскинулась Мирка. — Он умирает, а вы — «хорошенький»! Я его прячу тут, не то он давно сгорел бы в крематории. Эсэсовка может обнаружить его! Помогите мне!

Еврей положил ей руку на плечо. Она оттолкнула его и зарыдала. Я молча вышел из барака.

Издали было видно, как к платформе приближается товарный состав. Он привез людей, которые тоже пойдут туда. В проходе между заграждениями из колючей проволоки работавшая на разгрузке вагонов бригада разминулась с дру-

гой, шедшей ей на смену. Над лесом поднимался дым. Я присел возле костра и, помешивая кипящую смолу, задумался. И вдруг поймал себя на мысли, что мне хотелось бы иметь такого ребеночка с разрумянившимися во сне щечками и разметавшимися волосами. Нелепая эта мысль рассмешила меня, и я полез на крышу прибивать толь.

Помню также старосту из другого барака — рослую, рыжую деваху; у нее были большие красные руки и широкие ступни. На ее кровати лежало несколько одеял, и несколько вместо перегородки висело на веревке: жить в отдельной каморке она не хотела.

— Пусть не думают, будто я от них прячусь, — говорила она, указывая на женщин, голова к голове лежащих на нарах. — Дать им я ничего не могу, но и отнять не отниму.

— Ты в загробную жизнь веришь? — как-то спросила она посреди шуточного разговора.

— Верю иногда, — отвечал я нехотя. — Один раз в тюрьме поверил, другой раз — в лагере, когда чуть не помер.

— Ведь если человек совершил преступление, он должен быть наказан, правда?

— Правда, если, конечно, нет справедливости, которая выше человеческой. Ну, понимаешь, выявление истинных причин, мотивов преступления и вообще — ничтожность вины пред лицом мироздания. Карать за что-то, совершенное в малой точке вселенной?

— Я спрашиваю про обычное, людское наказание! — закричала она.

— Ясное дело, за преступление надо наказывать.

— А ты делал бы добро, если б мог?

— Я не нуждаюсь в воздаянии за добро, я просто крою крыши и хочу вырваться отсюда живым.

— Думаешь, они, — она кивнула в неопределенном направлении, — не заслуживают наказания?

— Думаю, что людям, которые страдают несправедливо, справедливости как таковой недостаточно. Они хотят, чтобы их мучители тоже пострадали несправедливо. В этом они и усматривают высшую справедливость.

— Ишь какой умник! А сам небось по-справедливости суп не сумел бы раздать, не прибавив лишку своей возлюбленной! — насмешливо сказала она и вошла в барак.

Женщины лежали на трехъярусных нарах, на застывших лицах лихорадочным блеском горели огромные глаза. В лагере начался голод. Рыжеволосая староста сновала между нарами и заговаривала с ними, чтобы они не предавались раздумьям. Стаскивала с нар певиц и заставляла петь, танцовщиц — танцевать, декламаторш — читать стихи.

— Они все время спрашивают меня, где их матери, отцы? Просят разрешения написать им.

— Меня тоже просят об этом. Тут уж ничего не поделаешь!

— Сравнил! Ты пришел и ушел, а мне как-ково? Беременных прошу, умоляю не ходить к врачу, больных — не выходить из барака. Думаешь, они мне верят? Как им поможешь, если они сами лезут в газовую камеру!

Какая-то девушка, стоя на печке, пела популярный шлягер. Когда она кончила, на нарах зааплодировали. Певица с улыбкой раскланивалась.

Староста схватила за голову.

— Не могу больше этого видеть! — прошипела она и, вспрыгнув на печку, приказала девушке: — Слезай!

В бараке стало тихо. Староста подняла руку.

— Тихо! — крикнула она, хотя никто не промолвил слова. — Вы спрашиваете, где ваши родители, ваши дети? Я вам не говорила этого из жалости. А сейчас скажу: знайте, если вы заболели, вас ждет такая же участь. Ваши дети, мужья, родители не в другом лагере. Их затолкали в подвал и отравили газом! Газом, понятно? Как миллионы других, как моих родителей! Их трупы сжигают во рвах, в крематориях. Этот дым над крышами вовсе не от кирпичного завода, как вам говорят. Это горят ваши дети! А теперь пой! — спокойно сказала она испуганной певичке и вышла из барака.

Известно, что в Биркенау и Освенциме становилось со временем лучше, чем было вначале. Раньше избиение и убийство на работах было делом обычным, теперь это случалось реже. Раньше спали на полу и поворачивались на бок по команде, потом на нарах, кому как вздумается, и даже — на койках поодиночке. Первое время на поверке стояли по два дня, потом — только до второго свистка: до девяти часов. Вначале присылать посылки не разрешалось, потом разрешили — по пятьсот граммов, а потом — сколько угодно. Вначале в Биркенау запрещалось иметь карманы, потом позволили всем. Спустя три-четыре года в лагере становилось «все лучше»! Не верилось, что раньше так было, и люди, пережившие это, гордились собой. Чем хуже у немцев дела на фронте, тем лучше в ла-

гере. А поскольку на фронте дела у них все хуже...

Но на «Персидском базаре» время словно отступило вспять. Мы снова видели Освенцим таким, каким он был в сороковом году. Женщины с жадностью набрасывались на баланду, которую у нас в бараках никто не стал бы есть. От них разило потом и менструальной кровью. С пяти часов утра они стояли на поверке. Пока их пересчитывали, было уже девять. На завтрак они получали остывший кофе. В три часа пополудни — вечерняя поверка и ужин: кусок хлеба с маргарином. Дополнительный паек им не полагался, так как их не посылали на работу.

Иногда их выгоняли на поверку еще и днем. Прижимаясь друг к другу, они выстраивались пятерками и входили обратно в барак — шеренга за шеренгой. Эсэсовки в высоких сапогах — как на подбор толстозадые блондинки — выхватывали из рядов беременных, доходяг, чьи худоба и уродство бросались в глаза, и вталкивали в середину круга. Круг образовывали помощницы старост, сцепившись руками. Вырваться из него было невозможно. Заполненный жертвами, он, как чудовищный хоровод, подвигался к воротам и там вливался в толпу из пятисот, шестисот, тысячи отобранных таким образом женщин. И все они шли туда.

Случалось, эсэсовка входила в барак и оглядывала нары. Женщина, глаза в глаза смотрящая на женщин. «Больные, беременные, — говорила она, — выходите. В лазарете вам дадут белый хлеб и молоко».

Женщины выходили из барака и, окруженные кольцом надсмотрщиц, шли туда.

Строительных материалов было мало, но, чтобы скоротать день, мы помаленьку работали, а свободное время проводили на «Персидском базаре» в каморках старост, в нужнике или околачивались у барачков. У старосты можно было выпить чаю или часок-другой поспать на любезно предоставленной койке. Около барачков мы болтали с каменщиками и плотниками. Вокруг них всегда крутились женщины, — теперь уже в чулках и свитерах. Принесешь какую-нибудь тряпку и делай с ними, что хочешь. Лафа! Такого в лагере никогда еще не бывало!

Помещение уборной общее для мужчин и женщин разделялось доской. На женской половине всегда — толчея и крик, на нашей — тишина и приятная прохлада, исходившая от цементного пола. Тут можно было сидеть часами и говорить про любовь со здешней уборщицей: маленькой, стройной Катей. Никто не стеснялся и не обращал внимания на обстановку. Человек в лагере ко всему привык...

Миновал июнь. По тем двум дорогам днем и ночью все шли и шли люди. На «Персидском базаре» с раннего утра до поздней ночи длилась поверка. Стояла жара, смола плавилась на крышах. Потом зарядили дожди и подул пронизывающий ветер. Особенно холодно и промозгло бывало по утрам. Но скоро опять наступили погожие дни! К платформе прибывал состав за составом, и люди все шли и шли по тем двум дорогам. Часто по утрам мы не могли попасть на работу, так как они преграждали нам путь. Шли они медленно, небольшими группами, держась за руки. Женщины, старики, дети. Шли за проволочными заграждениями, поворачивая к нам безгласные лица. Они смотрели на нас с

жалостью и бросали через колючую проволоку хлеб.

Женщины снимали ручные часы и швыряли нам под ноги, знаками давая понять, что мы можем взять их себе.

Оркестр в воротах играл фокстроты и танго. Лагерники смотрели на вновь прибывших. У человека шкала эмоциональной выразительности слишком мала. В нее не вмещаются чрезмерно сильные чувства и потрясения. И мы выражаем их самым заурядным образом, прибегая при этом к простым, будничным словам.

— Сколько их уже прогнали? С середины мая почти два месяца прошло. Считай, по двадцать тысяч в день, значит, около миллиона!

— Не каждый день столько через газовые камеры пропускали. А впрочем, черт их знает, ведь у них четыре печи и несколько рвов...

— Тогда прикинем иначе: из Кошиц и Мукачева подчистую всех вывезли — это тысяч шестьсот будет, не меньше, да из Будапешта тысяч триста...

— А тебе не все равно?

— Jawohl!¹ Но, пожалуй, скоро этому придет конец. Всех истребят.

— Не беспокойся, еще останется.

Человек пожимает плечами и глядит на дорогу. За толпой не спеша следуют эсэсовцы, их добродушные улыбки побуждают идти быстрее. Они объясняют знаками: дескать, уже недалеко. Вот один из них похлопал по плечу какого-то старика; тот вприскокку побежал к канаве, на ходу расстегивая штаны, и присел на корточки. Эсэсовец показывает ему на уда-

¹ Конечно; да (нем.).

лявшуюся колонну. Старик кивает головой, подтягивает штаны и бежит вприпрыжку за толпой.

Смотрящий на дорогу человек невольно улыбается: ему смешно, что другой человек спешит в газовую камеру.

Нас посылали в вещевые склады заново покрывать смолой протекавшие крыши. Там грозились горы барахла и еще невыпотрошенных чемоданов. Под открытым небом, не защищенный от дождя и солнца, лежал скарб, отнятый у тех, кто шел туда.

Мы разводили огонь, ставили разогревать смолу и отправлялись на промысел. Один тащил ведро воды, другой — мешок сушеных слив или вишен, третий — сахар. Сварив компот, мы относили его тем, кто сачковал на крыше. Жарили корейку с луком и заедали кукурузным хлебом. Мы крали все что только можно и относили в лагерь.

С крыши хорошо было видно пламя костров и дымящие крематории. Люди входили в помещение, раздевались, эсэсовцы быстро закрывали и наглухо задраивали окна. Через несколько минут — их едва хватало на то, чтобы промазать смолой кусок толя, — открывали окна, боковые двери: проветривали помещение. Являлась зондеркоманда и сбрасывала трупы в огонь. И так каждый день с утра до вечера.

Бывало, пропустят эшелон через газовую камеру, а тут привезут с опозданием больных и тех, кто их сопровождает. Травить их газом не окупалось: слишком дорого. И обершарфюрер Моль расстреливал из карабина голых людей или живьем сталкивал в полыхающий огонь.

Как-то привезли на машине молодую женщину, — она не захотела расставаться с матерью. Они разделись, и первой увели мать. Приставленный к дочери мужчина, пораженный красотой ее тела, от удивления остановился и почесал затылок. Этот простецкий, но такой по-человечески естественный жест вывел ее из оцепенения. Покраснев, она схватила его за руку.

— Скажи, что со мной сделают?

— Наберись смелости, — сказал мужчина, не отнимая руки.

— Я смелая! Видишь, не стыжусь тебя! Скажи!

— Главное, наберись смелости. Идем! Я пойду с тобой. Только не смотри.

Он взял ее за руку и повел, заслонив ей ладонью глаза. Треск и чадный запах горящего жира, полыхнувший откуда-то снизу жар испугали ее, и она стала вырываться. Мужчина мягким движением пригнул ей голову, открывая затылок. И в ту же минуту обершарфюрер Моль выстрелил, почти не целясь. А мужчина столкнул ее в ров, в бушующее пламя. И, когда она падала, услышал душераздирающий, прерывистый крик.

Когда «Персидский базар», цыганский лагерь и ФКЛ были до отказа забиты людьми, открыли новый лагерь; заключенные прозвали его «Мексикой». Как и те, он вначале тоже был необустроен, и там тоже выгораживали каморки для старост, проводили им электричество, вставляли стекла.

Тянулись дни, похожие один на другой. Из вагонов высаживались люди и шли по тем двум дорогам.

А лагерь жил своей жизнью: заключенные ждали из дома посылки и письма, «организовывали» продукты и барахло для друзей и возлюбленных, интриговали. Дни сменялись ночами, вёдренная погода — дождливой.

К концу лета перестали прибывать составы. Все меньше людей сжигали в крематориях. Поначалу заключенные ощущали как бы пустоту, но потом привыкли. Впрочем, их занимало теперь другое: наступление русских, восставшая Варшава в огне, эшелоны, ежедневно увозившие лагерников на запад на новые мытарства, болезни и смерть; наконец, бунт в крематориях, побег зондеркоманды, окончившийся расстрелом беглецов.

Потом заключенных стали перебрасывать из одного лагеря в другой, и опять — ни ложки, ни миски, ничего теплого.

Наша память запечатлевает только отдельные картины прошлого. И теперь, когда я вспоминаю последнее лето в Освенциме, я вижу перед собой нескончаемый, пестрый людской поток, неторопливо, величаво текущий по тем двум дорогам; вижу женщину с опущенной головой на краю рва, полыхающего огнем; в полутьме барака вижу рыжую девушку, которая раздраженно кричит: «Я спрашиваю: они будут наказаны? Здесь, на земле, а не на том свете!» И еще я вижу перед собой еврея с гнилыми зубами, — он каждый вечер останавливался около моих нар и, задрав голову, неизменно спрашивал: «Получил посылку? Может, продашь яйца для Мирки? Марками заплачу. Она очень любит яйца...»

ДЕНЬ В ГАРМЕНЗЕ

I

Тень от каштанов зеленая и мягкая. Она чуть зыблется на земле — еще влажной, свежевскопанной — и возносится над головой салатным куполом, пахнущим утренней росой. Деревья выстроились вдоль дороги высокими шпалерами, их макушки расплываются в небесной голубизне. Одурающим болотным запахом несет от прудов. Зеленая плюшевая трава еще посеребрена росой, но земля уже курится на солнце. Быть жаре.

Однако тень от каштанов зеленая и мягкая. Укрытый тенью, я сижу в песке и большим французским ключом подкручиваю болты на стыках рельсов. Ключ холодный и удобно лежит в ладони. Я мерно бухаю им по рельсам. Металлический резкий звук разносится по всему Гармензе и возвращается издали не похожим на себя эхом. Опершись на лопаты, стоят возле меня греки¹. Но эти люди из Салоник и с виноградных холмов Македонии боятся тени. Поэтому они стоят на солнце, скинув рубашки, поставив лучам неимоверно худые плечи и руки, покрытые чирьями и коростой.

— Экая на тебя прить сегодня напала! Доброе утро, Тадек! Есть не хочешь?

— Доброе утро, пани Гануся! Нисколько. А по рельсам стараюсь-луплю, ведь наш новый капо... Простите, что не встаю, сами понимаете: война, Bewegung, Arbeit².

¹ Греческие евреи.

² Движение, работа (нем.).

Пани Гануся улыбается:

— Еще бы, понимаю, конечно. Не знай я, что это ты, в жизни бы не узнала. Помнишь, как ел картошку в мундире, которую я для тебя у кур таскала?

— Ел! Да я, пани Гануся, этой картошкой обжирался! Осторожно, сзади эсэс.

Пани Гануся сыпанула пару пригорошней зерна из решета сбегаящимся к ней цыплятам, но, оглянувшись, пренебрежительно отмахнулась:

— А, это наш начальник. Он у меня на крючке.

— Так-таки на крючке? Вот это женщина! — И я с размаху забарабанил ключом по рельсам, выстукивая в ее честь мелодию: «La donna è mobile...»¹

— Тихо ты, кончай трезвон! Серьезно, может, поешь чего-нибудь? Я как раз на ферму иду, давай принесу.

— Премного вам благодарен, пани Гануся. Достаточно вы меня подкармливали, когда я был бедный...

— ...но честный, — с легкой иронией закончила она.

— ...скажем, нерасторопный, — осторожно возразил я. — А rgoròs² о нерасторопности: были у меня для вас два расчудесных кусочка мыла с прекраснейшим из возможных названием «Варшава», но...

— ...но их, как всегда, украли?

— Как всегда, украли. Пока был гол как со-

¹ «Сердце красавицы склонно к измене...» (ит.)

² Кстати (фр.).

кол, спал спокойно. А теперь сколько ни обвязывай посылки веревками и проволокой, непременно развяжут. На днях бутылку меда свистнули, а сейчас вот мыло. Ох, не поздоровится вору, когда он мне попадетсЯ.

Пани ГанусЯ громко рассмеЯлась.

— Представляю себе. Какой же ты все-таки ребенок! А из-за мыла не огорчайся: Иван мне сегодня принес два прелестных кусочка. Ой, чуть не забыла: отдай Ивану этот пакетик, там сало, — сказала она, кладя под дерево маленький сверток. — А вот мыло, погляди, какое красивое.

И развернула на удивление знакомую бумагу. Я подошел, присмотрелся: на обоих больших, как из магазина Шихта, кусках была выдана колонна¹ и надпись «Варшава».

Я молча отдал ей сверточек.

— Красивое мыло, правда.

Потом посмотрел на поле, на разбросанные по нему группы работающих людей. В самой дальней увидел Ивана: точно овчарка, стерегущая стадо, он метался вокруг своей группы, выкрикивал что-то, чего на расстоянии нельзя было разобрать, и размахивал здоровенной, с ободранной корой, палкой.

— Не поздоровится вору, — повторил я, не заметив, что говорю в пустоту, — пани ГанусЯ уже отошла и только бросила мне издалека, на мгновение обернувшись:

— Обед, как всегда, под каштанами.

— Спасибо!

И я опять принялся колотить ключом по рельсам и подкручивать разболтавшиеся болты.

¹ Имеется в виду колонна Зигмунта — самый старый памятник Варшавы.

Пани Гануся вызвала среди греков некоторое оживление — она им иногда приносит картошку.

— Пани Гануся gut, extra prima¹. Это твоя мадонна?

— Какая там мадонна! — взвиваюсь я, ненароком угодив ключом по пальцу. — Просто знакомая. ну, camerade, filus, compris,² греко бандито?

— Греко никс бандито. Греко гут человек. А почему ты ничего от нее не есть? Картофель, пататас?

— Я не голодный, мне своего хватает.

— Ты никс гут, никс гут, — качает головой старый грек, грузчик из Салоник, который знает двенадцать южных языков, — мы голодные, вечно голодные, вечно, вечно...

Костлявые плечи расправляются. Под шелудивой, в чирьях и коросте, кожей на удивление явственно, будто сами по себе, играют мускулы, улыбка смягчает резкие черты, но затаившегося в глазах лихорадочного блеска погасить не может.

— Сами попросите, если голодные. Пусть вам принесет. А теперь — за работу, laborando, laborando. Надоели вы мне. Пойду в другое место.

— Нехорошо ты поступил, Тадеуш, нехорошо, — сказал, высовываясь из-за плечей и голов, старый толстый еврей. Уперев лопату в землю и встав надо мной, он продолжал: — Ведь и ты не всегда был сыт, должен, кажется, нас понимать. Пусть бы принесла ведро картошки — ну что тебе стоило, а?

¹ Хороший, высший класс (нем., ит.).

² Товарищ, друг, понятно? (греч., фр.).

Слово в е д р о он произнес протяжно и мечтательно.

— Ты, Бекер, катись-ка от меня со своей философией, твое дело — земля и лопата, compris? И учти: будешь подыхать, я первый тебя добыю, понял? Знаешь, за что?

— Это за что ж?

— За Познань. Или, может, неправда, что ты был старостой в еврейском лагере под Познанью?

— Был, ну и что?

— А людей убивал? К столбу подвешивал за несчастную краденую пачку маргарина или буханку хлеба?

— Я воров подвешивал.

— Бекер, говорят, в карантине твой сын. Пальцы Бекера судорожно обхватили рукоять лопаты, цепкий взгляд пополз вдоль моего туловища к горлу и голове.

— Ты, брось лопату и кончай смотреть зверем. Может, неправда, что сын сам велел тебя убить за тех, познанских?

— Правда, — глухо проговорил он. — А второго сына я повесил в Познани, но не за руки, а за шею, потому что он украл хлеб.

— Скотина! — не сдержался я.

Но Бекер, старый седоватый еврей, несколько склонный к меланхолии, опять уже был невозмутим и спокоен. Он посмотрел на меня свысока, чуть ли не с презрением:

— Ты давно в лагере?

— Ну... несколько месяцев.

— Знаешь, Тадеуш, ты мне очень нравишься, — неожиданно сказал он, — но по-настоящему испытать голод тебе ведь не довелось, верно?

— Смотря что называть голодом.

— Настоящий голод — это когда один человек смотрит на другого как на лакомый кусок. Я через это прошел. Понятно? — А поскольку я молчал и только время от времени постукивал ключом по рельсам да машинально поглядывал то влево, то вправо, не идет ли капо, он продолжал: — Лагерь наш — там — был небольшой... У самой дороги. По дороге ходили люди, красиво одетые, женщины... Например, по воскресеньям в церковь. Или молодые пары. А дальше деревня, обыкновенная такая деревня. Там у людей было все, в полукилометре от нас. А мы брюкву... мальчик, у нас люди живьем друг друга готовы были сожрать! И что, по-твоему, не нужно было убивать поваров, которые за масло покупали водку, а за хлеб — сигареты? Мой сын воровал, и его я тоже убил. Я грузчик, знаю жизнь.

Я посмотрел на Бекера с любопытством, как на незнакомого человека.

— А ты, ты тоже обходился только своей пайкой?

— Не путай разные вещи. Я был старостой.

— Внимание! Laborando, laborando, presto!¹ — рявкнул вдруг я, потому что из-за поворота дороги выскочил эсэсовец на велосипеде и проезжал мимо, сверля нас взглядом. Как по команде, поникли затылки, тяжело взметнулись всегда державшиеся наготове лопаты, ударил по рельсу французский ключ.

Эсэсовец скрылся за деревьями, лопаты опустились и замерли. Греки погрузились в привычное оцепенение.

¹ Работать, работать, быстро! (ит.)

— Который час?

— Не знаю. До обеда еще далеко. А тебе, Бекер, я, пожалуй, кое-что скажу на прощанье: сегодня в лагере будет селекция. Надеюсь, ты со своими чирьями угодишь в печь.

— Селекция? Откуда ты знаешь?

— Чего перепугался? Знаю и точка. Страшно? Не все коту масленица... — Я злорадно усмехаюсь, довольный своей выдумкой, и уйду, напевая модное танго под названием «крематорское». Пустые глаза человека, из которых вдруг улетучилась всякая осмысленность, неподвижно смотрят прямо перед собой.

II

Рельсы моей узкоколейки исчертили вдоль и поперек все поле. Тут я их подвел одним концом к груде обгорелых костей, которые привозят из печей на машинах, а другой конец утопил в пруду, куда эти кости рано или поздно попадут, там взгромоздился на гору песка, который будет равномерно распределен по полю для осушения заболоченной почвы, а здесь протянул рельсы вдоль вала травянистой земли, которой сверху присыплют песок. Пути разбегаются в разные стороны, а там, где они перекрещиваются, лежит громадная железная поворотная плита — ее переносят то туда, то сюда.

Толпа полуголых людей обступила плиту, нагнулась, уцепилась за края пальцами.

— Но-о-ош¹, подняй! — крикнул я, для наглядности выразительно взмахнув рукой, как

¹ Вверх (нем.).

дирижер. Люди рванули раз, другой, кто-то не смог устоять на ногах и тяжело перекувырнулся через плиту. Товарищи надавали ему пинков, он ползком выбрался из круга и, оторвав от земли мокрое от слез, облепленное песком лицо, простонал:

— *Zu schwer, zu schwer...* Слишком тяжело, приятель, слишком тяжело... — Засунул покалеченную руку в рот и стал жадно ее сосать.

— За работу, *auf!* Вставай! А ну, еще разок! Но-о-ош! Навались!

— Нафались! — дружным хором повторяет толпа, наклоняется почти до земли, выпячивает зубчатые, как у рыб, позвончики, напрягает мышцы на спине. Но руки, ухватившие плиту, висят, бессильные, точно плети.

— Навались!

— Нафались!

Внезапно на этот круг напружинившихся хребтов, на согнутые шеи, низко склоненные головы, дряблые руки обрушивается град ударов. Черенок от лопаты гуляет по затылкам, пересчитывает выпирающие из-под кожи кости, глухо барабанит по животам. Вокруг плиты закрубились. Жуткий вопль вырвался вдруг из глоток и оборвался, а плита поднялась, тяжело подрагивая, повисла над головами и поплыла, каждую секунду грозя упасть.

— Суки, — бросил вслед несущим плиту капо, — я вам помогу, дождетесь.

Тяжело дыша, он утирал рукой красное, одутловатое, в желтых пятнах лицо и долго провожал людей рассеянным, бессмысленным взглядом, будто видел впервые. Потом повернулся ко мне:

— Ты, укладчик, жарко сегодня?

— Жарко. Капо, плиту класть возле третьего инкубатора, верно? А рельсы?

— Поведешь прямо к канаве.

— Там же по дороге земляной вал.

— А ты сквозь него. До обеда чтоб было сделано. А к вечеру сколотишь четыре пары носилок. Может, кого понесут в лагерь. Жарко сегодня, а?

— Жарко. Но, понимаете... Дальше, дальше эту плиту! К третьему домику! Капо смотрит!

— Укладчик, дай лимон.

— Присылайте подкапника. Я при себе не ношу.

Капо мотнул несколько раз головой и удалился, прихрамывая. Пошел на ферму — пожрать. Но я знаю, там ему ничего не дадут — бьет людей. Мы устанавливаем плиту. Нечеловеческим усилием подводятся рельсы, плита поддевается ломом, голыми пальцами затягиваются болты. Голодные, дрожащие как в ознобе люди едва ползают — неловкие, изможденные, окровавленные. Солнце подымается высоко в небо и припекает все мучительнее.

— Который час, приятель?

— Десять, — говорю я, не поднимая глаз от рельсов.

— Господи, еще два часа до обеда. Правда, что сегодня в лагере селекция, в крематорий отправлять будут?

Все уже знают про селекцию. Украдкой колдуют над ранами, чтобы были почище и поменьше, срывают повязки, разминают мышцы, опрыскиваются водой, чтобы вечером выглядеть свежей и бодрее. Это борьба за жизнь, тяжелая и героическая. А некоторым все равно. Они шевелятся, чтобы избежать побоев, жрут траву и лип-

кую глину, чтоб не чувствовать голода, ходят безучастные, живые пока еще трупы.

— Мы все — крематорий. Но немцам будет капут. Война *fini*¹, все немцы — крематорий. Все: женщины, дети. Понимаешь?

— Понимаешь, *Greco gut*. Но это неправда, не будет селекции, *keine Angst*².

Я дырявлю вал. Легкая удобная лопата «сама» ходит в руках. Комья сыровой земли враз поддаются и мягко взлетают в воздух. Хорошо работать, когда съешь на завтрак добрый шмат грудинки с хлебом и чесноком и запьешь банкой сгущенки.

В скудной тени каменного инкубатора присел на корточки командофюрер, маленький тщедушный эсэсовец в расстегнутой рубашке. Притомился, надзирая за землекопами. Он умеет больно стегать хлыстом. Вчера два раза вытянул меня по спине.

— Что новенького, *Gleisbauer*³?

Я вскидываю лопату и сверху утрамбовываю землю.

— Под Орлом погибли триста тысяч большевиков.

— Хорошо это, а? Как считаешь?

— Хорошо, конечно. Немцев ведь столько же полегло. А большевики, если даже так пойдет, через год будут здесь.

— Думаешь? — злобно усмехается командофюрер и задает сакраментальный вопрос: — Обед скоро?

Достаю часы, допотопную серебряную лу-

¹ Кончится (*фр.*).

² Нечего бояться (*нем.*).

³ Строитель железных дорог (*нем.*).

ковицу со смешными римскими цифрами. Я их люблю, они похожи на отцовские. Купил за пачку фиг.

— Одиннадцать.

Мозгляк встал из-под стены и спокойно взял часы у меня с ладони.

— Дай. Мне очень нравятся.

— Не могу, это мои собственные, из дома.

— Не можешь? Ну что ж.

Размахнулся и шваркнул часы об стену. После чего снова усаживается в тень и подбирает под себя ноги.

— Жарко сегодня, а?

Я молча поднимаю часы и со злости принимаюсь свистеть. Сперва фокс о веселой Иоанне, потом старое танго о Ребекке, потом «Варшавянку» и «Присягу»¹ и, наконец, «левый» репертуар.

Я как раз насвистывал «Интернационал», напевая мысленно: «Это есть наш последний и решительный бой», когда меня вдруг накрыла высокая тень и тяжелая рука опустилась сзади на шею. Я поднял голову и замер. Надо мной нависла огромная красная опухшая рожа; в воздухе угрожающе покачивался черенок от лопаты. Безупречно белые полоски куртки резко выделялись на фоне далекой зелени деревьев. Маленький красный треугольник с циферкой «3277», пришитый к груди, странно подрагивал и разрастался в глазах.

— Что свистишь? — спросил капо, глядя на меня в упор.

— Это такой международный гимн, господин капо.

¹ Патриотическая песня на слова Марии Конопницкой.

— Слова знаешь?

— Мм... немного... в некотором смысле, — предусмотрительно добавил я.

— А это знаешь? — спросил капо.

И хриплым голосом затянул «Rote Fahne»¹. Рукоять лопаты он отбросил, в глазах появился тревожный блеск. Внезапно капо оборвал песню, поднял палку и покачал головой, не то презрительно, не то с сожалением:

— Слышал бы настоящий эсэс, тебе б уже была крышка. А этот...

Мозгляк у стены добродушно, во весь рот смеется:

— И вы это называете каторгой! Надо бы вам, как мне, побывать на Кавказе!

— Командофюрер, мы уже завалили один пруд костями, а сколько засыпано раньше, а сколько побросали в Вислу — этого ни вы, ни я не знаем.

— Заткнись, шелудивый пес! — и, поднявшись из-под стены, нагибается за оброненным хлыстом.

— Бери людей и иди за обедом.

Я бросаю лопату и скрываюсь за углом инкубатора. Издалека мне еще слышен хриплый, задышливый голос капо:

— Да, да, псы шелудивые. Всех надо перебить, всех до одного. Вы правы, господин командофюрер.

Я послал им ненавидящий взгляд.

¹ «Красное знамя» (нем.).

III

Идти нам по дороге, ведущей через Гармензе. Высокие каштаны шумят, тень еще зеленее, но как бы суше. Как засохшая листва. Тень юга.

Выйдя на дорогу, обязательно проходишь мимо крохотного домика с зелеными ставнями, посередине которых неровно прорезаны сердечки, и с белыми полузадернутыми занавесочками на окнах. Под окнами нежные матово-бледные розы и ящички с какими-то диковинными фиолетовыми цветочками. На ступеньках увитого темно-зеленым плющом крылечка маленькая девочка играет с большим ворчливым псом. Пес, явно скучая, позволяет трепать себя за уши и только мотает головой, отгоняя мух. Девочка в белом платье, у нее загорелые, с бронзовым отливом руки. Собака — породы доберман, с коричневым подгрудком, а девочка — дочка унтершарфюрера, управляющего Гармензе. А особнячок с розочками и ставенками — его дом.

Чтоб попасть на дорогу, нужно пройти несколько метров по вязкой липкой грязи — смешанной с опилками земле, поливаемой дезинфицирующим раствором. Это — чтобы не притащить в Гармензе какую-нибудь заразу. Я осторожно огибаю эту мерзость, и мы всем скопом вываливаемся на дорогу, где расставлены в ряд бачки с баландой. Их привезли из лагеря на машине. У каждой бригады свои бачки, помеченные мелом. Я обхожу их кругом. Поспели вовремя, у нас еще ничего не украли. Надо попробовать самому.

— Пять наших, хорошо, можно брать, те два

ряда — женщин, эти трогать нельзя, не дело. Ага, есть, — рассуждая вслух, я вытаскиваю бачок соседней бригады, а на его место ставлю наш, вполовину меньший, и черчу мелом новые знаки.

— Забирайте! — громко кричу я грекам, которые с полным пониманием глядят на мои маневры.

— Эй, ты, чего бачки подменил! погоди, стой! — орут из другой бригады; и они уже идут за обедом, да вот, опоздали.

— Кто подменил? Укороти язык, приятель!

Те — бежать, но греки, волоча бачки по земле, кряхтя и ругаясь по-своему: рутаге и рога, толкая и подгоняя друг друга, исчезают за жердью, отделяющей мир от Гармензе. Я перелезаю через жердь последним, слыша, что бедолаги уже возле бачков и клянут меня на чем свет стоит, не забывая и моих ближайших родственников, конечно. Но ничего страшного тут нет: сегодня я, завтра они, кто первее, тот и правее. Наш бригадный патриотизм никогда не выходит за рамки спорта.

Суп булькает в бачках. Греки через каждые два шага опускают бачки на землю. Они тяжело дышат, как выброшенные на берег рыбы, и украдкой слизывают с пальцев тоненькими струйками сочащуюся из-под неплотно завинченных крышек клейкую горячую жижу. Мне знаком ее вкус, смешанный с пылью, грязью и потом рук, — сам не так давно таскал бачки.

Греки ставят бачки и выжидательно смотрят мне в лицо. Я торжественно подхожу к среднему, неторопливо откручиваю винты, бесконечно долгие полсекунды держу ладонь на крышке и — поднимаю. Полтора десятка пар глаз

разочарованно гаснут: крапива. Жидкая белесая бурда хлюпает в бачке. На поверхности плавают желтые кружочки маргарина. Но по цвету нетрудно определить, что внизу лежат целые, непорубленные, волокнистые стебли крапивы, грязно-бурые и вонючие, что баланда до самого дна однородная: вода, вода, вода... На мгновение свет меркнет в глазах людей, которые это волокни. Я опускаю крышку. В молчании сносим бачки вниз.

Большим крюком огибая поле, я иду к группе Ивана — он срезает дерн на лугу возле картошки. Длинная вереница людей в полосатом неподвижно стоит возле черного земляного вала. Время от времени дрогнет лопата, кто-то нагнется, замрет на секунду, медленно выпрямится, приподымет лопату и надолго застынет, полуобернувшись, не закончив движения, как зверек, прозванный ленивцем. Через минуту шевельнется кто-то другой, махнет лопатой и погрузится в такое же тупое оцепенение. Не руками тут работают, а глазами. Когда на горизонте появляется эсэсовец или капо или из укрытия, из влажной тени свежей земли с трудом выберется надзиратель, лопаты начинают позвякивать живее, хотя, покуда можно, летают пустыми, руки-ноги движутся как в кино: смешно, угловато.

Я валю прямо на Ивана. Он сидит в своей норе и ножиком вырезает узор на коре толстой палки: квадраты, змейки, сердечки, украинские слова. Рядом старый верный грек, стоя на коленях, запикивает что-то в его торбу. Я еще успел заметить белое растрепанное крыло и красную гусиную башку, неестественно запрокинутую назад, но тут Иван, увидев меня, набросил на

мешок куртку. Сало у меня в кармане размякло и на штанине расплылось безобразное пятно.

— От пани Гануси, — коротко сообщаю я.

— Она ничего не говорила? Яйца обещала принести...

— Велела поблагодарить тебя за мыло. Ей очень понравилось.

— Это хорошо. Я его вчера купил у еврея из Канады¹. Три яйца отдал.

Иван разворачивает сало. Оно помятое, раскисшее и желтое. Мне от его вида становится тошно, наверно, потому, что утром переел грудинки, — до сих пор отрыжка.

— Ну блядь! За такие два куска только столько дала? А мучного не давала? — подозрительно косится на меня Иван.

— Точно, Иван, она и вправду мало тебе дала. Я это мыло видел.

— Видел? — Иван беспокойно заерзал в норе. — Пойду подгоню людей, ни черта не хотят работать.

— Видел. Мало дала, мало. Тебе больше причитается. В особенности от меня. Но за мной не пропадет, не бойся.

С минуту мы твердо смотрим друг другу в глаза.

IV

Над самой канавой вырос аир, а на другой стороне, где стоит на посту глупый усатый конвоир с треугольничками за выслугу лет на рука-

¹ Канада — сектор, в котором были устроены вещевые склады; а также команда, работавшая при разгрузке эшелонов, которые прибывали в лагерь и в крематории. На лагерном жаргоне — символ благоденствия.

ве, — кусты малины с бледными, словно запыленными листьями. По дну канавы бежит мутный ручей, вода кишит какими-то зелеными ослизлыми чудищами, иногда вместе с илом случается зачерпнуть черного извивающегося угря. Греки съедают его сырым.

Я враскорячку стою над канавой и неторопливо вожу лопатой по дну. Осторожно, чтобы не замочить башмаков. Подошел конвоир, молча приглядывается.

— Что здесь будет?

— Запруда, господин охранник, а потом мы очистим канаву.

— Откуда у тебя такие красивые башмаки?

Башмаки у меня в самом деле красивые: полуботинки на двойной, ручной работы, подошве, по венгерской моде затейливо изукрашенные дырочками. Дружки принесли с платформы.

— В лагере выдали вместе с рубашкой, — отвечаю я, указывая на шелковую рубашку, за которую пришлось отдать почти целое кило помидоров.

— Вам такие башмаки дают? Посмотри, в чем я хожу.

И показывает мне сморщенные и потрескавшиеся ботинки. На носке правого заплата. Я сочувственно качаю головой.

— Продал бы ты мне свои.

Я поднимаю на него взгляд, полный безграничного удивления.

— Лагерную собственность продавать? Как можно?

Конвоир прислоняет винтовку к скамейке и подходит еще ближе, наклоняется над водой, которая отражает его фигуру. Я шевельнул лопатой и замутил картину.

— Все можно, если никто не видит. Получишь хлеб, у меня есть в сумке.

Хлеба я на этой неделе получил шестнадцать буханок из Варшавы. Не говоря уж о том, что за такие башмаки пол-литра обеспечены. И я улыбаюсь снисходительно.

— Спасибо, нас в лагере досыта кормят. Хлеба и сала мне хватает. Но, если у вас есть лишний, отдайте евреям, вон тем, возле вала. Хотя бы этому, который дерн таскает, — сказал я, указывая на маленького худого еврейчика с гноящимися, вечно подернутыми слезой глазами, — очень неплохой парень. Да и башмаки, кстати, никудышные: подметка отваливается. — Подметка и вправду надорвана: то пару долларов туда спрячешь, то несколько марок, иногда письмо. Конвоир закусывает губы и смотрит на меня, насупясь.

— За что тебя взяли?

— Шел по улице, попал в облаву. Схватили, за решетку и сюда. Ни за что, ни про что.

— Все вы так говорите!

— Неправда, не все. Моего приятеля арестовали за то, что фальшиво пел, понимаете: *falsch gesungen*.

Лопата, которой я беспрерывно вожу по илистому дну канавы, зацепилась за что-то твердое. Дергаю: проволока. Я вполголоса матерюсь, а конвоир обалдело на меня смотрит:

— *Was falsch gesungen?*¹

— О, это целая история. Как-то в Варшаве, во время службы, когда пели псалмы, мой друг запел национальный гимн. Но очень уж сильно фальшивил, вот его и посадили. И сказа-

¹ А что он фальшиво пел? (нем.)

ли, что не отпустят, пока не выучит нот. Били даже, но без толку; сидеть ему, видно, до конца войны — никакого нет слуха у человека. Раз умудрился перепутать немецкий марш с маршем Шопена.

Конвоир прошипел чего-то и пошел обратно к скамейке. Сел, задумчиво взял винтовку и рассеянно щелкнул затвором. Потом поднял голову, словно что-то припомнив.

— Ты, варшавянин, поди сюда, дам тебе хлеб, отдашь евреям.

Я улыбаюсь самой обворожительной из своих улыбок.

По той стороне канавы тянется линия сторожевых постов, и охранникам разрешено стрелять в заключенных. За голову дают три дня отпуска и пять марок.

— К сожалению, нам туда нельзя. Но если хотите, можете бросить хлеб, я поймаю, не беспокойтесь.

Становлюсь в выжидательную позу, но конвоир вдруг кладет сумку на землю, вскакивает и рапортует проходящему мимо начальнику охраны, что «особых происшествий не было».

Работающий рядом со мной Янек, славный паренек, дитя Варшавы, который ничегошеньки в лагерной жизни не понимает и, похоже, до конца не поймет, усердно выгребает ил, тщательно и ровно укладывая его на другой стороне, почти у самых ног постового. Начальник охраны, приблизившись, посмотрел на нас так, как смотрят на пару запряженных в телегу лошадей или пасущийся на выгоне скот. Янек широко ему улыбается и заговорщически кивает.

— Канаву чистим, господин ротенфюрер, грязная очень.

Ротенфюрер, очнувшись, взглянул на говорящего лагерника с таким изумлением, словно увидел перед собою внезапно заговорившего битюга или корову на пастбище, запевшую популярное танго.

— Поди сюда, — приказал он Янеку.

Янек отложил лопату, перескочил канаву и подошел. Ротенфюрер поднял руку и изо всей силы ударил его в лицо. Янек качнулся, схватился за куст малины и сверзился в ил. Захлопала вода, я прыснул. А ротенфюрер изрек:

— Мне на... на то, что ты здесь, в канаве, делаешь! Хоть ничего не делай! Но когда обращаешься к эсэсовцу, обязан шапку снять с башки и опустить руки.

Ротенфюрер ушел. Я помог Янеку выбраться из грязи.

— За что он меня, за что, за что? — в полном недоумении удивленно твердил Янек.

— Не будешь выскакивать, — сказал я, — а теперь почистись.

Только мы кончили выгребать из канавы ил, явился подкапник. Я лезу в мешок, перекладываю буханку хлеба, сало, луковицы. Вытаскиваю лимон. Конвоир с другой стороны молча наблюдает.

— Ты, подкапник, иди сюда. Держи. Знаешь, кому отдать.

— Будет сделано. Слушай, Тадек, нет чего-нибудь пожрать? Сладенького бы... Или яиц. Не, я не голодный, на ферме поел. Пани Гануся дала яичницы. Мировая тетка! Только про Ивана все желает знать. А капо-то, слышь, когда ни придет на ферму, ничего ему не дают.

— Пусть не бьет людей, будут давать.

— Скажи ему это.

— А на что ты подкапник? Плохо делаешь свое дело. Присмотрись, как тут некоторые гусей ловят и вечером жарят в бараке, а твой капо баланду ест. Понравилась ему вчерашняя крапива?

Подкапник смотрит на меня испытующе. Совсем еще пацан, но очень смекалистый. Немец, служил в армии, хотя ему всего шестнадцать. Попался на контрабанде.

— Говори прямо, Тадек, мы ж свои люди. На кого хочешь меня напустить?

Я пожимаю плечами.

— Ни на кого. Но про гусей не забудь.

— Слушай, а ведь вчера опять гусь пропал, и унтершарфюрер надавал капо по роже и со злости отобрал часы. Пойду гляну.

Мы идем вместе, потому что уже перерыв на обед. Со стороны бачков пронзительно свистят и машут руками. Все бросают инструменты — кто где стоит. Валы утыканы лопатами. Со всего поля медленно бредут к бачкам усталые люди, пытаюсь продлить блаженную предобеденную минуту, ощущение голода, который предстоит заглушить. Позади всех тащится припоздавшая группа Ивана. Иван остановился на краю канавы возле «моего» конвоира и долго с ним разговаривает. Конвоир показывает рукой. Иван кивает. Ему кричат, зовут — заставляют поторопиться. Поравнявшись со мной, он бросает:

— Сегодня, похоже, ничем не разживешься.

— День еще не кончился, — отвечаю я.

Он искоса кидает на меня злобный и вызывающий взгляд.

В пустом инкубаторе подкапник расставляет посуду, вытирает табуретки, накрывает к обеду стол. Писарь бригады, грек-языковед, съезжился в углу, стараясь казаться как можно меньше и незаметнее. Через выломанную дверь видно его лицо цвета вареного рака, глаза, водянистые, как лягушачья икра. Во дворе, на площадке, обнесенной высоким земляным валом, усадили заключенных. Сели они, как стояли, группами, по пятеро, друг другу в затылок. Сидят, скрестив ноги, выпрямившись, руки опущены и прижаты к бедрам. Во время раздачи обеда запрещено шевелиться. Потом можно будет откинуться назад и лечь на колени к товарищу, но беда, если окажется нарушен строй. Сбоку, в тени насыпи, расселись эсэсовцы, небрежно положив автоматы на колени; они достают из сумок и рюкзаков хлеб, аккуратно намазывают маргарином, едят неторопливо, со вкусом. К одному подсел Рубин, еврей из Канады, завел негромкий разговор. Обстряпывает какое-нибудь дельце — для себя и для капо. Сам капо, громадный и краснорожий, стоит возле бачка.

Мы носимся с мисками как заправские кельнеры. В полном молчании раздаем баланду, в полном молчании силком вырываем миски из рук, пытающихся что-то еще выскрести из пустого, — очень уж хочется растянуть минуту еды, лишний раз облизать миску, украдкой провести пальцем по дну. Капо отскочил от бачка, вломился в ряды: заметил. Пинком в лицо опрокидывает вылизывающего миску, бьет ногой в пах — раз, еще раз — и идет обратно, наступая на колени, на руки, но осторожно обходя тех, кто ест.

Все глаза напряженно смотрят капо в лицо. Еще два бачка: добавка. Каждый день капо наслаждается этой минутой. За десять лет лагеря ему причитается такого рода неограниченная власть. Концом половника он указывает, кто заслужил добавку: не было случая, чтобы капо ошибся. Добавку получает тот, кто лучше работает, кто сильнее, здоровее. Больной, истощенный, высохший человек не имеет права на вторую миску воды с крапивой. Нельзя разбазаривать корм на людей, которые вскоре попадут в печь.

Форарбайтерам по службе полагаются две полные миски супа с картошкой и мясом, зачерпнутого со дна бачка. Держа миску в руке, я осматриваюсь в нерешительности и чувствую на себе чей-то пристальный взгляд. В первом ряду сидит Бекер, выпученные глаза вожака устремлены на суп.

— На, ешь, может, наконец подавишься.

Он молча выхватывает из моих рук миску и начинает жадно есть.

— А миску поставь около себя, чтоб подкапник забрал, если не хочешь схлопотать от капо по роже.

Вторую миску я отдаю Андрею. Он мне за это принесет яблок. Андрей работает в саду.

— Что сказал конвоир? — вполголоса спрашиваю я у Рубина, когда прохожу мимо него, направляясь в тень.

— Конвоир говорит, Киев взяли, — тихо отвечает он.

Удивившись, я останавливаюсь. Рубин нетерпеливо машет рукой. Я отхожу в тень, подкладываю под себя куртку, чтоб не испачкать шелковой рубашки, устраиваюсь поудобнее —

поспать. Мы отдыхаем — каждый в меру своих возможностей.

Капо пошел в инкубатор и, выхлебав две миски баланды, заснул. Тогда подкапник вытащил из кармана кусок вареного мяса, порезал его на хлебе и демонстративно стал жевать на глазах голодной толпы, точно яблоком заедая мясо луковицей. Люди улеглись друг за другом в тесных рядах и, накрыв головы куртками, погрузились в тяжелый беспокойный сон. Мы лежим в тени. Напротив расположилась бригада девушек в белых косынках. Они издалека что-то нам кричат, жестами рассказывают целые истории. То один, то другой понимающе кивает. Поодаль от остальных стоит на коленях девушка и на вытянутых руках держит над головой бревно, большое и тяжелое. Надзирающий за бригадой эсэсовец то и дело ослабляет поводок собаки. Пес рвется к лицу девушки, яростно лая.

— Воровка? — лениво догадываюсь я.

— Нет. Застукали с Петром в кукурузе. Петро убежал, — ответил Андрей.

— Выдержит пять минут?

— Выдержит. Девка крепкая.

Не выдержала. Согнула руки, бросила бревно и упала на землю с громким надрывным плачем. Андрей обернулся и посмотрел на меня.

— Нет сигаретки, Тадек? Жаль. Что за жизнь!

После чего замотал голову курткой, вытянулся удобно и заснул. И я только собрался вздремнуть, как меня растормошил подкапник.

— Капо зовет. Берегись, он злой.

Капо проснулся, глаза красные. Он протирает их и неподвижно смотрит в пространство.

— Ты, — угрожающе ткнул пальцем мне в грудь, — почему отдал суп?

— У меня другая еда есть.

— Что он тебе за это дал?

— Ничего.

Капо недоверчиво качает головой. Огромные его челюсти шевелятся, как у коровы, жующей жвачку.

— Завтра вообще не получишь супа. Получат те, кому больше нечего жрать. Понял?

— Хорошо, капо.

— Почему не сколотил четырех носилок, как я велел? Забыл?

— Некогда было. Вы же видели, что я делал утром.

— Сколотишь после обеда. И гляди, как бы самому на них не очутиться. Могу тебе это устроить.

— Разрешите идти?

Тут только он на меня посмотрел. Уставился мертвым пустым взглядом вырванного из глубокой задумчивости человека.

— Чего тебе надо? — спросил он.

VI

Из-под каштанов до меня донесся сдавленный крик. Я собираю инструмент, укладываю носилки одни на другие, бросаю Янеку:

— Возьми ящик, не то мамуля рассердится, — и иду к дороге.

На земле лежал Бекер, хрипел и харкал кровью, а Иван бил его ногами куда ни попадя: по морде, по животу, в пах...

— Гляди, что этот гад сделал! Весь твой обед сожрал! Вор проклятый!

На земле валяется судок пани Гануси с остатками каши. У Бекера в каше все лицо.

— Я его рылом в кашу, — тяжело дыша, проговорил Иван. — Кончай с ним, мне надо идти.

— Вымой судок, — сказал я Бекеру, — и поставь под дерево. Да смотри, чтобы капо не засек. Вон, я четыре пары носилок сколотил. Понятно, что это значит?

На дороге Андрей дрессирует двоих евреев. Они не умеют ходить в строю, капо сломал об их головы две палки и приказал научить. Андрей привязал им по палке к ноге и объясняет, как может: «Чертовы дети, тай дывысь, це лева, а це права, линкс, линкс». Греки, тараща глаза, маршируют по кругу, от страха шаркая ногами по земле. Огромный клуб пыли вздымается высоко вверх. Возле канавы, где стоит конвоир, — тот, что торговал полуботинки, — работают наши ребята, «плинтуют» землю, легонько ее утрамбовывая и поглаживая лопатами, словно это не земля, а тесто. Я иду напрямик, оставляя глубокие следы, а они орут:

— Что слышно, Тадек?

— Да ничего. Киев взяли.

— Это правда?

— Смешной вопрос!

Вопя так, крича во всю глотку, я обхожу их сбоку и иду вдоль канавы. Вдруг слышу за спиной:

— Halt, halt, du, Warschauer!¹ — и через минуту неожиданно по-польски: — Стой, стой!

По другой стороне канавы ко мне бегом бе-

¹ Стой, стой, ты, варшавянин! (нем.)

жит «мой» конвоир с винтовкой наперевес, будто в атаку, страшно возбужденный.

— Стой, стой!

Стою. Конвоир продирается сквозь кусты ежевики, заряжает винтовку.

— Ты что сейчас сказал? Про Киев? Политические слухи распускаете! У вас тут подпольная организация! Номер, номер, назови свой номер!

Дрожа от волнения и злости, он вытаскивает клочок бумажки, долго ищет карандаш. Я почувствовал, как во мне что-то оборвалось, но взял себя в руки.

— Извините, вы не поняли. По-польски слабовато понимаете. Я про палки говорил. Андрей там на дороге двум евреям по палке привязал. Таким бы кием шары катать, я сказал. И еще, что это очень смешно.

— Да, да, господин охранник, именно так он и сказал, — подтверждает дружный хор.

Конвоир замахнулся винтовкой, словно хотел через канаву достать меня прикладом.

— Да ты просто псих! Я сегодня же доложу в политический отдел. Номер, номер!

— Сто девятнадцать, сто де...

— Покажи на руке.

— Гляди.

Я протягиваю руку с вытатуированным номером, не сомневаясь, что издали он не разглядит.

— Ближе подойди.

— Мне нельзя. Можете докладывать, только я вам не «Ванька-белый».

«Ванька-белый» несколько дней назад залез на растущую возле линии сторожевых постов березу — нарезать веток на метлы. За метлу в

лагере можно получить хлеб или суп. Конвоир прицелился и выстрелил, пуля наискосок прошила грудь и вышла сзади через затылок. Мы принесли паренька в лагерь. Я ухожу злой, но только завернул за угол, как меня нагоняет Рубин.

— Что ж ты наделал, Тадек? Что теперь будет?

— А что должно быть?

— Да ведь ты на меня все свалишь... Ой, беда, что же ты натворил. Разве можно так громко кричать? Ты меня погубить хочешь.

— Чего ты боишься? У нас доносчиков нет.

— Я знаю и ты знаешь, но *sicher ist sicher*. Береженого бог бережет. Слушай, дал бы ты мне для конвоира эти ботинки. Он согласится, наверно... Ну? Я попробую его уговорить. Потери мои. Мы с ним торговали.

— Отлично, и об этом будет сказано.

— Ой, Тадек, плохи наши дела. Ты давай башмаки, а я с ним столкуюсь. Свой мужик.

— Только зажился на свете. Башмаки не дам, жалко. Вон у меня часы есть. Не ходят, правда, и стекло треснутое, но это уж твоя работа. Или свои отдай, они тебе задарма достались.

— Ой, Тадек, Тадек...

Рубин прячет часы, я слышу издали:

— Укладчик!

Бегу напрямик, через поле. В глазах у капо зловещий блеск, в уголках рта выступила пена. Руки, огромные горильи руки мерно покачиваются, а пальцы судорожно сжаты:

— Чего загнал Рубину?

— Вы же видели. Вы все видите. Часы я ему дал.

— Что-о? — Руки медленно потянулись к моему горлу.

Я окаменел от страха. И, не шевельнувшись («Дикий зверь» — пронеслось у меня в голове), не сводя с него глаз, выпалил одним духом:

— Я ему дал часы, потому что охранник собрался подавать на меня в политотдел рапорт, будто я в подпольной организации...

Руки капо помалу расслабились и повисли вдоль туловища. Нижняя челюсть отвалилась, как у собаки, изнемогающей от жары. Слушая мои объяснения, он нерешительно помахивает черенком от лопаты.

— Иди работай. Ехать тебе сегодня, сдается мне, в лагерь на носилках.

И вдруг молниеносным движением вытягивается в струнку и стаскивает с головы шапку. Я отпрыгиваю, получив сзади удар велосипедом. Срываю шапку. Унтершарфюрер, управляющий из Гармензе, красный от негодования, соскакивает с велосипеда.

— Что творится в этой ненормальной бригаде? Почему там люди расхаживают с привязанными палками? Почему не работают?

— Они не умеют ходить.

— Не умеют — прикончить! А вы знаете, что опять гусь пропал?

— Чего стоишь, как пень? — заорал на меня капо. — Пусть Андрей с ними разберется? Los¹

Я припустил по тропинке.

— Андрей, кончай их! Капо велел!

¹ Живо! (нем.)

Андрей схватил палку, ударил наотмашь. Грек заслонился рукой, взвыл и упал. Андрей положил палку ему на горло, встал на нее и закачался.

Я поспешил убраться восвояси.

Издали мне видно, как капо с эсэсовцем направляются к моему конвоиру и долго с ним разговаривают. Капо энергично жестикулирует рукоятью лопаты. Шапка нахлобучена на лоб. Когда они отошли, к конвоиру подошел Рубин. Конвоир встал со скамейки, приблизился к канаве, потом взобрался на запруду. Немного погодя Рубин подзывает меня.

— Поблагодари господина охранника, не будет он подавать на тебя рапорт.

Часов на руке у Рубина нет.

Я благодарю и иду в сторону мастерских. По дороге меня останавливает старый грек, тот, что при Иване.

— Камрад, камрад, этот эсэс — из лагеря, да?

— А что?

— Значит, сегодня уже точно будет селекция?

И в странном возбуждении, седой иссохший грек, торговец из Салоник, бросает лопату и воздевает руки:

— Nous sommes les hommes misérables. O, Dieu, Dieu!¹

Блеклые голубые глаза смотрят на небо, которое тоже голубое и блеклое.

¹ Несчастные мы люди. О боже, боже! (фр.)

Мы поднимаем вагонетку. Доверху нагруженная песком, она сошла с рельсов на самом поворотном кругу. Четыре пары исхудалых рук толкают ее то вперед, то назад, раскачивают. Раскачали, подняли переднюю пару колес, поставили на рельсы. Подкладываем лом, вагонетка вот-вот взгромоздится на круг, но тут мы резко ее выпускаем и распрямляемся.

— Строиться! — ору я и свищу.

Вагонетка плюхается вниз и колесами зарывается в землю. Кто-то отшвыривает ненужный больше лом, мы вываливаем песок из вагонетки прямо на поворотный круг. Все равно завтра убирать.

Идем строиться. Только сейчас до нас доходит, что вроде еще рановато. Солнце стоит высоко. До макушки дерева, в которое оно утыкается во время поверки, ему ползти и ползти. Сейчас самое большее — три часа. На лицах у людей — тревога, недоумение. Мы выстраиваемся пятерками, равняемся, затягиваем пояса, мешки.

Писарь без усталости нас пересчитывает.

Со стороны фермы идут эсэсовцы и наш конвой. Окружают нас кольцом. Мы стоим. В хвосте бригады носилки с двумя трупами.

На дороге движение оживленной обычной. Люди из Гармензе ходят взад-вперед, обеспокоенные тем, что нас уведут раньше времени. Но старым лагерникам все ясно: селекция действительно будет.

Несколько раз промелькнула светлая косыночка пани Гануси.

В ее глазах, обращенных на нас, вопрос. Она ставит корзинку на землю, прислоняется к ови-

ну, смотрит. Я прослеживаю за ее взглядом. Пани Гануся с тревогой смотрит на Ивана.

Следом за эсэсовцами подошли капо и мозгляк командофюрер.

— Расступиться, поднять руки вверх, — сказал капо.

Тут все поняли: шмон. Мы расстегиваем куртки, открываем торбы. Эсэсовец действует ловко и быстро. Проведя руками по телу, залезает в мешок. Там, вперемешку с остатками хлеба, несколькими луковицами и завалявшимся куском сала, яблоки — вне всяких сомнений, из сада.

— Откуда они у тебя?

Поднимаю голову: «мой» конвоир.

— Из посылки, господин охранник.

С минуту он иронически смотрит мне в глаза.

— Точь-в-точь такие я ел сегодня после обеда.

Из карманов выгребают огрызки подсолнухов, кукурузные початки, травы, щавель, яблоки, то и дело воздух рассекает короткий человеческий вскрик: бьют.

Внезапно унтершарфюрер вклинился в самую середину шеренги и выволок оттуда старого грека с большой, туго набитой торбой.

— Открой, — коротко приказал он.

Трясущимися руками грек открыл торбу. Унтершарфюрер заглянул вовнутрь и подозвал капо.

— Смотри, капо, наш гусь.

И вытащил гуся с огромными растрепанными крыльями.

Подкапник, который тоже подбежал к мешку, торжествующе крикнул капо:

— А я что говорил!

Капо замахнулся палкой.

— Не бей, — сказал, удерживая его руку, эсэсовец.

Вынул из кобуры пистолет и, выразительно им помахивая, обратился прямо к греку:

— Откуда у тебя гусь? Не скажешь, пристрелю.

Грек молчал. Эсэсовец поднял пистолет. Я посмотрел на Ивана. Он был белый как мел. Наши взгляды встретились. Иван сжал губы и вышел из строя. Подошел к эсэсовцу, снял шапку и сказал:

— Это я ему дал.

Все впились глазами в Ивана. Унтершарфюрер неторопливо поднял хлыст и ударил его по лицу: раз, второй, третий. Потом стал бить по голове. Хлыст свистел, на лице заключенного вспухли красные рубцы, но Иван не падал. Он стоял, зажав в кулаке шапку, выпрямившись, руки по швам. Головы не отклонял, только вздрагивал всем телом.

Унтершарфюрер опустил руку.

— Записать его номер и составить рапорт. Команда, шагом марш!

Мы отходим ровным армейским шагом. Позади остается куча подсолнухов, пучки трав, тряпье и мешки, раздавленные яблоки, за всем этим лежит большой гусь с красной башкой и раскидистыми белыми крыльями. Последним идет Иван, один, никто его не поддерживает. За ним несут на носилках два трупа, прикрытые ветками.

Когда мы проходили мимо пани Гануси, я повернул голову в ее сторону. Она стояла, бледная, прямая, прижав к груди руки. Губы у нее дрожали. Подняв взгляд, она посмотрела на ме-

ня. Тогда я увидел, что ее большие черные глаза полны слез.

После поверки нас загнали в барак. Мы лежим на нарах, поглядываем через щели на двор и ждем, когда закончится селекция.

— У меня такое чувство, будто в этой селекции я виноват. Поразительная фатальность слов! В этом треклятом Освенциме даже худое слово становится плотью.

— Не переживай, — ответил Казик, — дай лучше чего-нибудь к паштету.

— У тебя что, помидоров нет?

— Не каждый день праздник.

Я отодвинул приготовленные бутерброды.

— Не могу есть.

Во дворе заканчивается селекция. Врач-эсэсовец, захватив листок с общим количеством и номерами отобранных, идет в соседний барак. Казик собирается уходить.

— Пойду сигарет куплю. А ты все-таки фраер, Тадек, если бы у меня кто кашу сожрал, дешево б не отделался.

В этот момент у края нар вынырнула снизу чья-то седая огромная башка и на нас уставились растерянные, часто моргающие глаза. Потом появилось лицо Бекера, помятое и еще больше постаревшее.

— Тадек, у меня к тебе просьба.

— Валяй, — сказал я, нагибаясь к нему.

— Тадек, мне хана.

Я свесился еще ниже и заглянул ему прямо в глаза; они были спокойные и пустые.

— Тадек, я столько времени голодный. Дай что-нибудь поесть. Сегодня последний вечер.

Казик хлопнул меня по колену.

— Знакомый, что ли, еврей?

— Это Бекер, — тихо ответил я.

— Ты, еврей, залазь на нары и жри. От пуза жри, а что останется, заберешь с собой в печь. Давай лезь. Можно со вшами. Я здесь не сплю. — И потянул меня за руку. — Пошли, Тадек. У меня в бараке мировая шарлотка есть, мама прислала.

Слезая с нар, Казик толкнул меня локтем.

— Смотри, — сказал он шепотом.

Я посмотрел на Бекера. Глаза его были прикрыты веками, и он, как слепец, беспомощно нащупывал рукой доску, чтоб залезть наверх.

ПОЖАЛУЙТЕ В ГАЗОВУЮ КАМЕРУ

. Весь лагерь ходил голый. Правда, мы уже прошли через вошебойку, и одежду нам вернули из бассейнов с раствором циклона, от которого вши дохнут не хуже, чем люди в газовой камере. И только в блоках, отгороженных от нас испанскими козлами, еще не получили своей одежды — тем не менее и те и другие ходили голые: жара стояла непереносимая. Лагерь был заперт наглухо. Ни один заключенный, ни одна вошь не смели проникнуть за его ворота. Прекратилась работа команд. Целый день тысячи голых людей околачивались по дорогам и апельплацам, разлеживались под стенами и на крышах. Спали на досках — тьюфяки и одеяла дезинфицируются. Из последних барачных виден женский лагерь — там тоже истребляют вшей. Двадцать восемь тысяч женщин раздели и выгнали из барачных поме-

щений — вон они мельтешат на «визах»¹, дорогах и площадях.

С утра ждешь обеда, подкрепляешься из посылок, навещаешь приятелей. Время тянется, как обычно в жару. Нет даже привычного развлечения — широкие дороги к крематориям пусты. Уже несколько дней нет эшелонов. Часть Канады ликвидирована и направлена в рабочие команды. Люди сытые, отдохнувшие, они попали в одну из самых тяжелых — в Гармензе. Ибо в лагере господствует своего рода завистливая справедливость: если имущий пал, его приятели руководствуются правилом: «падающего толкни». Канада, наша Канада, пахнет, правда, не сосновой смолой, как фидлеровская², а французскими духами, но навряд ли в той растет столько высоких сосен, сколько у этой припрятано бриллиантов и монет, собранных со всей Европы.

Мы как раз всей компанией сидим на верхних нарах, беззаботно болтая ногами. Мы раскладываем перед собой белый, искусно выпеченный хлеб, он крошится, рассыпается, едковат на вкус, но зато не плесневеет неделями. Хлеб, присланный из самой Варшавы. Еще неделю назад его держала в руках моя мать. О боже, боже...

Мы вытаскиваем кусок грудинки, луковицу, открываем банку сгущенного молока. Анри, огромный и мокрый от пота, вслух мечтает о французском вине, которое привозят в эшелонах из Страсбурга, из-под Парижа, из Марселя.

¹ Wiese — лужайка (нем.)

² Фидлер Аркадий (1894—1985) — польский писатель и путешественник, писал, в частности, о канадских лесах.

— Послушай, *mon ami*¹, когда мы снова пойдем на платформу, я тебе принесу натурального шампанского. Ты ведь никогда его не пил, верно?

— Нет. Но через ворота не пронесешь, так что не заливай. Лучше организуй мне ботинки, знаешь какие, в дырочку, на двойной подошве; о рубашке я уж не говорю, ты мне давно обещал.

— Терпенье, терпенье, будут эшелоны, я все тебе принесу. Снова пойдем на платформу.

— А может, уже не будет эшелонов? — бросил я насмешливо. — Видишь, какие поблажки в лагере: посылки не ограничены, бить нельзя. Вы вон и письма домой писали. Чего только не говорят об этих распоряжениях, да ты и сам говоришь. Наконец, черт возьми, людей не хватит.

— Не болтал бы ты глупостей, — рот грузного марсельца с одухотворенным, как на миниатюрах Козвея², лицом (это мой приятель, но его имени я не знаю) набит бутербродом с сардинками, — не болтал бы глупостей, — повторил он, с усилием проглатывая кусок («прошло, черт!») — не болтал бы глупостей, не может не хватить людей, иначе бы мы тут все передохли. Мы все живем тем, что они привозят.

— Все, не все... Есть посылки.

— Это у тебя есть, и у твоего товарища, у десятка твоих товарищей, у вас, поляков, есть, и то не у всех. Но мы, евреи, но русские? И что? Не будь у нас еды, организованной в эшелонах, вы так спокойно ели бы свое? Да мы бы вам не дали.

¹ Мой друг (*фр.*).

² Козвей Ричард (1742—1823) — английский художник, известный своими миниатюрами на слоновой кости.

— Дали бы или подыхали б с голоду, как греки. У кого в лагере жратва, у того и сила.

— У вас есть и у нас есть, о чем спор?

В самом деле, спорить не о чем. У вас есть и у меня есть, едим вместе, спим на одних нарах. Анри нарежает хлеб, готовит салат из помидор. Очень вкусно с горчицей из лагерной кухни.

Под нами копошатся голые, обливающиеся потом люди. Они лазают в проходе между нарами, вдоль огромной, остроумно построенной печи, среди всяких усовершенствований, которые бывшую конюшню (на двери еще висит таблица, извещающая, что «versuchte Pferde» — зараженных лошадей, надлежит препровождать туда-то и туда-то) превращают в уютное gemütlich — жилище для более полутысячи людей. Они гнездятся на нижних нарах, по восьми, по девяти душ, лежат голые, костлявые, с впалыми щеками, воняющие потом и выделениями. Прямо подо мной — раввин; он накрыл голову оторванным от байкового одеяла лоскутом и нараспев, громко, монотонно, читает древнееврейский молитвенник (этого чтения тут...).

— Нельзя ли его как-нибудь унять? Дерет глотку, будто бога схватил за пятки.

— Не хочется слезать с нар. Пускай дерет, скорее попадет в печку.

— Религия — опиум для народа. Я очень люблю курить опиум, — нравоучительно добавляет слева марседец — коммунист и рантье. — Не верь они в бога и загробную жизнь, так уже давно бы разрушили крематории.

— А почему вы этого не сделаете?

Вопрос чисто риторический, однако марседец отвечает: «Идиот», — запикивает в рот помидор и делает движение, как бы желая что-то

сказать, но ест и молчит. Мы как раз кончали кормежку, когда движение у двери усилилось, доходяги отскочили и бросились удирать между нар, а в каморку старосты вбежал посыльный. Через минуту величественно вышел староста.

— Канада! Antreten!¹ Но быстро! Эшелон идет.

— Боже великий! — крикнул Анри, соскакивая с нар.

Марселец подавился помидором, схватил куртку, проорал сидящим внизу «gaus»², и уже все были в дверях. Засуетились и на других нарах. Канада уходила на грузовую платформу.

— Анри, ботинки! — крикнул я на прощание.

— Keine Angst!³ — откликнулся он уже снаружи.

Я упаковал жратву и обвязал веревками чемодан, где лук и помидоры из отцовского огорода в Варшаве лежали рядом с португальскими сардинками, а грудинка из Люблина (это — от брата) — в одной куче с настоящими цукатами из Салоник. Обвязал, натянул штаны, слез с нар.

— Platz!⁴ — заорал я, протискиваясь между греками. Они отодвигались в сторону. В дверях я столкнулся с Анри.

— Allez, allez, vite, vite!⁵

— Was ist los?⁶

— Хочешь с нами на платформу?

— Могу пойти.

— Тогда живо, бери куртку! Не хватает не-

¹ Стройся! (нем.)

² Прочь (нем.).

³ Не беспокойся! (нем.)

⁴ Дорогу! (нем.)

⁵ Пошли, пошли, скорее, скорее! (фр.)

⁶ Что случилось? (нем.)

скольких человек, я говорил с капо, — и он вытолкнул меня из барака.

Мы стали в шеренгу, кто-то записал наши номера, кто-то в голове шеренги громко скомандовал: «Марш, марш», и мы побежали к воротам, сопровождаемые криками разноязычной толпы, которую ударами плеток уже загоняли в бараки. Не всякому выпадает честь идти на платформу... С нами уже прощаются, мы уже у ворот. «Links, zwei, drei, vier! Mützen ab!»¹. Распрямившись, плотно прижав руки к бедрам, мы бодро, пружинистым шагом, почти грациозно проходим через ворота. Заспанный эсэсовец с большой таблицей в руках медленно пересчитывает нас, пальцем в воздухе отделяя каждую пятерку.

— Hundert!² — крикнул он, когда прошла последняя.

— Stimmt!³ — хрипло откликнулись спереди.

Маршируем быстро, почти бегом. Много конвоиров, молодые с автоматами. Минуем все участки лагеря II-B: нежилой лагерь С, чешский, карантин, углубляемся в посадки груш и яблонь вокруг эсэсовского лазарета; среди незнакомой, словно с луны, зелени, дивно распутившейся за эти солнечные дни, огибаем какие-то бараки, пересекаем линию большой постенкете⁴ и выскакиваем на шоссе — мы на месте. Еще несколько десятков метров и там, среди деревьев, — платформа.

Это было идиллическое местечко, как обычно на затерянных провинциальных полустанках.

¹ Налево, два, три, четыре! Шапки долой! (нем.)

² Сто! (нем.)

³ Правильно! (нем.)

⁴ Postenkette — сторожевая цепь (нем.)

Небольшая площадь, обрамленная зеленью высоких деревьев, была усыпана гравием. Сбоку, у дороги, врос в землю маленький деревянный барачишко, самый жалкий и невзрачный из всех возможных станционных строений; за ним громоздились большие груды рельсов, шпалы, сваленные кучей доски, части барачных построек, кирпичи, камни, колодезные круги. Это отсюда грузят товар для Биркенау: материал для расширения лагеря и людей для газовой камеры. Обычный рабочий день: приезжают машины, берут доски, цемент, людей...

На рельсах, на балках, в зеленой тени силезских каштанов расставляют конвойных, окружают платформу тесным кольцом. Конвоиры утирают пот, пьют из манерок. Жара страшная, солнце недвижно стоит в зените.

— Разойтись!

Мы садимся в полосках тени между рельсами. Голодные греки (их тут несколько, затесались черт знает как) шарят среди рельсов, кто-то находит коробку консервов, другой — заплесневелую булку, остатки сардинок. Едят.

— Schweinedreck¹, — плюет на них молодой высокий конвоир с густым белокурым чубом и голубыми мечтательными глазами, — сейчас у вас будет столько еды — обожретесь. Надолго расхочется.

Он поправил автомат, вытер лицо платком.

Мы согласно подтверждаем:

— Скоты.

— Эй, толстый, — сапог конвоира слегка касается затылка Анри. — Pass mal auf, ну ты там, пить хочешь?

¹ Дерьмо свинячье (нем.).

— Хочу, но у меня нет марок, — деловито отвечает француз.

— Schade, жаль.

— Но, Herr Posten, разве мое слово ничего не значит? Разве Herr Posten не торговал со мной? Wiefiel?¹

— Сто. Gemacht?²

— Gemacht.

Мы пьем тепловатую безвкусную воду за счет людей, которых еще нет.

— Ты, слушай, — говорит француз, далеко отбрасывая бутылку, которая вдребезги разбивается где-то на рельсах. — Монету не бери, могут шмонать. Да и на черта тебе монета, еда у тебя и так есть. Одежду тоже не бери. Подозрительно — не собрался ли бежать. Бери рубашку, но только шелковую и с воротничком. И майку под низ. А найдешь выпивку, меня не зови, я сам справлюсь. И смотри не попадайся.

— Бьют?

— Нормальное дело. Тут гляделки в спине нужны. Arschauigen³.

Вокруг нас сидят греки и торопливо двигают челюстями, точно не люди, а какие-то гигантские насекомые, жадно глотают заплесневевшие комки хлеба. Они встревожены, не знают, что им велят делать. Их беспокоят шпалы и рельсы.

— Was wir arbeiten⁴, — спрашивают они.

— Niks. Transport kommen, alles Krematorium, compris?⁵

¹ Сколько? (нем.)

² Договорились? (нем.)

³ Букв.: глаза в заднице (нем.).

⁴ Что мы работать? (искаж. нем.)

⁵ Ничего. Эшелон приходит, все крематорий, понял? (искаж. нем., фр.)

— Alles verstehen, — отвечают они на крематорском эсперанто. Успокоились: им не придется грузить рельсы на машины и носить шпалы.

Тем временем на платформе становилось все более шумно и тесно. Надсмотрщики распределяли рабочую силу: одних назначали открывать и разгружать вагоны, которые должны прибыть, других — к деревянным лесенкам, объясняя, что надо делать. Это были широкие удобные переносные лесенки, вроде тех, по которым входят на трибуну. С грохотом подкатывали мотоциклы, везущие осыпанных серебром отличий унтер-офицеров СС, хорошо упитанных мужчин в зеркальных офицерских сапогах, с блестящими хамскими лицами. Одни приехали с портфелями, другие держали в руках гибкую бамбуковую трость. Это им придавало вид ретивых служак. У входа в буфет — оказывается, тот жалкий барачишко был их буфетом, в летнее время там пили минеральную воду, *Sudetenquelle*, а зимой — подогретое вино — они официально здоровались на древнеримский манер, выбрасывая руку вперед, а затем радушно, с приветливой улыбкой трясли друг другу десницы, толковали о письмах, об известиях из дому, о детях, показывали фотографии. Некоторые достойно прохаживались по площади, гравий хрустел, сапоги скрипели, на воротниках блестели серебряные квадраты и нетерпеливо посвистывали бамбуковые тросточки в руках.

Разнополосая толпа лежала в редкой тени среди рельсов, тяжело и неровно дышала, переговариваясь по-своему, и с ленивым равнодушием глядела на величественные фигуры в зеленых мундирах, на зелень деревьев, близкую и недосягаемую, на далекую колоколенку, с которой

колокол как раз призывал к запоздалому «Ангелу господню».

Кто-то сказал: «Эшелон идет», — и все поднялись в ожидании. Из-за поворота выходили товарные вагоны, локомотив толкал их с тыла, стоявший на тормозной площадке железнодорожник высунулся, замахал рукой, свистнул, локомотив пронзительно свистнул в ответ, запыхтел, состав медленно покатился вдоль станции. В маленьких зарешеченных окошечках были видны лица, бледные, измятые, как бы невыспавшиеся, лица женщин и мужчин, перепуганных, растрепанных, — да, как это ни удивительно, у них были волосы на головах. Они проплывали медленно, молча приглядываясь к станции. Внезапно внутри вагонов что-то взбурлило и гулко заколотило в дощатые стенки.

— Воды! Воздуха! — слышались глухие отчаянные возгласы.

Из окошек высовывались человеческие лица, люди отчаянно хватали ртом воздух. Несколько глотков, и они пропадали из виду, на их место врывались другие и тоже исчезали. Крики и хрипы становились все громче.

Человек в зеленом мундире, гуще других осыпанный серебром, брезгливо поморщился. Затянулся папиросой, резким движением отбросил ее, переложил портфель справа налево и кивнул охраннику. Тот медленно стянул с плеча автомат, пригнулся и дал очередь по вагонам. Стало тихо. Тем временем подъезжали грузовики, к ним приставляли ступеньки, команда с профессиональной сноровкой расстановливалась около вагонов. Великан с портфелем взмахнул рукой:

— Тот, кто возьмет золото или еще что-

нибудь, кроме еды, будет расстрелян как похититель государственной собственности. Понятно? Verstanden?

— Jawohl! — нестройно откликнулись голоса отдельных добровольцев.

— Also loos! За работу!

Лязгнули запоры — вагоны открыли. Волна свежего воздуха ворвалась внутрь и ошеломила людей как угар. Скученные, придавленные чудовищным количеством багажа, чемоданов, чемоданчиков, рюкзаков, всякого рода узлов (ведь они везли с собой все, что составляло их прежнюю жизнь и должно было положить начало будущей) люди ютились в страшной тесноте, теряли сознание от зноя, задыхались и душили других. Теперь они толпились у открытых дверей, дыша, как выброшенные на песок рыбы.

— Внимание. Выходить с вещами. Забирать все. Весь свой скарб складывать в кучу около вагона. Пальто отдавать. Теперь лето. Идти налево. Понятно?

— Пане, что с нами будет? — Взволнованные, встревоженные, они уже соскакивали на гравий.

— Откуда вы?

— Сосновец, Бендзин. Скажите, что будет? — упрямо повторяют они вопрос, жадно вглядываясь в чужие усталые глаза.

— Не знаю, не понимаю по-польски.

Таков закон лагеря: людей, идущих на смерть, обманывают до последней минуты. Это единственно допустимый вид жалости. Жара невероятная. Солнце достигло зенита, раскаленное небо вибрирует, воздух колеблется, ветер, который иногда овеивает нас, — тот же распаренный текущий воздух. Уже потрескались губы,

во рту чувствуется соленый вкус крови. От долгого лежания на солнце тело ослабело, не слушается. Пить, ох, пить.

Из вагона выливается разноцветная навьюченная толпа, похожая на ошалевшую слепую реку, которая ищет новое русло. Но прежде чем очумелые от свежего воздуха и запаха зелени люди приходят в себя, у них уже рвут из рук узлы, стаскивают с плеч пальто, у женщин вырывают сумочки, отбирают зонты.

— Пане, пане, но это от солнца, я не могу...

— *Verboten*¹, — огрызаешься сквозь зубы, громко сопя.

За спиной стоит эсэсовец, спокойный, деловитый, владеющий собой.

— *Meine Herrschaften*, господа, сделайте милость, не надо так разбрасывать вещи, — говорит он добродушно, а тонкая трость нервно гнется в его руках.

— Так точно, так точно, — отвечает многоголосый хор, и люди бодрее идут вдоль вагонов. Какая-то женщина наклоняется, быстро поднимая сумочку. Свистнула трость, женщина вскрикнула, споткнулась и упала под ноги толпе. Бегущий за ней ребенок пискнул: «Мамеле», — такая маленькая растрепанная девочка...

Растет куча вещей, чемоданов, узлов, заплечных мешков, пледов, пальто, сумочек, которые, падая, раскрываются и из них сыплются пестрые радужные банкноты, золото, часики; у дверей вагонов высятся горы хлеба, громоздятся банки разноцветных джемов, повидла, пухнут груды окороков, колбас, рассыпается по гравию

¹ Запрещено (нем.).

сахар. С адским грохотом отъезжают набитые людьми машины, сопровождаемые воем и воплями женщин, которые оплакивают своих детей, и растерянным молчанием вдруг осиротевших мужчин. Это те, что пошли направо — молодые и здоровые, они отправятся в лагерь. Газ их не минует, но сначала они будут работать.

Машины без отдыха отъезжают и возвращаются, словно на каком-то чудовищном конвейере. Бесперывно ездит карета Красного Креста. Намалеванный на маске мотора огромный кровавый крест плавится на солнце. Карета Красного Креста ездит неумоимо, потому что именно в ней перевозят газ, газ, которым травят этих людей.

У тех, из Канады, что стоят у лесенок, нет ни минуты передышки. Они разделяют: кого в газовую камеру, кого в лагерь, первых выталкивают на ступеньки, упихивают в машину, в каждую приблизительно по шестьдесят.

Сбоку стоит молодой, гладко выбритый эсэсовец с блокнотом в руке; каждая машина — черточка, отъехало шестнадцать машин — приблизительно тысяча душ. Эсэсовец уравновешен и точен. Без его ведома и его черточки не отойдет ни одна машина. *Ordnung muss sein*. Из черточек образуются тысячи, из тысяч — целые эшелоны, о которых коротко говорится: «из Салоник», «из Страсбурга», «из Роттердама». Об этом уже сегодня будут говорить — «Бендзин». Но постоянным его названием станет «Бендзин-Сосновец». Те, кого из этого эшелона отправят в лагерь, получают номера: 131—132. Разумеется, тысячи, но сокращенно будут говорить именно так: сто тридцать один — сто тридцать два.

Эшелоны множатся неделями, месяцами, годами. Когда кончится война, станут подсчитывать сожженных. Насчитают четыре с половиной миллиона. Самая кровавая битва, самая большая победа объединенной Германии за всю войну. Ein Reich, ein Volk, ein Führer¹ — и четыре крематория. Но в Освенциме будет шестнадцать крематориев, способных сжигать пятьдесят тысяч в день. Лагерь станет расширяться, пока не упрутся проволокой под током в Вислу, в нем будет жить триста тысяч людей в полосатой одежде, и назовут его Verbrecher — Stadt — «Город преступников». Нет, не будет недостатка в людях. Сгорят евреи, сгорят поляки, сгорят русские, придут люди с запада и юга, с континента и островов. Придут люди в полосатой одежде, восстановят разрушенные германские города, распашут опустелые земли, а когда они ослабеют от беспощадного труда, от вечного Bewegung, Bewegung, — откроются двери газовых камер. Камеры будут усовершенствованные, более экономные, хитрей замаскированные. Такие, как те, в Дрездене, о которых уже ходят легенды.

Вагоны опустели. Худой, со следами оспы эсэсовец спокойно заглядывает внутрь, неодобрительно качает головой, обводит нас взглядом и указывает на вагоны:

— Rein. Очистить!

Мы вскакиваем в вагоны. Раскиданные по углам среди человеческого кала и потерянных в толчее часов лежат задушенные, затоптанные грудные младенцы, голые уродики с огромными головами и вздутыми животами. Выно-

¹ Одно государство, один народ, один фюрер (нем.).

сишь их как цыплят, держа в каждой руке по паре.

— Не носи их в машину. Отдай женщинам, — говорит, закуривая папиросу, эсэсовец. У него заело зажигалку, он весь погружен в свое занятие.

— Господи боже, да берите вы этих детей, — взрываюсь я, потому что женщины, втягивая голову в плечи, в ужасе убегают от меня.

Странно и ненужно звучит здесь имя божие, ведь женщины с детьми, все без исключения, попадают в машины. Мы хорошо знаем, что это значит, и переглядываемся с ненавистью и страхом.

— Что, брать не хотите? — как бы удивленно и с упреком проговорил рябой эсэсовец и начал отстегивать револьвер.

— Не надо стрелять, я возьму.

Седая высокая дама взяла у меня младенцев и несколько секунд смотрела мне прямо в глаза.

— Дитя, дитя, — прошептала она с усмешкой. Затем отошла, спотыкаясь на гравии.

Я оперся на стенку вагона. Я очень устал. Кто-то дергает меня за руку.

— Пошли, дам напиток. Ты выглядишь так, будто блевать собрался. En avant¹ к рельсам, пошли!

Смотрю, перед глазами скачет чье-то лицо, расплывается, смешивается, огромное, прозрачное, с неподвижными и почему-то черными деревьями, с переполняющей площадь толпой... Я резко сжимаю и разжимаю веки: Анри.

— Послушай, Анри, мы хорошие люди?

¹ Вперед (фр.).

— Почему так глупо спрашиваешь?

— Видишь ли, друг, эти люди вызывают во мне совершенно непонятное озлобление — тем, что из-за них я должен быть тут. Я им вовсе не сочувствую по поводу газовой камеры. Провалились они все сквозь землю. Я готов броситься на них с кулаками! Не понимаю: может, это патология?

— Ох, как раз наоборот, это нормально, предусмотрено и принято в расчет. Тебя мучает то, что тут происходит, ты бунтуешься, а злобу легче всего вымещать на слабом. Даже желательно, чтобы ты ее выместил. Так мне подсказывает здравый смысл, compris? — несколько иронически говорит француз, удобно укладываясь среди рельсов. — Смотри на греков, эти умеют пользоваться! Жрут, что под руку попадет, при мне один съел целую банку джема.

— Скоты. Завтра половина их передохнет от поноса.

— Скоты? Ты тоже голодал.

— Скоты, — повторяю я с ожесточением. Закрываю глаза, слышу крики, чувствую телом дрожь земли и парной воздух на веках. В горле совершенно сухо.

Люди плывут и плывут, машины рычат, как разъяренные псы. Перед глазами маячат мертвецы, которых выносят из вагонов, растоптанные дети, калеки, сваленные вместе с трупами, и толпы, толпы, толпы... Подкатывают вагоны, растут горы одежды, чемоданов, мешков, люди выходят, щурятся на солнце, дышат, молят: «воды», взбираются на машины, отъезжа-

ют. Снова вагоны, снова люди... Картины смешиваются, и я не знаю, наяву это происходит или во сне. Вдруг вижу зелень каких-то деревьев, которые колышутся вместе со всей улицей, с пестрой толпой, — ба, да это Аллеи! В голове шумит, я чувствую, как к горлу подступает тошнота.

Анри трясет меня за плечо.

— Не спи, пошли грузить барахло.

Людей уже нет. Последние машины катят далеко по шоссе, поднимая гигантские облака пыли, поезд ушел, по опустевшей платформе достойно вышагивают эсэсовцы, сверкая серебром воротников. Блестят начищенные до глянца сапоги, блестят налившиеся кровью лица. Среди них — женщина, только теперь до меня доходит, что она была здесь все время, сухопарая, безгрудая, костистая. Редкие бесцветные волосы гладко зачесаны назад и связаны «нордическим» узлом, руки засунуты в карманы широкой юбки-штанов. Она ходит по перрону из конца в конец с приклеенной к высохшим губам крысиной жестокой улыбкой. Она ненавидит женскую красоту ненавистью уродливой женщины, сознающей свое уродство. Да, я видел ее уже не раз и хорошо запомнил. Это комендантша FKL пришла обозреть свой улов — ведь часть женщин оставили от машин, и они пешком пойдут в лагерь. Там наши парни, парикмахеры из вошебойки, обреют этих женщин наголо, потешаясь над их еще не остывшей стыдливостью.

Итак, мы грузим барахло. Подымаем тяжелые, битком набитые чемоданы, с усилием бросаем их в машины. Там укладываем их один на другой, заталкиваем, упихиваем, взрезаем что

придется ножом — ради удовольствия и в поисках водки и духов, которые выливаем прямо на себя. Один из чемоданов открылся, выпадают костюмы, рубашки, книги... Я хватаю какой-то сверточек: тяжелый; разворачиваю — золото, добрых две горсти: часы, браслеты, перстни, колье, бриллианты...

— Gib hier¹, — спокойно говорит эсэсовец, подставляя портфель, полный золота и разноцветной иностранной валюты. Закрывает его, отдает офицеру, берет пустой и становится сторожить у другого грузовика. Это золото отправится в Германию.

Жара, жара невозможная. Воздух стоит раскаленным неподвижным столбом. У всех пересохло в горле, каждое сказанное вслух слово вызывает боль. Ох, пить. Работаем лихорадочно, только бы скорей, только бы в тень, только бы отдохнуть. Кончаем, уходят последние машины, мы старательно убираем с путей все бумажки, выгребаем из-под мелкого гравия чужую эшелонную грязь, «чтоб и следа от этой мерзости не осталось», и в ту самую минуту, когда последний грузовик исчезает за деревьями, а мы идем — наконец-то! — в сторону рельсов отдохнуть и напиться (может, француз опять купит у конвоира), за поворотом снова слышен свисток железнодорожника. Медленно, бесконечно медленно выкатываются вагоны, пронзительно свистит в ответ локомотив, из окошек глядят измятые бледные лица, плоские, как будто вырезанные из бумаги, с болезненно горящими глазами. И вот уже машины, и спокойный господин с блокнотом на месте, а из буфета уже

¹ Дай сюда (нем.).

вышли эсэсовцы с портфелями для золота и денег. Мы открываем вагоны.

Нет, уже нет сил сдерживаться. Мы грубо рвем у людей из рук чемоданы, сдергиваем с плеч пальто. Идите, идите, исчезните. Идут, исчезают. Мужчины, женщины, дети. Некоторые из них знают.

Вот быстро идет женщина, незаметно, но лихорадочно прибавляет шагу. За ней бежит маленький, трех-четырёхлетний ребенок с покрасневшимся пухлым личиком херувима, не может нагнать, с плачем протягивает ручки:

— Мама! Мама!

— Женщина, возьми же ребенка на руки!

— Пане, пане, это не мой ребенок, это не мой! — истерически кричит женщина и пускается бежать, закрывая лицо руками. Она хочет успеть, хочет скрыться среди тех, кто не поедет в машине, кто пойдет в лагерь, кто будет жить. Она молода, здорова, красива, она хочет жить.

Но ребенок бежит за ней, жалобно крича:

— Мама, мама, не убегай!

— Это не мой, не мой, нет!..

И тут ее догнал Андрей, моряк из Севастополя. Глаза у него мутные от водки и жары. Он догнал ее, одним размашистым ударом руки сбил с ног, падающую схватил за волосы и снова поставил стоймя. Лицо у него было перекошено яростью.

— Ах ты, мать твою, блядь еврейская! От дитя своего бежишь! Я тебе дам, ты, курва! — Он обхватил ее поперек, задавил лапой рвущийся из горла крик и как тяжелый куль зерна с размаху бросил в машину. Затем швырнул ей под ноги ребенка: — Вот тебе! Возьми и это! Сука!

— Gut gemacht¹, так надо наказывать преступных матерей, — сказал стоявший у машины ээсовец. — Gut, gut, русский.

— Молчи! — прохрипел сквозь зубы Андрей и отошел к вагонам. Из-под кучи тряпья он вытащил спрятанную там манерку, открыл, приложил к губам себе, потом мне. Спирт жжет горло, голова гудит, ноги подгибаются, чувствую позыв к рвоте.

Вдруг среди всех этих толп, слепо, словно управляемая невидимой силой река прущих в сторону машин, возникла девушка, легко выскочила из вагона на гравий и испытующе огляделась вокруг, как человек, который очень удивляется чему-то.

Густые светлые волосы мягко рассыпались по плечам, она нетерпеливо их откинула. Машинально огладила блузочку, незаметно поправила юбку. Так она постояла с минуту, затем перевела взгляд с толпы на наши лица, словно кого-то ища. Безотчетно я тоже искал ее взгляда, наши глаза встретились.

— Слушай, слушай, скажи, куда они нас повезут?

Я смотрел на нее. Вот стоит передо мной девушка с чудными светлыми волосами, с прелестной грудью, в батистовой летней блузочке, с мудрым взглядом зрелого человека. Стоит, смотрит мне прямо в лицо и ждет. Вот газовая камера, отвратительная, безобразная, свальная смерть. Вот лагерь: бритая голова, ватные советские штаны в жару, мерзкий тошнотворный запах грязного потного женского тела, звериный голод, нечеловеческий труд и та же

¹ Хорошо сделал (нем.).

камера, только смерть еще безобразней, еще омерзительней, еще страшней. Тот, кто однажды сюда вошел, ничего, даже праха своего не вынесет за постенкете, не вернется к той жизни.

«Зачем она это привезла, ведь все равно отберут», — подумал я невольно, заметив у нее на запястье хорошенькие часики с тонким золотым браслетиком. Точно такие же были у Туськи, только на узкой черной тесемке.

— Послушай, ответь мне.

Я молчал. Девушка сжала губы.

— Понимаю, — сказала она с оттенком царственного презрения в голосе, откидывая голову назад. И смело пошла к машинам. Кто-то захотел ее задержать, но она смело отстранила его и по ступенькам вбежала на платформу почти полного грузовика. Уже только издали я увидел летящие по ветру пышные светлые волосы.

Я входил в вагоны, выносил грудных детей, выбрасывал багаж. Дотрагивался до мертвых тел, но не мог совладать с приступами дикого страха. Я убегал от трупов, но они лежали повсюду кучами на гравии, на цементном краю перрона, в вагонах. Грудные дети, отвратительные голые женщины, скрученные конвульсиями мужчины. Убегал от них как можно дальше. Кто-то хлещет меня тростью по спине, уголком глаза вижу орущего на меня эсэсовца, ускользаю от него и смешиваюсь с группой полосатой Канады. Наконец я снова влезая в наше убежище среди рельсов. Солнце почти скрылось за горизонтом и залило перрон кровавым светом заката. Тени деревьев угрожающе вытя-

нулись, в тишине, которая под вечер наступает в природе, человеческие крики бьют в небо все громче и настойчивее.

Только отсюда, со стороны рельсов виден весь кипящий на платформе ад. Вот двое людей упали на землю, сплетенные в отчаянном объятии. Он судорожно впился пальцами в ее тело, зубами ухватился за платье. Она истерически кричит, клянет, кощунствует, пока, придавленная сапогом, не начинает хрипеть и умолкает. Их раздирают, как недоколотое полено, и, как животных, загоняют в машину. Вот четверка из Канады волочит мертвеца — огромную распухшую бабу; потя от усилий, они ругаются на чем свет стоит и пинками отгоняют потерявшихся ребятишек, которые с собачьим воем путаются по всей платформе. Их хватают за шиворот, за волосы, за руки и кучами забрасывают на грузовики. Те четверо никак не могут поднять бабу на машину, зовут других и общими усилиями запихивают гору мяса в открытый кузов. Со всей платформы сносят трупы — большие, раздутые, опухшие. Вместе с ними швыряют калек, паралитиков, полузадушенных, потерявших сознание. Гора трупов шевелится, скулит, воет. Шофер заводит машину, отъезжает.

— Halt, halt! — орет издали эсэсовец. — Стой, стой, черт тебя побери!

Тащат старика во фраке с повязкой на предплечье. Старик бьется головой о гравий, о камни, стонет и непрерывно, монотонно повторяет: «Ich will mit dem Herren Kommandanten sprechen — я хочу поговорить с господином комендантом». Он твердит это всю дорогу со старческим упорством. Уже в машине, придавлен-

ный чьей-то ногой, полузадушенный, он все еще хрипит: «Ich will mit dem...»

— Ты, чудак, успокойся, ну! — хохоча во все горло, кричит ему молодой эсэсовец, — Через полчаса ты будешь говорить с самым великим из комендантов. Только не забудь сказать ему «Heil Hitler!»

Несут девочку без ноги, ее держат за руки и за оставшуюся ногу. По лицу ее текут слезы, она жалобно шепчет: «Господи, мне больно, больно...» Девочку швыряют в машину с трупами. Она сгорит заживо вместе с ними.

Наступает вечер, прохладный и звездный. Мы лежим среди рельсов, вокруг удивительно тихо. На высоких столбах вполнакала горят лампы, за кругом света простирается непроглядная тьма. Шагнул во тьму, и нет тебя... Но конвоиры начеку. Автоматы у них наготове.

— Сменил ботинки? — спрашивает Анри.

— Нет.

— Почему?

— Слушай, с меня хватит, я сыт по горло!

— Это после первого же эшелона? Подумать только, а я — с рождества через мои руки прошло, наверно, около миллиона людей. Хуже всего с эшелонами из-под Парижа, всегда встречаешь знакомых.

— И что ты им говоришь?

— Что их везут в баню, а потом мы встретимся в лагере. А ты что сказал бы?

Я молчу. Мы пьем кофе пополам со спиртом, кто-то открывает коробку какао, смешивает с сахаром. Зачерпываешь такую смесь горстью, она заклеивает рот. Снова кофе, снова спирт.

— Анри, чего мы ждем?

— Будет еще один эшелон. Хотя неизвестно.

— Если придет, я не пойду. Не могу.

— Забрало тебя, а? Хороша Канада?! — Анри добродушно улыбается и исчезает в темноте. Вот он уже вернулся.

— Ладно. Только смотри, чтоб тебя эсэсовец не застукал. Тут сиди все время. А ботинки я тебе скомбинирую.

— Оставь меня в покое с ботинками.

Мне хочется спать. Уже глубокая ночь.

И снова «antreten», снова эшелон. Из темноты выплывают вагоны, пересекают полосу света и снова исчезают во мраке. Платформа невелика, но круг света еще меньше. Придется разгружать поочередно. Где-то ревут машины, как черные призраки подъезжают к ступенькам, рефлекторами освещают деревья. «Wasser, Luft»¹ Снова все то же, запоздалый сеанс все того же фильма: раздается автоматная очередь, вагоны успокаиваются. Только какая-то девочка высунулась всем корпусом из вагонного окошка и, потеряв равновесие, упала на гравий. Несколько минут она лежала оглушенная, наконец поднялась — и начинает ходить по кругу, все быстрее и быстрее, угловато размахивая, как на гимнастике, руками, шумно хватая ртом воздух и подвывая, монотонно, визгливо. Давится — помешалась. Это действует на нервы, к ней подбегает эсэсовец, подкованным сапогом пнул ее в спину, она упала. Он притоптал ее ногой, вынул револьвер, выстрелил — раз и еще раз, девочка лежала еще с минуту, вскапывая ногами зем-

¹ Воды, воздуха! (нем.)

лю, потом замерла совсем. Начали открывать вагоны.

Я снова был у вагонов, в нос ударила теплая сладковатая вонь. Человеческая гора заполняла вагон до половины, неподвижная, чудовищно перемешанная, но еще дымящаяся.

— Ausladen! — раздался голос вынырнувшего из темноты эсэсовца. На груди у него висел переносный рефлектор. Он осветил внутрь.

— Чего стоите как олухи? Выгружать! — и свистнул палкой по моей спине. Я ухватился за мертвеца; его кисть судорожно сомкнулась на моей руке. С криком я выдернул руку и убежал. Бешено колотилось сердце, перехватило горло. Вдруг меня скрутило пополам и вырвало тут же, у вагона. Шатаюсь, я прокрался к рельсам.

Лежа на добром холодном железе, я мечтал о возвращении в лагерь, о нарах без матраса, о минуте сна среди товарищей, которых ночью не отправят в газовую камеру. Внезапно лагерь показался мне каким-то островком покоя. Умирали и умирают другие, ты сам еще кое-как жив, у тебя есть еда, есть силы работать, есть родина, дом, девушка...

Призрачно светят фонари, без конца течет река людей, мутная, взбудораженная, одурелая. Этим людям кажется, что в лагере их ждет новая жизнь, и они психически готовятся к тяжелой борьбе за существование. Эти люди не знают, что они сейчас умрут и что золото, деньги, бриллианты, которые предусмотрительно запрятаны в складках и швах одежды, в каблуках, в тайных уголках тела, уже не понадобятся. Тренированные профессионалы будут ко-

паться в их внутренностях, вытащат золото из-под языка, бриллианты — из матки и заднего прохода. Вырвут золотые зубы. И в плотно заколоченных ящиках отошлют это в Берлин.

Черные фигуры эсэсовцев двигаются спокойно, деловито. Господин с блокнотом ставит последние черточки, уточняет цифры: пятнадцать тысяч.

Много, много машин отправлено в крематорий.

Уже кончают. Последняя машина забирает сложенные на платформе трупы, вещи погружены. Канада, навьюченная хлебом, джемом, сахаром, пахнущая духами и чистым бельем, готовится к обратному пути. Капо укладывает в котел из-под чая последние шелка, золото и черный кофе. Это — для часовых в воротах, пропустят команду без контроля. Теперь лагерь несколько дней будет жить этим эшелонам: есть его ветчину и колбасы, пить его водку и ликеры, будет носить его белье, торговать его золотом и тряпьем. Много вынесут из лагеря наружу вольнонаемные: в Силезию, Краков и дальше. Обрато они привезут папиросы, яйца, водку и письма из дому. Несколько дней в лагере будут говорить об эшелоне Бендзин-Сосновец. Хороший был эшелон, богатый.

Когда мы возвращаемся в лагерь, звезды начинают бледнеть, небо становится все прозрачней, подымается над нами, ночь светлеет. День обещает быть солнечным и жарким.

Из крематориев тянутся мощные столбы дыма; выше они сливаются в огромную черную реку, которая бесконечно медленно ползет по небу над Биркенау и сплывает за леса в сторону Тшебини. Это жгут Сосновецкий эшелон.

Мимо идет отряд СС с автоматами, смена караула. Идут ровно, слитными рядами, единое тело, единая воля.

— «Und morgen die ganze Welt...»¹, — горланят они.

— Rechts ran! Напра-во! — гремит команда во главе отряда.

Мы уступаем им дорогу.

СМЕРТЬ ПОВСТАНЦА

Недалеко от рва, за узкой полоской луга, лежало поле, засаженное свеклой. Глянешь поверх бурого вала только что выброшенной наверх липкой глины и видишь, как на ладони, зеленые, мясистые листья, а под ними белые с розовыми прожилками клубни кормовой свеклы, распирающие мокрую землю. Поле тянулось по кособогу и кончалось у стены черного леса, расплывающейся в негустом тумане. На опушке леса стоял часовой. Над ним торчал, как копье, смешной длинный ствол, видимо, датской винтовки. В нескольких десятках метров левей, под чахлыми сливами, сидел другой часовой, и, плотно укутавшись в авиационный серый плащ, смотрел из-под нахлобученной на уши и на лоб пилотки в долину, будто на дно ванны.

Ниже по склону, там, где лес сходил вниз купами молодых верб, между неожиданно быстрой речушкой и пересекающим долину шоссе, ездили огромные тракторы, разравни-

¹ «А завтра — весь мир...» (нем.) — строка из гимна нацистской партии.

вая плугами землю, которую внизу вынимали экскаваторами и везли наверх в веренице вагонеток, подталкиваемых людьми. Там были шум, толчея, и находиться там было опасно. Люди подталкивали вагонетки, таскали шпалы и рельсы, срезали пласты дерна для маскировки строений, почву под которые ровнял трактор.

На дне ванны мы копали ров. Предусмотрительно заверченный в хорошую пору, когда светило солнце и под деревьями было полно спелых, сбитых ветром слив, ров от дождей стал осыпаться, и стенки его даже грозили совершенно обвалиться, так как нам было приказано срезать их для водопроводных труб отвесно, а не под углом, и того не предвидели, что норвежцы, которых поставят прокладывать водопроводные трубы, дружно вымрут все до единого после первых десяти километров. Вот и поспешили бросить нас таскать рельсы да разбирать стальные прутья, громоздившиеся кучами на станции, и загнали на дно ванны поправлять ров, который тянулся непозволительно близко от свекольного поля.

— Вот ты, может, думаешь, что ров вроде бы невеликое дело, — сказал я Ромеку, бывшему диверсанту из-под Радома, уже два года отработывающему немцам в лагерях то, что он им в Польше навредил. Мы с ним работали на пару с момента основания этого жалкого лагеря на краю небольшого луга у подножья одного из вюртембергских холмов и достигли в копке ровов известного мастерства. Он киркой разрыхлял мягкую землю до кашицеобразного состояния, а я выбрасывал ее краем лопаты на хре-

бет насыпи. Когда Ромек, лениво махнув киркой, нагибался, я прислонялся к влажной, потрескавшейся стенке рва или садился на ловко подложенный черенок лопаты. Когда же нагибался я, он перенимал мою функцию подпирания стенки рва. Издали казалось, будто во рву находится один человек, который работает хоть и медленно, но усердно и без передышки.

— Ну и что, что ров? — поддержал разговор Ромек, без особого энтузиазма налегши на кирку. Искусство вести разговор, и вести его целый день, было почти столь же важно, как еда. — Осыпался, вот и все. Когда его подправим, двинемся дальше, — говорил он, ритмично разделяя слова ударами кирки. — Только бы рельсы или шпалы не таскать, как вон те, что с восстания¹. С лопатой и киркой еще можно продержаться. Да ты, если хочешь что-то сказать, говори прямо, нечего загадки загадывать.

Он посмотрел на горизонт. У него были голубые, словно вылинявшие глаза и добродушное, очень худое лицо с четко очерченными линиями скул.

— Даже солнца не видать, — огорченно заметил Ромек. — Как думаешь, дождь будет?

Он прикорнул у стенки в нише, оставшейся после предусмотрительно выбранной глины. Там было сухо и вроде бы теплей. Надо рвом дул порывистый осенний ветер и гнал по небу тревожно набухшие дождем тучи, но здесь, внизу, было тихо и уютно.

— Плевал я на дождь, — беспечно возра-

¹ Имеется в виду массовое восстание против гитлеровских оккупантов, вспыхнувшее в Варшаве 1 августа 1944 г. и жестоко подавленное.

зил я. — Разве для нас это впервой? А ты вот подумай: когда начали мы этот ров копать, нас, стариков, было ровно тысяча душ. Парни все как на подбор, посидели уже в лагерях, да не в каких-нибудь заваливающих. И повидали всякого.

Замолчав, я раз-другой махнул пустой лопатой и придержал ею сыпавшиеся с насыпи комья.

— Вот выкопали мы ров, немножко посветило солнце, немножко дождь полил, немножко ров осыпался — и осталась нас половина. А от тех, вон там, — я головой указал за поворот рва, туда, где работала остальная часть нашей группы, участники восстания, — уж не знаю, осталась ли в живых хоть половина. Говорят, уборщики трупов получили вчера по две буханки хлеба, потому что вывезли в ящике полсотни трупов. А один еврей утонул в луже на середине лагеря. Потому вчера мы так долго стояли на проверке. В блоке уж и суп совсем остыл.

Бывший диверсант вышел из ниши и взялся за кирку.

— И вовсе не две, не две буханки — каждый уборщик трупов получил полбуханки и немного маргарина в награду. И знаешь, вон тех, как ты говоришь, повстанцев, мне вообще ни-сколечко не жалко. Я их не приглашал сюда. Сами вызвались. Добровольцы, вишь, под конец войны добровольно приехали строить лагерь, индустриализировать край, — язвительно прибавил он и в заключение выругался.

— Наверно, уже весь ров отделали — что-то не слышать, чтобы о политике спорили. Видно, дальше ушли. Стараются с самого утра, как дурни. Думают, мастер Бач хлебных корок даст.

— Даст, как бы не так! Не бойся, наш хорват хорошенько все осмотрит, подсчитает и даст тебе так, будто это колбаса! У него своя система, умеет заставить работать, вроде и не бьет, зато корками заманивает. Умеет пришпорить, а ты, дурень, вкалывай. Кому охота сдохнуть, пусть на корки зарится. Я предпочитаю меньше съесть, да не горбатиться.

— Да, наработает такой вот на целую буханку, а достанется ему кусочек корки, — поспешно поддакнул я. — Знаешь, пойду-ка я за свеклой. Пожевать бы малость, а? Сейчас самое время, мастер в деревню ушел.

— И верно, шпарь. Твоя очередь. Я вчера приносил и позавчера. Только следи за капо, он там возле лагеря крутится, — предупредил Ромек. — Принеси штуки две, может, что-нибудь скомбинируем. Дураков хватает. Да смотри, никому не давай.

— Еще бы! Старик, наверно, пристанет. Он, знаешь, готов хлеба недоест, ему лишь бы зеленю брюхо набить, да побольше. Чего только не ест! И молочай, и дикий чеснок, и петрушку с луга. Помяни мое слово, он скоро окочурится.

Я аккуратно воткнул лопату в землю, чтоб не упала и черенок не испачкался, и крадучись пошел вдоль рва, огибая лужи, оставшиеся после недавнего дождя.

Штука была в том, что дергать свеклу надо было не на ближнем поле, которое под носом, а на дальнем, где рядом тракторы, крики людей, толкающих груженые землей вагонетки, капо, дергающийся, как рыба на крючке, ну и конвоир, которому от скуки случается иногда в кого-нибудь пальнуть. За кражу свеклы грозила неотвратимая кара. И впрямь, чем вино-

ваты мирные крестьяне Вюртемберга, что на их землю неожиданно нагрянула орава заключенных и расположилась небольшими лагерями от Штутгарта до самого Балингена, — из камня масло выжимать? И так уж они натерпелись досыта, все луга им изрыли, аж смотреть противно, пастбища заняли, чтоб строить там сельскохозяйственные мастерские, а солдаты и мастера из Трудовой Армии Тодта¹ с удовольствием навещают сады и огороды, а еще охотней — невест отсутствующих туземцев, zur Zeit² находящихся на фронте.

За поворотом рва, в некотором отдалении от нас, работала группа стариков, участников варшавского восстания, все одинаково одетые в полосатые костюмы, с небольшими индивидуальными нюансами. Один заправил куртку в штаны, у другого из-под куртки торчал мешок от цемента, замечательная защита от дождя и ветра, третий воспользовался картоном — надел его на себя, прорезав отверстия для головы и рук.

— Пропустите, пожалуйста, помогай вам бог в работе! — вежливо сказал я. — А вы, пан повстанец, лучше бы сняли с себя этот картон. Не видели, что ли, как вчера эсэсовец избил насмерть еврея за солому, что у него нашел?

— А разве я еврей? Евреев они там могут бить, но не арийцев. А в общем, ты о себе беспокойся. Будь у меня три рубахи, я бы тоже был таким умным и ходил без картона.

¹ Тодт Фриц (1891—1942) — инженер, организатор трудовой армии, в которую насильно брали жителей оккупированных немцами стран.

² В данное время (нем.).

— Эй, приятель, ты не за свеклой идешь? — спросил меня тип в измазанных грязью, когда-то щегольских ботинках.

— А если за свеклой, так что?

— Принес бы нам одну.

— Свекла вредна для желудка, знаете. Начнется понос, и в момент протянете ноги. Я бы вам советовал потерпеть.

— Как же терпеть, когда есть охота. А когда человек голоден, ему не больно-то хочется жить, — рассудительно возразил старик.

Я присмотрелся к старику доходяге. Поверх куртки он подпоясался толстой, из обрывков связанной веревкой, а под курткой была напихана солома, торчавшая из-под куцега воротника, который был поднят, словно эта полоска пропитанного влагой холста могла его согреть. Однако ему не пришло в голову заправить штаны в когда-то щегольские ботинки, еще варшавские. Они были облеплены толстым слоем старой, засохшей грязи и густо обмазаны свежим глиняным месивом.

— Эх вы, — презрительно сказал я, — старый человек, а блюсти себя не научились. Надо немного следить за собой, чуток себя почистить, это ж вам не пансионат, где вам все подадут, это не то, что дома у мамочки. Вот оботрите-ка грязь, подвигайтесь маленько, и сразу здоровья прибавится больше, чем от пайки хлеба. А если будете одну свеклу жрать да каждый день за полмиски супа сигарету покупать, неужто думаете, что сможете выжить? Сунут в ящик и увезут, поминай как звали. У вас уже и так видик — смотреть страшно.

— Кабы тебе посидеть только на литре баланды из одной воды да пайке хлеба, тоже

выглядел бы как мы, — прервал поток моего красноречия тип в картонной крышке.

— Будто я ем больше вас, вот уж сказали! — искренно возмутился я. — Просто я не привык к деликатесам, как вы, варшавяне. И стараюсь блюсти себя.

— А кто вчера вынес котелок супа из нашего блока, коль не ты? Может, скажешь, вру?

— Я вчера продал старшему вашего блока метлу, за это он и дал мне миску супа. Мы же все в ивняке работали. Кто вам запретил делать метлы? Вы-то в полдень полеживали себе, а я метлы вязал.

— Те-те-те, я тоже не глупей тебя. Да разве старший блока у меня возьмет? Ему интересней дать даром суп кому-то из вас, из освенцимских.

— А ты вот посиди с наше пару годиков, так и тебе всюду дадут вторую миску супа, — ответил я сердито и бегом побежал на свекольное поле, ругая себя за бесполезную задержку.

Метрах в ста подальше ров сворачивал к черному квадрату земли, которую буровили тракторы и экскаваторы. Перед самым поворотом насыпь у рва была удалена, и в стенке его были вырыты две неглубокие ямки, как раз чтобы ступня поместилась. Сунув ногу в ямку и уцепившись руками за край рва, я с усилием вылез наверх и, не обращая внимания на то, что куртка моя волочится по грязи, осторожно пополз между рядами свеклы. Здесь, отчасти прикрытый свекольной ботвой, я почувствовал себя уверенней. Выбрал самую крупную свеклу, не спеша оборвал листья и вытащил ее из земли. Потом стал высматривать репу, но, кроме пу-

затых бело-розовых свекольных клубней, ничего не удавалось заметить. Тогда я выдернул еще одну свеклу, сунул обе под куртку и, держа в руке несколько листьев как прикрытие от взора капо или часового, пополз опять ко рву. Соскользнув вниз и очутившись между его потрескавшимися, мокрыми стенками, я вздохнул с облегчением.

Достал сразу из кармана деревянную лопатку, почистил куртку и штаны, тщательно отскреб руки и ботинки и, поддерживая под лапами куртки обе свеклы, поспешил к своим. Был я слегка разгорячен и дышал как загнанная собака.

— Слушай, друг, дай одну, дай хоть кусок! — упрасивали меня повстанцы, когда я проходил мимо них.

— Не приставайте ко мне, ну и народ! — закричал я почти с отчаянием, прижимая к животу отвратительно мокрые шары свекол. — Самы идите рвите! Свекла там для всех растет! Чего это я один должен трудиться?

— Так вам же легче, вы же молодой! — сказал тип в картонной крышке.

— Ну и подышайте, раз вы старые и боитесь. Если б я боялся, на мне давно уже трава бы росла!

— Так подавись же ею, сукин сын! — со злобой крикнул мне вслед тип в картонной крышке.

Наконец я пробрался к бывшему диверсанту. Ромек сидел во рву на корточках, опираясь на рукоять кирки.

— Все равно никто не смотрит, чего зря стараться? — весьма рассудительно заметил он. Я вытащил из-под куртки свеклу. Дивер-

сант копнул киркой дно рва, сделал маленькую ямку, достал из недр своей одежды бесценный предмет — перочинный ножик — и аккуратно очистил обе свеклы, бросая очистки в ямку.

— Пошли мы, знаешь, однажды разделаться с одним старостой, недалеко от Радома, — говорил он, вырезая из свеклы жесткие, неприемлемые для гурмана, части. — Деревня называлась Ежины или Дзежины — что-то в этом роде. Окружили кое-как хату, и Волк — во всех историях Ромека Волк играет главную роль — залез в хату через окно, мы стоим, ждем, когда он управится. А его все не видно, и вдруг зовет меня. Влезаю, понимаешь, и я, осматриваюсь, темновато там, ан староста с бабой в кровати и вставать не хочет. «Выходи на допрос», — говорит Волк. «Я его не пущу, допрашивайте в кровати», — говорит баба. А староста с перепугу молчит. Пали, говорю, в подушку, чего не сделаешь для Родины! Пальнули мы оба вместе в мужика, аж перья к потолку взлетели. И ты думаешь, баба крик подняла из-за него? Вот и нет! «Ах вы, такие-сякие, — говорит, — партизаны паршивые, что ж вы мне подушку и перину изничтожили!»

— Чепуха все это, — высказался я, прибывая лопатой очистки в ямке. — При чем тут староста к свекле?

— А вот и при чем, и даже очень при чем, — диверсант подал мне разрезанную на части свеклу, которую я сразу спрятал в карман. — Потому как в кладовке у старого хрыча мы подцепили вот такое, — он изобразил рукою неправдоподобно большой круг, — кольцо колбасы.

— А скажите, пожалуйста, какой колбасы? Я, видите ли, в копченостях немного разбираюсь, — неожиданно вмешался старик в покрытых грязью, когда-то щегольских ботинках. Он тихонько подошел к нам и, опершись на лопату, благоговейно слушал рассказ диверсанта, с не меньшим благоговением следя за тем, как тот режет свеклу.

— Какой колбасы? Ну ясно, не вареной. Обыкновенной деревенской колбасы с чесноком, — насмешливо ответил Ромек. — Уж наверно, повкуснее этой свеклы. Сами понимаете!

Он подал мне пластинку свеклы и отрезал себе другую. У свеклы был противный жгучесладкий сахаринный вкус, и как проглотишь кусок, по телу ползло неприятное ощущение холода. Поэтому есть надо было осторожно, маленькими порциями.

— Дайте, пожалуйста, кусочек, не будьте таким жадным.

Старик в ботинках все клянчил со старческой настырностью.

— Надо было самому рвать, — сказал Ромек. — Вам бы только чтобы кто-то за вас задницу подставлял, как в Варшаве, так ведь? Сами-то боитесь?

— Как же я мог воевать в Варшаве, если немцы меня сразу увезли?

— Идите, идите, папаша, работайте, вкалывайте и дальше, тогда мастер Бач, может, и даст вам корку хлеба, — с издевкой сказал я и, видя, что он не уходит, не в силах оторвать взгляд от хрустящих пластинок свеклы, которые мы небрежно жуем, раздраженно прибавил: — Послушайте, папаша, свекла вредна для

желудка. В ней слишком много воды. А вы враз съедаете целую. Ноги у вас не болят?

— Да нет, болеть-то не болят, только вот опухли немного, — оживляясь, сказал старик и подтянул вверх облепленные грязью полосатые штанины. Из покрытых глиной, некогда щегольских ботинок, из невероятной путаницы тряпья и лохмотьев торчали отекавшие, болезненно белые, с синеватым отливом голени.

Я наклонился и пальцем надавил на кожу. Диверсант равнодушно ударял киркой по земле. Чьи-то опухшие ноги его никак не волновали.

— Видите, папаша, палец входит в тело, как в вымешенное тесто. А знаете, почему? Вода тут, одна вода. Когда от ног дойдет до сердца, тогда капнут. Ничего нельзя пить, даже кофе. И зелень, понятное дело, тоже нельзя есть. А вы свеклы хотите.

Старик критически посмотрел на ногу, потом поднял на меня глаза, в которых застыло безразличие.

— Я дам кусок хлеба, только за целую свеклу, — беззвучно проговорил он и вытащил из кармана завернутый в грязную тряпицу хлеб, примерно половину утренней пайки, как я молниеносно и профессионально определил.

Диверсант оперся на кирку, а другой рукой подбоченился.

— Видите, папаша, вы как всегда. Каждый день все та же песня. Надо было сразу достать хлеб, а уж потом трепаться. И подумать, с самого утра терпите, — прибавил он со смесью презрения, одобрения и зависти.

— А что ж, когда надо. Свеклой, по крайней мере, кишки набьешь. Давайте поскорей,

на работу надо. Болтаем, болтаем, а там другие за меня копают.

— Хлеба даете с ноготок, а свеклы хотите с целый кулак, — для приличия сказал Ромек. — Ну ладно уж, пусть так, только чтоб не приставали.

Он взял хлеб, положил его в нишу, потом, вытащив из кармана куски свеклы, сложил их в кучку, наглядно показывая, что обмана нет, что свекла тут вся целиком, как была, и вручил ее старику, который, собрав куски свеклы в полу куртки, быстро удалился и исчез за поворотом рва, волоча по земле лопату. Тогда Ромек вынул из ниши хлеб, справедливо разделил его на две совершенно равные части и дал мне одну. Оба мы начали жевать, старательно перемешивая хлеб со слюной и неторопливо глотая. Под конец Ромек вынул из кармана две мятые, вялые сливы. Хитро улыбаясь, он бросил мне одну. Я поймал ее в воздухе.

— Запомни, надо иметь терпение и беречь жратву к должному часу. Сливы я нашел, когда мы утром ходили за инструментами на склад. Если бы я мог хлеб вот так придерживать... А ты сразу бы их съел.

— Понятно, съел бы, — согласился я. Не сговариваясь, мы снова взялись за работу по прежней системе. Он нагибался над киркой, разбивая остатки упавших с насыпи комьев, а я подпирал нишу, в которой, казалось, было потеплее, чем на середине рва, — может, потому, что надо рвом дул ветер, а здесь над головой земляца, вроде крыши.

— Знаешь, когда я в Освенциме получал посылки, так сгущенное молоко я выпивал сразу, — сказал я мечтательно. — Никогда не

умел делить. И тут всю порцию сразу съедаю. Ты когда видел, чтобы у меня был при себе хлеб? Раз-два, поел, выпил немного кофе, только чтоб не перепить, и стой целый день с лопатой. Главное, не перерабатывать.

— Самая лучшая система — не носить еду в кармане. Что в желудке, того и вор не украдет, и огонь не сожжет, и налога не спросят, а кто еду делит, перебирает, мусолит, тот быстро сдохнет. Это еврейская система.

— И варшавская, — прибавил я, подумав о только что совершенной сделке.

— И варшавская, — согласился бывший диверсант.

Ромек воткнул кирку в землю и оперся о стенку рва. Ров был узкий и непропорционально глубокий. От влажной земли исходил трупный запах гниющей травы. По одну сторону рва возвышалась насыпь, за насыпью было свекольное поле, а дальше тракторы, цепь охраны и лес. По другую сторону был луг, на котором там и сям росли дикие сливы. Сливовые деревья тянулись до самой деревни, лежавшей совсем внизу, даже ниже ванны. От нас была видна верхушка церкви, высившейся посреди деревни над водопадом — к осени воды в речке прибыло, — да красные крыши домов, спускавшихся все ниже и ниже. Дальше по склону холма подымался молодой ельник. За лесом располагался наш небольшой, недавно основанный лагерь, в котором за два месяца умерло три тысячи человек. Из леса выходила белая лента дороги, исчезая в деревне и снова выныривая среди слив.

Издали, пересекая луг наискосок, от дороги шел мастер, на мокрой зелени трав выделялся

ярко мундир Трудовой Армии Тодта. Он был большой специалист по прокладке водопроводов, переноске рельсов и погрузке мешков с цементом, а также замечательный, даже освенцимскими узниками не превзойденный добытчик всяческой еды в окрестных деревнях. О своих людях — а было нас у него двадцать душ — он заботился. Собирал каждый день у своих товарищей хлебные корки и раздавал тем, кто усердней работал.

Я схватил лопату и принялся энергично выбрасывать горстки земли. Бывший диверсант взял кирку и, отойдя от меня на несколько метров, чтобы не стоять рядом, поднял кирку высоко над краями рва и дал ей упасть вниз силой собственной тяжести.

— Кажется, ты что-то начал говорить о рве? — вспомнил он, когда молчание опасно затянулось. Надо было разговаривать весь день, тогда терялось ощущение времени и не было повода предаваться вредным мечтам о еде. — Ну, давай рассказывай что-нибудь! Как там было? — И он опять махнул киркой, очень стараясь, чтобы она блеснула над рвом.

— А видишь ли, мы вот копошимся, роем землю немцу на пользу то в Силезии, то где-нибудь под Бескидами, то в Вюртемберге, то опять же где-то у швейцарской границы, то, глядишь, кто-то из товарищей помер, то новых пригонят, и так, браток, идет по кругу. И конца не видно. А уж когда настанет зима...

— Помолчи-ка. Приложи ухо к стенке, услышишь, как земля гудит от артиллерии. Бахают там на западе, бахают...

— Да уж с месяц так бахают. За это время поумирало у нас немножко народу, навез-

ли мы извести, кирпичей, цемента, рельсов, железа и чего там еще, выкопали рвы, ямы, проложили пути железнодорожные — ну и что? Голод и холод все сильнее. И все чаще дождь льет. Раньше я еще как-то держался надеждой вернуться, но теперь — к кому возвращаться? Может, они тоже где-то вот так копают ямы, как эти наши повстанцы. А хоть бы и не копали, все равно думаешь — сумеешь ли жить? Ты или будешь вечно бояться невесть каких ужасов, или станешь тащить обеими руками где только можно, потому как — во что теперь верить? Что говорить, я уже с утра думаю о еде. И не о каких-нибудь яствах роскошных, о которых в романах пишут. Нет, просто досыта поесть хлеба да потолще бы слой масла на хлеб.

— А я не думаю о том, что будет, — жестко сказал диверсант. — Главное дело, выжить сегодня. Я хочу вернуться к жене, к ребенку, отвоёвался уже. И тебе уж наверняка будет лучше, чем сейчас, разве нет? Или ты, может, хотел бы вот так жить до конца? — И он издевательски засмеялся.

— Маши, маши киркой, — напомнил я, — над рвом мастер стоит. Разве не видишь?

Делая вид, будто поглощены беседой и его не замечаем, мы усердно работали. Я честно выбрасывал полные лопаты на самый верх насыпи, крихтя от напряжения. Мастер Бач немного постоял над нами, заложив руки за спину, поглядел как бы с недостигаемой высоты и медленно пошел вдоль рва, поблескивая черными высокими сапогами. Подол солдатской шинели у него было здорово заляпан грязью.

— Эй, капо, капо, — крикнул он мне, оста-

новясь над группой повстанцев. — А ну-ка, иди сюда! Почему этот человек лежит на земле? Почему не работает?

Мастера называли «капо» всех, кто говорил по-немецки. Это сильно смешило старых освенцимских узников и даже, правду сказать, огорчало — капо это все ж капо.

Я побежал по рву. За поворотом, скорчившись, сидел на земле старик, тот, что в грязных, когда-то щегольских ботинках, и стонал, держась руками за живот. Мастер нагнулся надо рвом, заботливо, но все же на расстоянии заглядывая узнику в лицо.

— Больной? — спросил он.

В руке он держал что-то завернутое в газету.

На смертельно бледном лице старого повстанца выступили редкие капли пота. Глаза были закрыты. Веки то и дело вздрагивали. Видно, ему было жарко, потому что он расстегнул ворот. Из-за пазухи вылезла солома и торчала у самого лица.

— Что, папаша, вам, должно быть, свекла повредила? — сочувственно спросил я.

Его товарищ с киркой, тот, что в картонной крышке, окинул меня ненавидящим взглядом и, коверкая слова, сказал мастеру Бачу:

— Krank. Он больной, больной, — повторил он с нажимом, надеясь, что мастер его поймет. — Hunger, verstehen?¹

— Ну что ж, совершенно ясно, — торопливо доложил я. — Нажрался свеклы и теперь живот схватило. Только недавно приехал в ла-

¹ Голод, понимать? (искаж. нем.)

герь, не знает, что овощи есть вредно. Обжорство да голод — ничего тут не поделаешь, господин мастер.

— Свекла? С того вон поля? Так? О, это очень плохо. Klauen¹, правда? — Мастер Бач сделал международно понятный жест, будто украдкой что-то прячет в карман.

— Он этого не может, — сказал я с высокомерным пренебрежением. — Он каждый день покупает свеклу на хлеб.

Мастер Бач понимающе кивнул головой, печально глядя сверху на повстанца во рву, будто из другого мира. Товарищ старика, тот, с картоном, беспокойно зашевелился.

— Скажи ему ты, может, беднягу отнесут в лагерь, он же болен, тяжело болен.

— Тяжело болен? — с удивлением переспросил я. — Мало вы еще в жизни повидали. Время есть, еще не вечер. Вы что, дитя малое? Не знаете, что ни один охранник теперь не уйдет отсюда? Первый день, что ли, в команде? И снимите, бога ради, этот картон, а то еще кто-нибудь вам удружит. Я уже говорил раз. Опять скажете потом, мы-де злые люди, вас не предупреждаем.

И я пошел к своей лопате. Диверсант, пользуясь тем, что мастер был занят чем-то другим, спокойно сидел на корточках в нише, удобно опираясь на кирку. Когда я взялся за лопату, он вылез из ниши и тоже занял рабочую позицию.

— Старик? Да? — спросил он без особого интереса.

— И до вечера не протянет, — ответил

¹ Таскать (нем.).

я. — Я таких уже не одну сотню повидал. Ноги опухли, понос, а теперь еще свеклы обожрался. Ничего хорошего его не ждет.

— Опять одним меньше... Я же его не уговаривал сюда ехать. Могли бы оборонять свою Варшаву, раз начали. Правда?

— Известно, могли бы. Их же, когда они ехали в Освенцим, никто не охранял. Они думали, на работу. Вот и дорвались до работы, как мужик до зельтерской.

От злости я выкинул на насыпь большой ком земли, даже черенок лопаты прогнулся.

— Чего тебе за него огорчаться. Кто хочет служить немцам, так ему и надо, — сказал диверсант. — В Освенциме они кричали: мы, мол, не политические, и каждый третий хвалился, что у него дядька фольксдойч, а здесь им опять плохо, еды, вишь, мало дают. Всего шесть недель как приехали и уже хотят по три миски супа получать!

— Ты что, сегодня много съел, больше одной порции? — спросил я с любопытством. Еда была лучшей темой в минуты душевных потрясений.

— Что я там ел! — возмутился бывший диверсант из-под Радома. — Вчера это было. Утром была порция хлеба и — что к хлебу было?

— Маргарин и сыр, — подсказал я.

— Да, маргарин и сыр. Целый день потом — ничего. Под вечер мы продали свеклу евреям. Досталось полпайки на двоих. А вечером еще суп за твою метлу. И потом получил еще суп на кухне за то, что относил котлы.

— За мной зайти не мог? — с сожалением спросил я.

— Нет, я должен был съесть на кухне. А сегодня, — продолжал он, — утром пайка, кусочек маргарина тридцать граммов, да несколько слив, потом вот этот хлеб и немного свеклы. Вот бы еще...

Он запнулся и взял кирку. Над нами молча стоял мастер Бач. С симпатией глядя на нашу дружную и умелую работу, он бросил нам сверток в газетной бумаге. У наших ног рассыпались хлебные корки.

— Об этом-то я и подумал, — бодро высказался Ромек.

И, размахнувшись, занес кирку над головой, стараясь, чтобы она блеснула над краем рва, между тем как я поспешно нагнулся к земле.

БИТВА ПОД ГРЮНВАЛЬДОМ

I

По большому, залитому солнцем двору бывших эсэсовских казарм, как по дну глубокого колодца, среди каменных стен, глухо, решительно отбивая шаг по бетону, шел Батальон и пел. Руки в зеленых рукавах мундиров, унаследованных от эсэсовских солдат, энергично подлетали к поясам и падали вниз в единомышленном гневном жесте, словно это не Батальон маршировал, а шествовал уверенный в своей силе и охрипший от пения один, во много крат увеличенный человек. Только полосатые ноги Батальона, кое-где пестревшие светлыми пятна-

ми войлочных шлепанцев, нарушали военную четкость картины.

Батальон, с птичьего полета похожий на трех зеленых гусениц с полосатыми, складчатыми спинами и неподвижным туловищем, чинно сделал круг по двору, придавленному дрожащим столбом солнечного света; миновал колонну высоких американских грузовиков, которые вытряхивали из своего нутра, как из мешка с тряпьем, пеструю мешанину людей и пожитков; чуть более старательно утоптал бетон возле стройной, свежоокрашенной мачты, поскольку ветер трепал на ней, как на удочке рыбака, двухцветную тряпку национального флага; расслабился возле кучи бревен и оплывающих хвоей стволов молодых сосенок, возле скамей и стульев, приготовленных для вечернего костра; резко повернул у некогда застекленного зала, где еще недавно происходили патриотические эссовские сборища; захрустел сотнями подошв по осколкам тщательно выбитых оконных стекол; на полуслове прервал пение и, как в туннель, углубился в мрачную пасть зала, отгороженного от двора ярким солнечным сиянием и мясистой, потемневшей зеленью свежесрезанных веток. Ослепительно белый шлейф пыли, тащившийся за Батальоном, загнулся у входа в зал, потемнел, приник к земле и, подхваченный внезапным порывом ветра, разбух, раздался, взлетел в воздух и бесследно рассеялся.

Уткнувшись подбородком в колени, я сидел на твердом, узком подоконнике окна четвертого этажа в одной из стен колодца и грелся нагишом на солнце, как запаршивевший пес, — наконец, сонно потянувшись, я благодарно зевнул и отложил в сторону утащенную в офицер-

ской комнате книгу, повесть о героических, веселых и похвальных похождениях Тиля Уленшпигеля и Ламме Гудзака.

— Солдаты! — сказал я, поворачиваясь лицом в помещение, чтобы выставить на солнце спину. — Батальон промаршировал в храм на молебен, который правит архиепископ. Вы хорошо исполнили свой долг перед Родиной, которая всегда и везде находится там, где находитесь вы. Разрешается продолжать спать.

В комнате нашей, прямо сказать, по-солдатски воняло застарелым, соленым потом немых мужских тел. У давно не беленных стен, украшенных благочестиво-патриотическими гитлеровскими изречениями, стояли два ряда железных двухэтажных коек; по середине тянулись столы из грубоотесанных досок, а под ними были разбросаны несколько табуреток и одинокая, жалкая, как заблудившийся ребенок, эмалированная плевательница. В воздухе тонко жужжали откормленные, ленивые мухи и тяжело дышали разоспавшиеся люди.

— И как же они маршировали? Как солдаты? На учениях-то шаркают, будто доходяга по луже, — подал голос юнкер Колька, спавший возле двери.

Огромного роста, жилистый, он не умещался на узкой и короткой койке. Хотя при дележе немецких форм он разругался с офицерами и решил бойкотировать армию, Колька никогда не снимал суконный мундир, лежал в нем весь день в постели, задыхался от жары, колотил подкованными сапогами о железную спинку, и при каждом его движении густо сыпалась из прогнившего матраца солома на нижнюю койку, на мое логово. Прыщавое лицо Кольки было неиз-

менно обращено к окну — бессмысленно глядя на узкий подоконник, он жадно вслушивался в пение и топот Батальона...

— Польская пехота марширует отлично, когда польские офицеры ведут ее к славе Родины! — провозгласил я, соскакивая с подоконника. Спина разогрелась у меня так, будто ее кто-то скреб раскаленными иголками. — Шесть лет в лагере по пятеро топали, теперь два месяца отдохнули и опять топают, слава богу и Родине, по четверо, а вместо капо — во главе идут офицеры. Учить маршировать — это они могут, но чтоб повара из кухни жратву не выносили еврейкам, этого не дожидаться, — прибавил я, бесстрастно глядя в пространство.

— Это ты в мой огород камешек бросаешь, если я правильно понял, — злобно огрызнулся хорунжий, который читал немецкую книжку о Катыни и, сняв роговые очки с носа, заморгал, глядя на меня сонными глазами близорукого. Он упорно ходил в узких, идеально чистых плавках, красуясь узлами выпуклых мышц. С ног до головы все его тело было покрыто поблекшими узорами татуировки, как закопченная глиняная миска. На правом бедре устремлялась к паху жирная, криво нарисованная стрела и надпись красной краской недвусмысленно указывала: «Только для дам».

— Кому дежурить на кухне, тот пусть смотрит, чтоб не крали. Пусть бы хорунжий следил, чтобы повар мясо не тащил да жидовок не кормил, — заметил стоявший у двери Стефан, который учил английский и вечно шепотом повторял слова. Он бросил книгу на стол и, стуча о каменный пол башмачищами, подошел к окну. — Опять эти сукины дети готовят на углях, — ска-

зал он, высунув голову в окно. — Есть же у них электрическая плита, котлы и все, что для нас нужно, так что же они на огне готовят? Ясное дело, обед для офицеров. Все мы вроде лагерные мученики, товарищи-братья, да только чтобы на молебен маршировать, не к котлу. А как тебе нравится наш контролер, который об этом знает и книжечки с картинками почитывает? Небось Полковнику в задницу без мыла лезет, чтоб вылезти подпоручником¹.

Я прыснул коротким одобрительным смешком. Хорунжий подскочил на койке, ударился головой об острый край верхней койки, грязно, по-матерному выругался, погладил себя по редким жестким седым волосам и с отвращением сказал:

— Не цепляйся ко мне, ты, большевистский поскребыш, пока я к тебе не цепляюсь. А ежели тебе что-то не нравится, вон из армии. — Соски на его груди, украшенные парой ушей и синими точками, изображающими глаза, судорожно дрожали, как заячья мордочка. — Крадут, крадут! Не поймал, так нечего брехать. Хороший пес не лает, а схватит и кусает.

— Вот именно, пан хорунжий, вы и кусайте. Вы-то уж точно цепной пес. Вас Полковник на поводке держит. Гав, гав! — хрипло залаял Стефан и злобно прижмурил маленькие, выпуклые глазки. Между нервно скривившихся губ блеснули зубы, ровные и белые, как у собаки. Он ходил вдоль столов, весь напряженный, будто привязанный к будке.

Хорунжий медленно поднялся с койки. Юн-

¹ Хорунжий — чин польской армии, соответствующий младшему лейтенанту; подпоручник — лейтенанту.

кер Коля с любопытством повернулся и вынул кулак из-под головы. Матрац захрустел, и солома посыпалась на нижнюю койку. Я досадливо нахмурил брови.

В это время больной Цыган, которого я чуть не убил в борьбе за лучшее место в вагоне эшелона в Дахау, удивленный внезапной тишиной, со стоном приподнялся на своей койке.

— Ох, люди, люди вы беспокойные, опять поколотить друг друга захотелось? — заскулил он, горестно шмыгнув носом. — Мало вам того, что беда вас колотит? Только наш брат, поляк, он всегда дурной. В ложке воды готов брата утопить. — И он припал синим, изможденным лицом к подушке, вышитой красными маками, которую принес из ночного рейда к бауэрам. Уже несколько дней Цыган мучился от сильного расстройства желудка. Нажрался сырой баранины. Лежал все время неподвижно, как больное животное, предпочитая издохнуть, чем идти в госпиталь, — запомнился ему лазарет в небольшом лагере Даутмерген.

Хорунжий, выпрямившись, сел на койке. Педантично поправил завернувшийся угол простыни — кстати, единственной в этой комнате. Он нервно перебирал пальцами ног и вдруг схватил книгу, шумно перевернул несколько страниц и стал тупо всматриваться в снимок могил в Катыни.

«Нет, скандала не будет», — разочарованно подумал я и перегнулся через подоконник.

У каменных стен казарм, на узких полосках газонов, между раскиданными кучами гниющих отбросов, отравляющих вонью весь двор, тянулись вверх хилые молоденькие клены и густо кудрявилась тут же, над бетоном, цветущая крас-

ными цветами живая изгородь. Выше, над деревьями и живой изгородью, в длинных рядах совершенно одинаковых окон, кое-где висели на веревках разноцветные лохмотья рваного белья и крутились на шпагате свежеекрашенные деревянные шкатулки, вывешенные на солнце, чтоб просохли.

В первом этаже, где жило начальство, шел ряд венецианских, аккуратно застекленных окон, утопавших снизу во влажной тени, а наверху — в лучах солнца, словно в золотой краске. Из первого и остальных этажей, даже под самой крышей, неумоимо драли глотку хриплые радиоприемники.

За воротами, охранявшимися чужими солдатами, двигались по автостраде колонны машин, непрерывной узкой струйкой тянулись велосипеды, мелькали среди буйных, прочно сидящих в земле платанов яркие летние платья.

Там, собственно, и находился мир, в который отпускали за хорошую маршировку, за четкий рапорт, за уборку коридора, за лояльность, за несгибаемость, а также за любовь к Родине...

А в средней части здания, на третьем этаже, там, где были кухни Воинского Соединения «Аллах», из узенькой, коричневой от ржавчины трубы, небрежно просунутой в форточку, — тихонько вился нежный голубой дымок, и его тоненькая, трепетная ниточка застенчиво таяла в воздухе.

— Хорошо, братцы, на свете живется, — вздохнул я с притворной грустью, — да вот беда: сидишь взаперти, как у немца, пропуск на волю тебе не дают, потому как не умеешь ты подлизываться, и через дырку в стене не выйдешь,

пристрелят — известное дело, Häftling¹. А как тут высидишь? Если кому-то сынок барана принесет или немку приведет, тому сидеть не так плохо. А нам-то? Сидишь — и голодно тебе, и до дома далеко. Если б хотя не крали! И то было бы полегче — у всех судьба одна... Но мы еще посмотрим, посмотрим...

Говоря это, я не сводил прищуренных глаз с хорунжего. Тот беспокойно поежился на койке, губы его зловеще дергались. Однако он ничего не сказал. Достал из шкафчика мундир и стал одеваться, слегка посапывая носом. Губы его были сжаты, глаза опущены.

— Пан хорунжий собирается, верно, на грюнвальдский молебен? — равнодушно спросил Колька, лежавший в другом конце комнаты.

— Нет, пан юнкер. Пойду на кухню проверить. Но если ничего не найду... — злобно проворчал тот сквозь стиснутые зубы.

— Найдешь, пан хорунжий, найдешь, — нараспев отозвался Стефан. — Ты только смотри, чтоб сынка твоего не поймали, тогда кто кормить тебя будет? Полковник барашка не принесет.

— А ты, Тадек, — юнкер Колька перекинул ноги через спинку койки, — не пойдешь на «Грюнвальд»?

— Что-то не хочется. Может, на представление пойду.. Кажется, готовят для костра какие-то сюрпризы. А на молебне что интересного?

— Иди на молебен, — лениво уговаривал Колька. Он засунул руки в штаны и с чувством почесывался. — Иди на молебен, потом мне бы рассказал, пану редактору в газетку написал.

¹ Заключенный (нем.).

Может, он тебя гуляшом угостит? Сегодня на обед гуляш.

— Он и так угостит. Каждый день дает мне суп.

— На девушек посмотрел бы... А Архиепископа разве не хочешь увидеть?

— Что между нами общего? — я театрально развел руками. — У нас настолько различный жизненный опыт! Он всю войну был где-то там, в высших сферах, известно — героизм, и Родина, и немножко бога. А мы жили совсем в другом мире, где брюква, клопы и флегмоны. Он наверняка сыт, а мне есть хочется. Он на сегодняшнее торжество смотрит с точки зрения Польши — а я с точки зрения гуляша и завтрашнего постного супа. Его жесты будут мне непонятны, мои — слишком для него обыденны, и оба мы друг друга чуточку презираем. «Грюнвальд»? Чем плохо мне здесь, на подоконнике? Солнышко припекает, муха жужжит, с соседями поболтать приятно, — я поклонился в сторону хорунжего, — и все видно, как в театре. Впрочем, — деловито прибавил я, — представление еще не началось. Пока лишь генералитет чинно и с достоинством шествует на богослужение, и над генералитетом реет дымок и запах готовящегося для них обеда.

Во главе шагал Полковник в мундире, скроенном местными портными на английский фасон из сукна цвета увядших листьев. Сверху, в резком ракурсе, Полковник был похож на массивный чурбан с отполированной солнцем головой и негнушимися ногами, шагал он с достоинством, глядел прямо вперед, усердно чеканя армейский, энергичный шаг. Рядом шел Майор, облаченный в девственную зелень немецкого офи-

церского мундира. Майор размахивал руками, обращаясь к Полковнику, видимо, что-то ему красноречиво объяснял — может, о подрывных элементах в Воинском Соединении «Аллах». За ними, как орава непослушных детей за учителем, двигалась невыразительная масса зеленых и черных курток, жестикулирующих рук, над которыми подскакивали красные головы в пилотках, обильно испещренных цветами национального флага.

— Жаль, что немцам не удалось их изничтожить! — Стефан задумчиво оперся о подоконник, со злостью глядя на двор. Его черные, стоящие торчком волосы лоснились, как собачья шерсть. — Эти уж до конца света останутся. Польша, Польше, для Польши. Только бы подальше от нее быть да по две миски супа получать! Какой я был дурак, какой дурак! — Он отшатнулся от подоконника и плоской ладонью ударил себя по лбу. — Я же все видел, я держал этот сброд в своем блоке, кормил их, рисковал ради них, крал для них жратву у дурных цыган.

— Не хвались ты, что в блоке старшим был! — резко перебил его юнкер Колька, Стефан даже повернулся лицом в комнату. — Мы же с тобой в одном лагере были. Если ты и крал, так для себя масло и хлеб, а для них, самое большее, баланду.

— А кто им места давал в блоке? Чистые нары, чистые одеяла, хорошо набитые сенники? Этого мало? Разве в рабочей команде они бы выжили?

— Да, воздух стал бы чище, кабы они подошли! — спокойно заметил я, с интересом слушая, как Стефан, бывший мой товарищ, санитар

из Биркенау, а потом посыльный, эсэсовский пипель на небольшом лагерном пункте, человек, от которого я однажды, за то что недостаточно быстро уступил ему дорогу, здорово схлопотал по морде, наконец, старший в самом богатом, привилегированном блоке, из которого суп котлами и хлеб целыми буханками отправлялись в лагерь в обмен на сигареты, фрукты и мясо для старшего, слушал, как этот самый Стефан теперь хвалится, что спас жизнь несколькими польским офицерам, участникам восстания, которые теперь, мол, не хотят ему дать досыта супа в виде благодарности.

— А помнишь, — продолжал он сокрушенно, — как вел себя Полковник в «Аллахе»? Принесли ему мельничку для кофе, он выклянчил у кого-то немного пшеницы, уселся на нарах и хоть бы хны — только знай мельничку крутит да лепешки печет. Тут, понимаешь, мир рушится, артиллерия эсэсовская по лагерю лупит, какие-то женщины обгорели, деревни вокруг в огне, ребята пошли с ножами грабить, американцы приближаются, все с ума посходили, народы братаются, войне конец! А у этого — мельничка, лепешки да в сортир бегают. И такой уж важный заделался, как...

Вскинув обе руки, я его остановил. Стефан, оторопев, умолк. Тогда, пользуясь моментом, я патетически продекламировал:

Разобрались все по чину,
брат, ликуя, обнял брата.
Вертит ручку, мелет мучку
наш Полковник, пан Курьята.
Съел вторую миску супа:
вот теперь я точно в силе,
я готов служить Отчизне,
только чтоб меня кормили.

Эй, Полковник, цель рази!
Эй, Полковник, знай мели!
Воевал чтоб ты получишь,
полк и казино получишь
и за каждую победу
супа полведра к обеду!

— Так оно и было, прав Стефан, — подтвердил я. — Это мои стихи, пан хорунжий. Недурно, правда?

Хорунжий уже был застегнут на все пуговицы. Он посмотрел на меня на диво спокойным взглядом.

— Удивляюсь я вам, а еще интеллигент! — с укоризной сказал он. — В такое время такие дурачества... Когда первая заповедь — всем держаться дружно и не склоничать! Склоки губят нас! Из-за них мы погибаем.

— Вы про Катынь? Про Катынь? Вам их жаль, пан хорунжий? — с издевкой выкрикнул Стефан, становясь против хорунжего. — Вы, пан хорунжий, книжечек читались, супу поели, немочку пощупали, так вам согласия хочется... Вы про Катынь?

— Конечно, про Катынь, ты, ублюдок! Ты знаешь, что это означает? Это твои дорогие родственнички с Востока, твоя Польша, гадина ты паршивая! — вдруг взорвался хорунжий и тоже подошел к столу. Костлявыми пальцами он вцепился в почерневшую столешницу так, что ногти налились кровью.

— Что, не нравится вам Польша, правда, не нравится? Вы, пан хорунжий, хотели бы другую. Чтобы вы в ней знамя носили, знамя, да? Чтобы сыночек ваш мог по ночам за барашками ходить да девочек вам приводить? Хороша была бы ваша Польша, блевать хочется!

— А ты в свою иди, ты! — прошипел хорунжий сквозь зубы. Побелевшие его губы дрожали. — Никто тебя здесь не держит. Шпион!

— А вы не беспокойтесь, я пойду, — сладко пропел Стефан, — время у меня есть. Только на вас еще чуточку погляжу, чтоб запомнить. Пойду и вас буду ждать, ох, буду!

Юнкер Колька тяжело сел на койке и свесил ноги вниз, осыпав мое логово целым возом мусора. Он весело махнул мне рукой, постучал себя по виску, изобразив гримасу идиота. Темнолицый Цыган болезненно застонал на своей подушке в красных маках. Я улыбнулся Кольке и в ответ ему потряс головой, словно пробуя, не заплещется ли там вода.

— Иди в свою Польшу, к тем полякам, которые Катень устроили, иди! — кричал хорунжий, багровый от гнева.

Он схватился за стол, с грохотом опрокинул его и кинулся душить Стефана.

В застекленном, украшенном свежесрезанными ветками зале серебристо прозвенел колокольчик: собравшаяся перед залом толпа устремилась внутрь, одновременно из парадных дверей комендатуры, украшенных красно-белыми флагами, вышел священник в фиолетовом облачении и, окруженный плотным кольцом духовенства в черном и в зеленом, тоже прошествовал в зал.

— Да ну вас, прекратите! — визгливо выкрикнул я и побежал помочь Кольке разнимать дерущихся. — Бросьте драться, сукины дети! Архиепископ идет молебен служить!

Архиепископ отвернулся от алтаря. У его ног серебрились над спинками кресел седые головы офицеров. Среди офицеров в первом ряду сидел неподвижный, как монумент, Председатель Комитета. Массивная бычья голова его с короткой стрижкой возвышалась над белоснежным, отложным à la Словацкий воротником и благочестиво тянулась к алтарю. Рядом был Полковник, а дальше сидел в картинной позе Актер. Ему было неловко в краденном штатском костюме, слишком просторном и отутюженном, он беспокойно крутился на стуле и вопросительно сверкал очками в сторону публики, поджимая губы и поглаживая мясистые щеки. Рядом с ним в карминовом платье расплылась на коричневом плюше кресла Певица, о которой сплетничали, что в голодные дни перед концом войны с нею переспал весь Дахау. Теперь же (продолжала сплетня) с ней спал Актер. На ее коленях лежал американский картонный шлем. First Lieutenant¹, подлинный комендант лагеря, положив ногу на ногу, равнодушно жевал резинку и, непривычно для нас сияя брильянтином, тупо взирал на бедра Певицы.

Густая толпа стояла за креслами, плотно облепила окна зала, благоговейно глядя на березовый крест, на вырезанных из бумаги орлов, пришпиленных к большим национальным знаменам, сшитым из простыней, на распахнутые двери, в проеме которых раскачивался плющ и сияло безоблачное небо, глядела и молчала. Рядом со скамьями неподвижно стоял Батальон.

¹ Старший лейтенант (англ.).

— Как прочтешь «Уленшпигеля», верни мне, — прошептал Редактор. — Придешь к нам на гуляш? Учти, мы в театр рано уйдем, — он стал на одно колено и ударил себя кулаком в грудь.

— Приду, — горячо уверил я его, опускаясь рядом с ним на колени.

Архиепископ посмотрел на толпу у подножья алтаря и слегка кивнул головою. Стоявший до сих пор без дела ксендз из Дахау подбежал и надел ему на голову митру. Архиепископ нетерпеливым жестом поправил ее (видимо, она была ему тесна) и лишь тогда благословил нас, беспомощно разведя руки. Над поспешно склонившимися головами понеслось негромкое бормотанье — он молился.

В противоположном конце бетонного двора, на узкой полоске травы под чахлыми платанами, располагался эшелон, вытряхнутый из американских грузовиков. Весь газон был загроможден вещами, на которые сразу же уселись кормящие женщины, ревушие черноволосые малыши, изнемогающие от зноя, ко всему различные девушки в легких, прозрачных платьицах. Мужчины во взмокших от пота сорочках стояли на страже у тюков, прохаживались вдоль казарм, глаза на зал, а те, что поделови-тей, пошли осмотреть помещения, отданные под жилье для людей из эшелона.

— А, поэт? Вы не на молебне? Сбежали с национального и божественного действия? Не желаете созидать фундамент для древка национального стяга, состоящего из духа погибших и всех прочих?

На куче обвязанных веревками чемоданов, подушек и одеял сидела девушка с необычно

яркими глазами. Вместо креста на шее у нее болтался странный, продолговатый футлярчик, похожий на маленький свисток. Батистовая юбочка облегла сильные, тугие бедра. Красивые ноги мягко лежали на перине. Под ними, придерживая голенищами высоких ботинок чемодан, гордо восседал Профессор и иронически усмехался мне, глядя поверх очков, как через бруствер окопа. Наверно, он заметил, что у меня челюсти задрожали от желания.

— Я выстоял биологически. Теперь я закладываю основы для пути в Польшу. Выйдя из летаргии духа, я вхожу в живое тело нации, — уклончиво ответил я. Мы оба рассмеялись. Оба ведь цитировали самые хлесткие фразы из печатавшейся на стеклографе порнографически-патриотической лагерной газетенки, издававшейся духовенством.

— Эта дама, — Профессор жестом указал вверх, почти коснувшись ног девушки, — как раз и сбежала к живому телу нации. Целый эшелон прибыл из Пльзеня. Они туда перешли из Польши через границу нелегально.

Я вопросительно поднял брови. Девушка в ответ сверкнула зубами и села поудобней на перине. Слишком полные груди заколыхались под блузкой.

— Из партизанских банд? — догадался я. В походах за бараниной я в некоторых домах слышал радио из Варшавы. Между передачами почты о розысках родственников постоянно звучали жалобы на партизанские банды.

— Как раз наоборот. Она из наших, еврейка. Они убежали. Как коровы, которые ищут лучшее пастбище. Залезли к нам, как на запретное поле. А тут, барышня, вовсе черный пар! — Он

откинулся назад, ударил ее по колену и совершенно открыто погладил ладонью икру девушки.

Я протянул ей руку. Она прищурила глаза, возможно, от солнца, которое на миг вспыхнуло в ее глазах.

— А вы его не слушайте. Это досада коровы, которая не нашла лучшего пастбища, хотя обыскала полмира.

— Мы из одного дома, — сказала девушка, — из гетто, — она усмехнулась, словно извиняясь, — и опять встретились в одном и том же доме, — она обвела рукой каменные казармы, — в эсэсовском доме.

— Как будто и не было войны, — желчно добавил Профессор и, довольный собою, громко расхохотался. Он потер морщинистые руки, хлопнул себя по кожаным баварским шортам, сплошь в пятнах, как фартук резника. — Запомните слова о коровах, вы, несостоявшийся поэт! — добавил он и стал разглядывать свои волосатые колени.

— Чтобы искать лучшее пастбище? — донесся с перин голос девушки. Кончиками пальцев она взъерошила Профессору волосы. Я иронически поджал губы, поймав ее искоса брошенный взгляд.

— Вовсе нет, — с досадой возразил Профессор. — Чтобы занять собственное пастбище. И не быть послом своего стада на чужих лугах.

— Где же наш луг?

— В Палестине. В тюрьме Акко, в землях Иерусалима. Я там просидел полгода за нелегальную эмиграцию. Во время войны, ха, ха, ха! — громогласно расхохотался он, встал и, ничего больше не сказав, пошел через бетонный двор к

залу. Оттуда после закончившегося богослужения изливался поток людей, с шумом заполняя двор, будто вода миску. Рой наших командиров, жужжа вокруг Архиепископа, поплыл по направлению к комендатуре и исчез в дверях квартиры Старшего Лейтенанта.

— Вот оно, живое, аскетическое тело нации. Польская омела на немецком дубе. — Я презрительно махнул рукой в сторону площади. — И все же это сила. Потому что мы боремся за идею! А что там, в вашей Польше?

Я все не отходил, жесткие суконные брюки неприятно щекотали мне бедра. Девушка мягко съехала с перин и приземлилась на бетоне, точно кошка, отершись своим телом о мое тело. Слишком пышный ее бюст опять заколыхался под блузой.

— Вы, наверно, думаете, что я бедная пассажирка, сбежавшая из трамвая, в котором половина сидит, а другая половина трясется? Что это из-за короны на орле? Вы же, конечно, знаете польские остроты? Так вот, вовсе нет! — страстно выкрикнула она. — Вовсе не поэтому!

Она энергично схватилась за чемодан. Когда нагнулась, из-под розового платица мелькнули белые ляжки. Люди из эшелона в лихорадочной спешке кинулись заносить свои вещи в казармы. Я схватил два узла и, по-мужски стуча сапогами о бетон, потопал по лестнице наверх. Все время я смотрел в затылок девушке, которая, нагруженная вещами, плелась передо мной. Какие-то ее тетки или опекуны что-то ей визгливо кричали, хватались трясущимися руками за вещи и показывали дорогу.

Мы свалили свой груз в комнате первого этажа и опять побежали за чемоданами, весело

перекликаясь и тихонько поругиваясь. В коридоре я опять столкнулся с девушкой и перехватил ее смеющийся взгляд.

В комнате, которую предстояло заселить на несколько часов, мужчины, загромождая проход, устремлялись к наполовину выломанным дверям, к выбитому окну, к изрезанным ножами двухэтажным нарам. В темном, как погреб, помещении пыль густым облаком поднялась до самого потолка — не вздохнуть. Люди собирали мусор, выбрасывали его через разбитое окно коридора прямо на головы тех, что, расположась на задах казарм, не думая ни о «Грюнвальде», ни о ясном июльском дне, ни о наказании, которым угрожали правила внутреннего распорядка, сидели вокруг бесчисленных костров, щедро сложенных из щепок, отколотых от нар и столов, и стряпали в кастрюльках, котелках, закопченных консервных банках и в трофейных алюминиевых горшках всевозможную еду: мясо украденных в предгрюнвальдскую ночь барашков из стада, каши, супы, компоты, пекли на почерневших, обгорелых железных листах картофельные лепешки и мешали деревянными лопатками бурлящие разноцветные смеси, деловито поддувая огонь. Дым, похожий на густую, грязную, подогреваемую снизу сметану, клубясь, поднимался, лениво плыл над землей, переливался через выщербленную кирпичную ограду на соседний луг, замазывал очертания невысокого леса вдаль на горизонте и, будто кремом, обливал пышные платаны вдоль автострады. Смешанный с дымом запах стряпни резко щекотал ноздри, прямо в желудке ныло. Снизу, из-под слоя дыма, как со дна котла, доносилось бульканье выкриков и брани голодных, готовящих себе жрат-

ву людей. Я оторвал девушку от окна и потянул ее в облицованную белым кафелем умывалку, загаженную остатками пищи и калом, где воняло, как в клозете.

— Вот как вы живете, — презрительно сказала еврейка, подставляя руки под струю воды. — С фасада «Грюнвальд», а на задах стряпня. Я бы и дня тут не выдержала. Нет, не выдержала бы!

— Привыкли бы, девушка, — ответил я, задетый ее словами. — Это пока карантин. Не карцер и не воля. Но потом будет лучше, свободней! Мы — великая сила! Моральная! — вдруг зашелся я в крике. — Однако, — голос мой стал мягче, — люди хотят есть. Человеку надо есть, надо иметь женщину. Столько лет люди были голодными! Столько лет мечтали о той минуте, когда наедятся досыта хлеба, когда впервые обнимут женщину! Это — для человека самое важное! Этого и «Грюнвальд» не перетянет.

Она стряхнула с рук приставшие капли, вытерла ладони о подол юбки, опять мелькнули ее бедра. Мы вышли в коридор. Автоматические двери тихо закрылись за нами. До сих пор их не испортили.

— И после стольких лет лагеря вам не хочется выйти за эти стены? — Она испытующе осматривала меня, будто собаку или кошку особой породы. — Я не говорю о хлебе или, — в ее голосе мелькнул легкий оттенок иронии, — о женщине. Но просто пойти в лес?

— Я боялся, — честно признался я, — ведь они караулят. Продержаться столько лет и погибнуть после войны, нет, это уж чересчур нелепо. Теперь ценишь свою жизнь вдвое дороже.

— Вы боялись! — Она хлопнула в ладоши. — Ах, вы боялись!

— А вас что привело сюда... на чужие луга, если не страх? Вы же сбежали от той Родины? Мираж Запада? Вот вам и Запад! — Я показал рукой на разбитое окно, за которым клубился дым. — Мы все боимся, с тех пор как настал мир.

Девушка издевательски засмеялась. Мы ходили по коридору мимо окон, глядевших в сторону леса.

— И вовсе не страх! Я сбежала от любви. Смешно, ах, как смешно!

Я подтянул сползавшие штаны и скрестил на груди голые руки. Меня смущали прыщи, видневшиеся из-под майки, но мне пока еще не удалось украсть сорочку с воротом.

— Шесть лет я была католичкой, полькой, выучила всяческие заповеди, ходила аккуратно на богослужение и на исповедь. Мать, перед тем как погибла в Треблинке, подарила мне молитвенник. До сих пор стоит перед глазами ее посвящение: «Любимой дочке Янинке в День Первого Причастия. Мама». У меня прежде было другое имя. Я ведь не похожа на еврейку, — сказала она с известной гордостью, ища в моих глазах подтверждения.

Она действительно не походила на еврейку. Волосы у нее были светлые, пушистые, лицо широкое, немного плоское. Только темные, глубокие глаза мерцали тревожно.

— Вы и правда похожи на арийку, — одобрительно сказал я. Ее глаза благодарно просияли. — Это, стало быть, страх. А где любовь?

— Есть и любовь, я была влюблена. В католика. Он был коммунист и не любил евреев, —

наивно пожаловалась она. — Меня-то он очень любил. А я не могла ему лгать. Правда, не могла.

Я посмотрел ей в глаза долгим взглядом, искусно изображая молчаливое сочувствие.

— Как только немцы ушли, он вступил в армию. Было это, кстати, в Седльце. Я написала ему письмо на полевую почту и сбежала. Все было очень просто, ах, как просто!

— Не дожидаясь ответа? — удивился я.

Щеки ее залились нежным румянцем, она прикусила губу.

— Я боялась, что он напишет... — Она запнулась. — Он был как эндек¹. А я... нет, правда, я уже не могла! Не хотела! Пусть меня лучше называют Хайкой, чем терпеть, чтобы поляки от меня отворачивались!

Пробежали, толкнув нас, несколько мужчин и скрылись за поворотом коридора. Во дворе слышались возбужденные возгласы.

Я взял ее за руку. Рука была теплая, мягкая, как кошачья шерстка. Дым вползал через окна в коридор и стлался под потолком узкими прядями вроде паутины.

— Я это хорошо понимаю, — сказал я, чтобы что-то сказать, с трудом подавляя дрожь челюстей. — Вы очень храбрая. Это храбрость страха. Я тоже хотел бы быть таким. — И тут я выпалил одним духом: — А не пошли бы вы со мной прогуляться, только подальше, за лагерь? Там, говорят, сосны пахнут по-летнему, а я еще нигде не был. С ума сойдешь от тоски по про-

¹ Эндек (сокр. польск. НД — Национальная Демократия) — обиходное название членов польских националистических организаций.

сторую, готов идти пешком хоть на запад, хоть на восток. Да жаль оставлять книги, которые я насоби́рал. Впрочем, с вами, — я фамильярно сжал ее руку, — я далеко бы не зашел. Не бойтесь, безопасно.

Я крепче застучал сапогами и одной рукой подтянул брюки. Сухое жесткое сукно жгло, как крапива. В коридорах уже звякали котлы. Приближалось время обеда. Желудок ныл, как больной зуб. Со двора неслись крики. Опять пробежали люди по коридору к выходу и скрылись. Что-то там во дворе происходило.

— Завтра мы едем дальше, — сказала девушка, высвобождая руку. — А куда, бог знает. День в одном лагере, день в другом... Все время новые люди, чужие. Мне тошно от всего этого! — И вдруг чуть не шепотом: — У меня панический страх, что придется ехать в Палестину. Что у меня общего с евреями? Быть еврейкой в одиночестве, для себя — я согласна! Но жить в еврейской деревне, доить коров, щупать еврейских кур, выйти замуж за еврея? Нет, нет! — крикнула она, будто я ее уговаривал. — Может, я сбегу учиться. Но так или иначе, мы никогда не встретимся. Да, — решительно подтвердила она какую-то свою мысль, — мы никогда не встретимся. А жаль. Может, я могла бы в вас влюбиться? — Она усмехнулась, забавляясь выражением моих глаз. — Потому что вы умеете слушать. Как Ромек. Тот, из Седльце, — коротко пояснила она.

Я притянул ее за локоть и грубо повернул лицом к себе. Слишком пышные ее груди почти касались меня. Кровь волной прокатилась по моему телу.

— Мы никогда не встретимся! — дразнила

она меня, и уголки ее рта дрожали. — Но, — она понизила голос, — тем лучше.

А когда я с досадой отпустил ее, она взяла меня под руку.

— Когда же вы хотите пойти прогуляться?

— После обеда, ладно? — горячо зашептал я. — Тогда будет легче, будет смена караула. Пойдем?

Опять по коридору пробежало несколько мужчин. Последний обернулся, поманил нас рукой и, запыхавшись, крикнул:

— Идемте, это надо посмотреть! Миротворческая акция! Армия с винтовками! Революция! — и затопал вниз по лестнице.

Девушка, не ответив мне, бросилась к дверям. Я последовал за ней. Мы сбежали вниз, во двор. Возле входа теснились люди. На середине двора толпа расступалась волнами, с шумом отливая в стороны перед двигавшимися медленно, как лодки, джипами, в которых стояли солдаты-американцы, грозно потрясая винтовками. Вдруг из первой машины раздался выстрел. Толпа зашумела, как стая испуганных уток, ответила враждебным гулом и затихла, с дробным топотом спасаясь в казармы, как в курятник. Тотчас во всех окнах показались встрепанные головы. Из дверей комендатуры выбежал Майор. При виде солдат он остановился как вкопанный, потом тихо попятился к крыльцу, на котором величественно засияла фигура Архиепископа.

Девушка дрожала всем телом. Я привлек ее к себе. Слишком пышный бюст мягко подался под моими пальцами. Она доверчиво прижалась ко мне.

— Быдло, — процедила она сквозь зубы, —

ах, какое быдло! Дорого бы я дала, чтобы убежать отсюда! Убежим! — И она накрыла своими ладонями мои руки. Пустой желудок сжимался и ныл, будто в тесном, жестком сапоге.

— Все из-за поваров, — рассказывал кто-то стоявший перед нами, — это они вызвали американцев. Заважничали там, у котла! Не хотели в полдень навести радио на Лондон! Им, видите ли, шумно, народ под окнами собирается! А особенно один там есть, в первой кухне работает, он еще был поваром в «Аллахе», так он опрокинул на людей миску картошки. Парни и взбунтовались. А надо было без шума все проделать. Схватить его, антихриста, заразу этакую, шею свернуть и — квиты. Да разве от наших поляков толку дождешься? — И он мрачно задумался.

— Тем уже здорово всыпали, — утешил другой, — неделю костей не пособирают. Живыми они из лагеря не вернутся, это я вам говорю.

Все окна в первом этаже были тщательно выбиты. В полутемных комнатах копошились на кучах вещей люди, спасая что можно. От шлемов солдат, охранявших главный вход на первый этаж, отражалось солнце и слепило глаза. Солдаты ждали в нерешительности, а тем временем машины повернули к воротам.

Тут из дверей противоположного крыла казарм появилась плотно сбитая кучка людей — охваченные азартом, как свора собак, они устремились через пустой двор напрямик к комендатуре. Опустив голову, будто готовящийся боднуть бык, впереди шел хорунжий. Следом за ним вплотную топал Стефан. Он держал поперек туловища девушку, которая вырывалась и визжала. Кто-то со стороны подскочил, схватил ее

за ворот, потряс, уgomонил. Подбежали и другие, окружили их и великана Кольку — на голову возвышаясь над толпой, он пинками подгонял мужчину в белом переднике, выкрутив ему руки за спину. Им навстречу ринулись солдаты.

Я прижал мою девушку так, что она вскрикнула. Отогнул ей голову назад, чтобы поцеловать, но она сердито вырвалась.

— Значит, после обеда, — сказал я разочарованно и, растолкав стоявших впереди, выбежал на площадь. — Мои товарищи! — крикнул я ей издали. Она привстала на цыпочках, подняла ладонь вровень с лицом, то ли удивленно, то ли прощаясь. Я присоединился к нашим за минуту до того, как нас окружили солдаты.

— Эй, Тадек, — со смехом прогремел Колька, — поймали-таки вора! Целый мешок мяса захватили на кухне! А в комнате у пана повара немка в постели! Не успел ее выпроводить. Живей, ты, скотина!

И он подтолкнул повара коленом. Повар, увидев солдат, заорал от боли. Один солдат подбежал к Кольке, гортанно залопотал что-то и замахнулся прикладом. Но не ударил.

На крыльце комендатуры, между Полковником и Майором, стоял Архиепископ и смотрел на нас добрыми, усталыми глазами. Губы у него шевелились, точно он молился, но Стефану почудилось, будто он что-то спрашивает.

— Потому что он крал, преподобный отец, крал у товарищей еду для немки! Крал и прелюбодействовал! — выкрикнул Стефан и, гневно сверкая подбитым, окровавленным глазом, толк-

нул девушку на крыльцо так сильно, что она упала на колени. — И радио не дает нам слушать! Ваше радио, — прибавил он с вызовом. — Не из Варшавы, а из Лондона!

III

Комната редакторов была уютно оклеена обоями с идиллическими цветочками. После законных обитателей, офицеров СС, которые либо пали на поле чести в сражении у казарм, либо сбежали к семьям, либо заняли освобожденные места в Дахау, остался лишь массивный двухстворчатый шкаф, чудом не разбитый в щепки «ауслендерами»¹, которые по окончании войны, едва их вызволили из лагеря, хлынули в брошенные казармы, поразбивали все окна, люстры, зеркала в ваннах и умывалках, разобрали до винтика киноаппараты, расколотили в госпитале рентгенаппарат, сожгли в гараже автомашины, мотоциклы и пушки, взорвали в одном месте ограду казарм, чтобы пограбить боеприпасы, изломали наиболее заметную нарядную мебель красного дерева и, загадив с верхом толчки в клозетах, удалились с пением национальных гимнов.

Итак, там стоял шкаф и, кроме него, сколоченный из обрезков досок топчан, прикрытый имитацией тигровой шкуры и заваленный грудой публицистических книг, любовно отобранных из сваленного во дворе мусора, ибо библиотека, равно как госпиталь, аптека кинозал и огромная картотека с документами и фотосним-

¹ Ausländer — иностранец (нем.)

ками многих десятков тысяч эсэсовцев, была разгромлена вдрызг и книги выброшены во двор.

Я сидел, забившись в угол топчана, и бессмысленно разглядывал темное пятно на стене, украшенной невесть откуда взявшимся, поевангельски бородатым Норвидом¹.

За полуоткрытыми дверями в коридоре слышался лязг котла. Здесь, в офицерских апартаментах, даже грюнвальдовский гуляш выдавали без очереди и без контроля. Каждый офицер брал две-три миски про запас, на вечер. Потому что с хлебом всякое бывало, чаще выдавали всего триста граммов. Даже солдатам мало, а уж офицерам!..

В дверь протиснулся Редактор, нежно неся две полные миски, дымящиеся ароматным паром. Одну сунул мне в руки.

— Вот тебе, кушай и расти, — сказал он коротко, но очень внятно. Он выработал себе четкую дикцию, так как был глуховат, да еще жил вместе с капитаном, бывшим газетным корреспондентом в Белостоке, глухим как пень. От них обоих в комнате обычно стояло тревожное жужжанье, будто гудели гигантские шмели.

Я медленно погрузил ложку в гуляш, старательно вылавливая мясо. Я уже не был так страшно голоден. По случаю «Битвы под Грюнвальдом» нам выдали по литру картошки с мясом и подливой.

— А знаешь, я хотел бы жить в комнате, — сказал я Редактору, который, отодвинув машинку и матрицу к окну, уселся за стол и, громко чавкая, принялся уплетать гуляш, — чтобы

¹ Норвид Циприан Камиль (1821—1883) — польский писатель.

я мог разложить свои книги, повесить на ночь брюки в шкаф, ну и вообще спать на кровати. Быть одному в комнате чертовски приятно!

— Или вдвоем! — гаркнул Редактор.

— С твоим другом? — досадливо скривился я.

— Нет, с девушкой. Ты ведь уже подцепил одну из эшелона, я видел!

— Удивляешься? После лагеря, я думаю, давно пора! — Сам-то Редактор попал в лагерь после восстания, прямо от молодой жены.

— Может, я убегу с ней на Запад.

Он отложил ложку и глянул на меня исподлобья.

— Ну, знаешь, — съехидничал он, — ты — и побег! Неужто ты, щенок, бросил бы свои стихи и книги? Не побоялся бы большого мира? А что, если придется поголодать?

Я обиженно отодвинул миску. Повернулся лицом к окну. На изломах выбитого стекла лучи солнца рассеивались радужными, как павлиний хвост, искрами.

— Ну, ну, не огорчайся. — Редактор встал из-за стола и похлопал меня по щеке. — Какими господь бог нас создал, такие мы и есть. А в походе за мясом участвовал?

— Участвовал, — неохотно буркнул я. — Вы могли бы написать о нем. Это же сенсация!

— Настоящие сенсации свершаются без прессы, дорогой мой. К тому же ксендз Токарек не разрешил бы писать. Как-никак мы правительственная газета!

Он отломил кусочек хлеба и обмакнул его в подливу.

— И тебе удалось сбежать?

— Солдаты меня отпустили. С английским

языком всюду выкрутишься. Растолковал «океям», что я ни при чем, оказался, мол, случайно, рассказал, в чем дело. Они только головами покивали. Один даже руку мне пожал.

— Стефана знаешь? — спросил я. — Он был старшим барака в спецзоне.

— Этот коммунист? Да я же был у него в бараке. Он еще был лучше других.

— Подонок, — коротко определил я. — Бил людей, выслуживался перед эсэсовцами, чтобы удержаться старшим и иметь навар. Когда его выпихнули в рабочую команду, ходил сам не свой. Трех дней не сумел продержаться с шиком. Никудышный парень.

Редактор покачал головой. Он наклонил миску и стал пить подливу.

— Можно сказать, — протянул он на виленский лад в перерыве между двумя глотками, — что ты его немножко не любил.

— Но за словом он в карман не лезет, нет! На него кричат: ты, мол, коммунист и бандит, особенно кричал Полковник. А он в ответ: да, конечно, и я бил и крал, для вас же, для полковников и майоров. Но теперь, мол, уже не стал бы бить и красть. Пусть бы они сдохли в лагере, он бы еще им помог. Крику там было, ой-ой-ой!

— Все же, я слышал, его не посадили.

— First Lieutenant предложил ему на выбор: либо карцер, либо вон из лагеря. Иначе он не мог поступить, весь их разговор слышал Архиепископ. Стефан взял немку под руку, попросил у нее извинения, и они вместе ушли из лагеря.

— Прямо при Архиепископе? Ах, подлец! Он же всю армию скомпрометировал. — Редактор облизал ложку, вытер миску бумажкой, бу-

мажку выбросил в окно, миску поставил в шкаф, шкаф аккуратно запер, вытер губы платком, платок сунул в карман, машинку подвинул от окна на прежнее место и лишь тогда, уже направляясь к двери, сообщил:

— Пойдешь на представление. Есть два билета. Януш, — это был его глухой сожитель, — пошел на бридж к Ротмистру. Приехал кто-то из Второго Корпуса, возможно, возьмет нас в Италию. Но об этом молчок! А то все захотят. Они там вместе играют в карты. Им на все наплевать, не только на Архиепископа, но и на представление.

И он вытолкал меня за дверь, забрав из рук книгу. При этом подозрительно смерил меня взглядом. Ужасно не любил, чтобы у него утаскивали печатные издания. Тщательно заперев дверь на ключ, он постучался в соседнюю дверь и нырнул в дым, который застилал комнату густой пеленой, так как окно было закрыто. На грязном полу, рядом со стульями, стояло несколько мисок с недоеденным гуляшом. Наверно, на вечер оставили. Редактор бросил ключ на стол и, ни слова не говоря, вышел.

Во дворе заканчивали приготовления к вечернему костру. Сложили основательный четырехугольный штабель дров, огородив его по сторонам смолистыми кругляшами, на воткнутый посередине столб насадили немецкую каску, а под ним укрепили крест-накрест две сломанные немецкие винтовки без замков. Вокруг костра стояли скамьи, стулья и кресла.

Хотя все с нетерпением ждали костра и вечернего национального торжества, большинство коренного населения казарм — разумеется, кроме тех, кто рыскал по задним дворам, стерег ком-

наты от грабителей или отправился промышлять за пределами лагеря, — столпилось у гаража, в котором был устроен театр. Перед запертыми дверями театра теснилась толпа, с бранью и угрозами напирая на опоясанного шарфом национальных цветов полицейского в американском картонном шлеме. Полицейский, крестом раскинув руки, отчаянно защищал вход.

— Говорю вам, мест нет! Угомонитесь, ребята! Завтра придете. Завтра будем повторять «Грюнвальд»! Все смогут увидеть! — кричал он все более хрипнувшим голосом, пока не дал петуха, тогда он умолк и опустил руки.

Его оттолкнули от входа, сорвали с него национальный шарф и втоптали в грязь. Толпа ринулась к дверям. Двери застонали, но замок не поддавался.

— Ума ни на грош, — со смехом сказал Редактор и потащил меня к тылу гаража, где была маленькая дверь для актеров. Когда мы проскользнули в зал и жестами уладили дело с полицейским, несущим службу распорядителя, я остро почувствовал, что на миг стал как бы офицером.

Мы разместились сразу же за начальством, во втором ряду, на который еще падал со сцены желтый свет. Остальная часть узкого, но бесконечно длинного зала тонула в иссиня-черной тьме, в которой сверкали напряженно глядящие глаза. Снаружи доносились злобные выкрики толпы, штурмующей театр, и скрипели под ее напором железные двери. Никто не обращал на это внимание. Все смотрели на сцену.

Потому что на середине ярко освещенных подмостков, украшенных красно-белыми лентами и живой зеленью и подпираемых снизу чер-

ным ящиком содрогающегося от патриотической мелодии рояля, стояла зарумянившаяся, как дитя на именинах, Певица, красивая блондинка в костюме краковской крестьянки, в венке из незрелых, но уже желтеющих колосьев. Она придерживала юбочку пальцами и невинно поднимала глаза к потолку, к небу.

Вокруг нее в различных позах стояло несколько молодых парней в полосатых лагерных робах, они держали концы лент от ее корсажа. Кое-кого из них я знал: они были писарями в distinguished лагере «Аллах», роботы сидели на них идеально, видимо, были сшиты на заказ еще в лагере. Другие, в рабочих комбинезонах, копошились по краям сцены, возили тачки и носили вокруг Певицы лопаты, кирки и ломы.

А впереди нее, на самом краю сцены, стоял толстый, разгоряченный Актер и, указывая рукой на Певицу, с пафосом договаривал конец стихотворения.

...во имя пресвятой богородицы,
Мы твои дети, Польша, рабочие и работницы!

Страшный грохот выломанных дверей и победоносный рев ворвавшейся в переполненный гараж толпы слились с громopodobным взрывом рукоплесканий и истерическими, патриотическими выкриками зрителей. Когда зал немного утих, а полотнища занавеса снова раздвинулись, чтобы еще раз показать зарумянившуюся Речь Посполитую и ее любовника Актера, с восхищением на нее взирающего, Редактор, который наконец кое-как притулился на краю скамейки, доверительно склонился ко мне и с нескрываемым удовольствием громко брякнул:

— Жаль, что на сцене кровати не поставили! Ох, и хороша Речь Посполитая! С такую стоит согрешить!

IV

— Скажи мне, зачем ты торчишь в этом лагере? Неужели тебя не тянет отсюда на волю? — Девушка участливо склонилась надо мной. Слишком пышный бюст заколыхался под блузкой. В ее беспокойных, мерцающих зрачках я отражался в виде маленького, выпуклого фрагмента самого себя. Приподняв голову, я попытался поцеловать ее влажные, полуоткрытые губы. Она нахмурила брови и уклонилась.

— Да нет, меня уже никуда не тянет, — лениво вздохнул я и сонно опустил на землю, пахнущую прелой хвоей. — Ты же все равно любишь только того, который остался в Польше.

Она прикрыла мне рот ладонью.

Над нами тянулся к небу и шумел сосновый бор. Ветер шелестел, лохматя кору деревьев. Луч солнца, расщепившись в кроне сосны, упал на землю, как оперенная стрела, и воткнулся в бледно-зеленую траву, которая засветилась тонкими золотыми полосками, издавая дурманящий запах лета. От нее исходило упоительное тепло, будто от тела женщины. Заблудившийся шмель, этакий крошечный бомбовоз, загудел над нами и сел на стебель коровяка.

— Карабкается к чашечке цветка так жадно, как лохматый щенок к миске с молоком, — снисходительно сказал я.

— Скорее, как ребенок к подоконнику, — заметила девушка. — Ах, сколько мне их при-

шлось вынырнуть! Ненавижу детей! — выкрикнула она. Спугнутый шмель улетел с сердитым гудением. — Пошли, — вдруг решила она. — Уже поздно. Видишь, сосны как потемнели. Четыре часа? Пять? — Она посмотрела наверх, на вершины сосен, колеблющиеся от легких дуновений ветра. — О, солнце уже совсем низко. — Она стала на колени, стряхнула прилипшие к юбке иголки и поправила волосы.

— Пошли, — нетерпеливо вскочила она, отодвигая мои руки. — Поедем со мной! Ах, поедем со мной! Я так боюсь Палестины!

Вдоль леса пролежала асфальтированная дорога, окаймленная тополями. По ней гуляли разгоряченные, пестро одетые пары.

— Видишь, Нина, — прервал я молчание уже на опушке леса и обнял ее за талию, — вот так живут немцы. И я бы хотел так жить, поняла? Без лагеря, без армии, без патриотизма, без дисциплины, жить нормально, не напоказ! Не есть суп из общего котла, не думать о Польше.

— И правильно, — подхватила Нина, — едем со мной на запад. Я совершенно свободна, поверь.

— А парень в Польше?

— Я его забуду.

— Но пока не забыла?

— Не было других, потому не забыла.

— Не было?

— Те люди, с которыми я еду из Польши, — минуту помолчав, с заметным усилием продолжила она, — это чужие. Я могу с ними расстаться. Поедем в Брюссель. У меня там сестра замужем за богатым бельгийцем. Я поступлю на медицинский.

Асфальт под ногами был раскален. Над го-

ловою плыли пышные кроны тополей, образуя свод, который вел до кирпичных стен и башен казарм, дальше зелень опоясывала их и, отливая золотом, как спелое яблоко, изгибалась мостом над черепичными кровлями пригородного селения, которые просвечивали сквозь голубоватую дымку, будто сквозь шелковую шаль.

— Останься со мной, Нина, — сказал я неожиданно для самого себя. — Я тут пока никто, но я пробьюсь. У меня есть друзья, они мне помогут, у меня книги, от которых мне трудно оторваться. Я их так собирал, понимаешь? Я боюсь рисковать, я слишком много видел смертей, чтобы дать себя убить. Пусть другие, а мне-то зачем? Я боюсь пространства, людей боюсь — ведь кто я такой? Какие у меня права? — Я умолк, мысленно подыскивая, какие права могли бы мне помочь. — Никаких! Понимаешь, никаких! — Я помолчал, вглядываясь в ее лицо, словно ища сочувствия. — Если мы отсюда уедем, никто нас не накормит. На каждом перекрестке нас могут схватить эти черные обезьяны в белых шлемах и сунуть в какой-нибудь лагерь, где мы умрем с голоду.

— Я не боюсь, — сухо сказала Нина.

— Никогда не иметь почвы под ногами! — Я запнулся, подбирая убедительную метафору. — Быть как дерево без корней! Засохнуть!

— Значит, ты возвращаешься в Польшу, — определила девушка и презрительно скривила рот, когда я попытался оправдываться. — Я тебе была нужна только на один день, как всем.

— Всем? — И я присвистнул сквозь зубы.

— Да, всем! — выкрикнула она. Споткнулась. Я поддержал ее за плечи. Она резко и враждебно вырвалась. — Всем, для кого я — еврейка!

Видишь это? — она приподняла двумя пальцами талисман, похожий на свисток. Пальцы ее дрожали. — Ты, в отличие от других, до сих пор не спросил меня, что это. Это скрижали Моисеевы, заповеди на древнееврейском. Это должно объединять меня с евреями. Но я не еврейка и не поляка. Из Польши меня выгнали. К евреям у меня отвращение. Я думала, что есть еще другие люди. Но ты не человек, ты только поляк. Возвращайся в Польшу! — с издевкой крикнула она. — Возвращайся в Польшу!

— Возвращайся в Польшу! — Я испугался голоса, как птицы, внезапно вырывающейся из-под ног. В высокой золотистой траве блестела коротко остриженная голова. Стефек поднялся с земли и поклонился девушке. — Возвращайся в Польшу, — повторил он. — Идем со мной. Я иду пешком.

— Пешком? Вот геройский парень! — приторно восхитился я. — А немка где? — Я подозрительно осмотрелся.

— Пошла в кусты. Ну, в общем, я проводил ее домой. — Он погладил рукой волосы. — Девача что надо. Пойдешь со мной?

— Я, знаешь, пошел бы, да вот... — запнулся я в нерешительности. Суконный мундир обжигал тело. Стефан, прищурив глаза от солнца, глядел на меня из-под опущенных век с откровенным презрением. Он вертел в руках сухую веточку, она с треском сломалась.

— Все книжечки, книжечки! — горько усмехнулся он. — Ты это хотел мне сказать? И что в дороге будешь голодать? Что не знаешь, как все уладится? А я тебе скажу: юбка держит тебя, брат. Поймал юбку, поймал, да? — Зубы у него блеснули, как у собаки. Он приложил

ладонь к подбитому глазу. — Что у тебя тут есть, кроме этой жидовки?

— Пошли в лагерь, — сказала Нина громким шепотом. — Вы же, вы же... — Она сжала кулаки. Подбородок ее судорожно дрожал. — Вы же — как ээсовец!

Стефан слегка усмехнулся. Он на девушку не обращал внимания.

— Лагерь окружен американцами, — сказал он мне. — Я хотел зайти и взять одеяло. Не пустили. Завтра будут всех вывозить! Всех!

— Ты спятил? И Полковника, и Майора? И весь штаб? А ксендзы, а кухня?

— Иди в лагерь, сам увидишь, — сказал Стефан. — Жду тебя в Польше.

— Нет, они не вывезут, ты ошибаешься, сегодня же «Грюнвальд».

— «Грюнвальд»! — Стефан засмеялся, опять потрогал свой подбитый глаз. — Пошел ты со своим «Грюнвальдом»! — иронически проговорил он и, не прощаясь, скрылся в лесу. Потроженные еловые ветви заколыхались за ним.

— Идем в лагерь, — сказала Нина. Она тяжело дышала, как выброшенная на берег рыба. — Ничего не поделаешь, идем. Может, нам удастся пройти внутрь.

— Наверняка удастся, — сказал я как-то слишком поспешно. Я взял ее под руку и повел по дороге. Она прильнула ко мне. Губы ее беззвучно шевелились, будто она сама с собой разговаривала. По асфальту непрерывным потоком катили велосипеды. Немцы пользовались жаркими летними послеобеденными часами. На перекрестке сидел человек из лагеря. Два красных чемодана он поставил в тень, чтобы не растаял лак. Сам он рылся в раскрытом рюкзаке. Крас-

ное кепи съехало на ухо. При каждом движении головы болталась черная кисточка.

От лагеря до самого леса двигалась, извиваясь в траве, вереница людей. Им были известны все щели и хуже охраняемые проходы, и они покидали лагерь, пока еще можно было.

Мы ускорили шаг. Кроны деревьев шумели, будто лес сопровождал нас. Возле засохших кустов стояло несколько танков и аккуратно, как в мануфактурной лавке, лежали рядами винтовки, пушечные снаряды и немецкие мины. Их охранял задремавший от жары американский солдат.

На дороге колонна грузовиков стояла, повернув узкие, как у голодных крыс, морды в сторону лагеря. Ждали утра. Между грузовиками крутились полуголые негры. Их тела блестели от густого коричневого пота, будто окропленные жидкой медью. Они что-то прокричали нам, когда мы обходили их стороной, чтобы, выйдя к казармам с тыла, пробраться в лагерь через разрушенные, заваленные щебнем ворота, классическое место для доставки баранов. У этой дыры никого не было. Зато возле угла, где от ограды падала на раскаленную землю полоска прохладной тени, под навесом из картона, положенного на несколько жердочек, сидел солдат и дремал. Шлем он положил на траву, винтовку поставил между коленями и дремал, уткнувшись подбородком в грудь. Возле другого угла стояли два солдата в расстегнутых сорочках, громко разговаривали и угощали друг друга сигаретами.

На самом виду, посреди лужайки, стояли мы перед воротами, как пара заблудившихся детей перед избушкой колдуньи.

— Подождем до темноты, — сказал я, охваченный смутной тревогой, — они могут нас не пустить. Вернемся в лес.

Она высвободила свою руку, прыснув коротким, презрительным хохотком.

— Ты так торопился на «Грюнвальд», что же теперь? Опять боишься? Спокойно, малыш, иди за мной.

И прежде чем я успел что-либо ответить, сделать какое-либо движение, девушка нетерпеливо поправила юбку, одернула на слишком пышном бюсте блузку и стремительно побежала к воротам. Добежав до кучи щебня, она начала на нее взбираться. От порыва ветра юбка ее туго облепила бедра и растрепались волосы. Идя против ветра, она рукой придержала волосы. На миг обернула ко мне иронически улыбающееся лицо. Крикнула что-то, но ветер развеял звуки ее голоса. Я побежал было к ней и вдруг остановился. Я поднял руку, подавая ей знак, но она как раз отвернулась, я хотел крикнуть, но почему-то не мог. Два солдата, угощавшие друг друга сигаретами, повернулись к воротам, и один из них, снимая с плеча винтовку, заорал, хохоча во все горло:

— Fräulein, Fräulein! Halt, halt! Come here!¹

— Стой, стой! — визгливо крикнул второй.

Спавший у другого угла ограды солдат инстинктивно поднял голову и вскочил. Наклонясь, он схватил ружье, выскользнувшее на землю, приложил его к плечу, в одно мгновение наклонил голову вправо и...

Девушка, как бы защищаясь, подняла руку

¹ Барышня, барышня! Стой, стой! Иди сюда! (нем., англ.)

к горлу, словно ей вдруг не хватило воздуха. Она сделала еще шаг на краю кучи, мягко сползла по ней, как бы поскользнувшись на кирпичках, и исчезла за гребнем насыпи, будто ее сбросили в яму. По ту сторону кучи, на территории лагеря, раздались голоса, они становились все громче, затем перешли в сплошной гул. Два солдата, которые, смеясь, окликали девушку, бросили недокуренные сигареты, притоптали их и взбежали на груды щебня. Заспанный солдат, тот, который стрелял, надел винтовку на плечо дулом вниз, поднял с земли шлем, отряхнул его, нахлобучил на голову и, беспечно посвистывая, тоже поспешил к воротам.

Я медленно поднялся на кучу щебня, перешел через нее на глазах у всех и опустился рядом с Ниной.

Падая, она оцарапала щеку о кирпичи. На скривившуюся, влажную, залитую свежей кровью губу села большая с синеватым отливом муха. Напуганная моей тенью, она, жужжа, улетела. Из-под губы мертвенно белели блестящие зубы. Выпуклые глаза помутнели, как застывший студень. Руки, судорожно сжатые в обороняющемся жесте, тяжело лежали на камнях. Последний признак жизни, теплая, с тошнотворным запахом кровь сочилась, расплывалась пятном по блузке, обтягивавшей слишком пышную грудь, и подсыхала ржавой каемкой по краям пятна. Маленький талисман, похожий на свисток, съехал в сторону, покачался на цепочке туда-сюда и повис неподвижно. Я вынул из-под ее головы острый, неудобный кусок кирпича, осторожно откинул волосы, уложил голову на мягкую известковую пыль и, поднявшись с корточек, старательно отряхнул брюки. Вверху,

надо мной, стало темно от плотного кольца людей, сосредоточенно, молча глядящих на труп. Действуя локтями, я с трудом пробился сквозь неохотно раздвигавшуюся толпу. Меня все же пропустили и еще плотнее сгрудились над телом.

Во дворе дымили огни под оставленными кастрюлями и котелками. Ветер скручивал дым с треском, как солому, и вышвыривал его за ограду. Доски для костра, сбрасываемые с крыши, бесшумно опустились в воздухе, белея на фоне черных окон, и упали с оглушительным грохотом. С земли взметнулся столб пыли, медленно закружил в воздухе и опал. Из невысказанной дали доносился до меня монотонный, приглушенный гул голосов, будто через стену. Из-за жилых домов городка, с улицы, обсаженной молодыми платанами, из-за угла гаража, где торчали длинные, покрытые брезентом дула пушек, вынырнул маленький смешной джип, набитый солдатами; он проскользнул между деревьев, пыхнул большущим клубом дыма и пыли, уперся колесами в землю и, со скрежетом затормозив, остановился.

— What's happened?¹ Почему эти люди так кричат?

First Lieutenant наклонился к водителю. Тот равнодушно пожал плечами. Я с удивлением посмотрел на офицера. В окружавшей нас тишине его голос прозвучал резко и неприятно — будто рвали холст. Встретив мой взгляд, офицер замигал и поджал губы. Он высунул из машины ногу, нерешительно покачал ею. На коричневом, блестящем полуботинке блеснул и расцвел солнечный луч. Два солдата с автоматами на

¹ Что случилось? (англ.)

коленях сидели развалиясь на заднем сиденье. Водитель полез в карман, достал пачку сигарет, сорвал цветную полоску, перегнулся назад, угощая. Они закурили. Нежный ручеек голубого дыма поплыл перед их лицами и, подхваченный ветром, растаял в воздухе. Я не торопясь подошел к машине.

— Do you speak English?¹ — быстро спросил First Lieutenant. Он медленно подвигал челюстью, словно делая разгон, и стал жевать.

— I do², — кивнул я утвердительно. Мой голос гулко отдался у меня в голове, словно в пустом зале, я даже вздрогнул. Я смотрел на офицера не как на человека, а как на далекий, безразличный мне предмет.

Толпа плотно загораживала труп девушки, но теперь все отвернулись от него и смотрели на солдат. В ушах у меня гудело, будто я был в наушниках. Внезапно людская стена зашевелилась, расступилась.

— What's happened? — повторил еще раз Старший Лейтенант. Подошва его коснулась земли. Казалось, он сейчас выскочит из джипа. — Кто обидел этих людей? Почему они так кричат? Что случилось?

Солдат с винтовкой, обращенной дулом вниз, вышел из толпы, а за ним протолкались те двое, которые тогда курили сигареты. Однако прежде чем тот, что шел впереди, успел что-либо сказать, я обратился к офицеру.

— Nothing, sir³. Ничего не случилось, — успокоил я его, небрежно взмахнув рукой и

¹ Вы говорите по-английски? (англ.)

² Да, говорю (англ.).

³ Ничего, сэр (англ.).

учтиво подавшись вперед всем телом. — Ничего не случилось. Просто минуту назад вы застрелили девушку из лагеря.

Старший Лейтенант выскочил из джипа, как отпущенная пружина. Лицо его на миг налилось кровью и сразу побелело.

— My God¹, — сказал он. Видно, у него внезапно пересохло во рту, потому что он, скривившись, выплюнул жевательную резинку. Розовый комочек заалел в дорожной пыли. — My God! My God! — Он схватился за голову.

— Мы здесь, в Европе, к этому привыкли, — равнодушно ответил я. — Шесть лет в нас немцы стреляли, теперь выстрелили вы. Какая разница?

По низко стелившейся пыли, как по мелководью, я, не оглядываясь, тяжело ступая, пошел в казармы, к моим книгам, к моему барахлу, к моему ужину, который, наверно, уже для меня взяли. Тишина, как воздушный шарик, с шумом лопнула. Лишь теперь я осознал, что толпа плотно сгрудилась над телом девушки и, глядя в глаза солдатам, ритмично и грозно скандирует: — Ге-ста-по! Ге-ста-по! Ге-ста-по!

V

Солдатская комната была разорена. На столах и на полу белели в густой тьме черепки фаянсовых мисок, будто обглоданные, сухие кости. Стянутые с коек сенники бессильно свисали, как тела убитых. Из шкафов, как из вскрытых, выпотрошенных животов, ползли тряпки и, ском-

¹ Мой бог (англ.).

канные, валялись на полу. Под ногами шелестели груды измятых, изорванных книг. В воздухе слышался затхлый, подвальный, трупный запах, как если бы эти разбитые, изодранные тряпки, сенники, черепки и книги гнили и разлагались.

Синий прямоугольник распахнутого в ночь окна расцвел, точно гигантским цветком, красной ракетой. Стреляли из высокой башни у ворот. Мягкий свет бесшумно облил оконные стекла, как свежая кровь. Тени заколебались, закачались, будто волны на воде, и поднялись вверх.

Пользуясь светом ракеты, я заглянул в шкаф. Из него было вынуто все, что годилось к употреблению, а остальное уничтожено. В глубине я нащупал в кастрюльке уцелевшие картофельные олады. Они зашелестели в моих пальцах, как сухие, хрупкие листья.

Ракета проплыла на мостовую, несколько раз подпрыгнула, блеснула поярче красным огнем и погасла. Стало совсем темно. Я подошел к койке, пошарил по ней. Пальцы проехали по шершавому сеннику. Одеяла не было. Украли. В глубине комнаты кто-то со стоном зашевелился на койке. Пронесся обрывок горячего шепота, приглушенное, внезапно оборвавшееся хихиканье потонуло в громком шорохе соломы. Затем умолкло.

— Цыган? Это ты, Цыган? Это ты, брат? — спросил я, испытывая огромное облегчение. Я отошел от шкафа и, задевая за койки, побрел в глубь комнаты. Под ногами хрустело битое стекло. — Ты здесь, Цыган? — В нерешительности я остановился и с напряжением ждал ответа.

— А где ж мне быть, если все у меня так дьявольски болит! — простонал в темноте Цыган. Сенник опять беспокойно захрустел. —

Ну и народ, что натворили! Лучше бы мне не дожить до этого. Никого не было, никто за едой не пошел...

— Никто не принес ужин? — с отчаяньем выкрикнул я. Я ощутил внезапный, пронзительный голод. Опершись о стол, нащупал табуретку. Сел. — Нет ужина, — машинально повторил я. — А завтра эшелон, и опять не дадут есть.

— Никого не было, никто их не остановил, — плаксиво тянул Цыган, захлебываясь словами, будто всхлипывая. — Ворвались в комнату, все перебили, разграбили. Ох, пан Тадек, если б вы видели, если б вы только видели, сердце бы у вас не выдержало. Поразрывали ваши книги, у пана Коли забрали сигареты. Поляк у поляка! О, боже милосердный, смилуйся над нами! И у меня сапоги забрали. Еле костюм уберег. Он у меня под подушкой лежал.

— Нечего было сырую баранину жрать — тогда бы и ты сегодня пограбил, ребята к транспорту готовятся, не удивительно, что крадут, — сказал я насмешливо. Стиснув зубы от досады, я ударил ногой по валявшемуся на полу черепку, он со стуком покатился по бетону.

— Готовятся, готовятся, чтоб им так в пекло приготовиться, — всхлипывая, выругался Цыган. — А пан Редактор пришел и ваши книги из шкафа взял. Говорит, вы, наверно, не вернетесь, так жалко оставлять. А ему, мол, пригодятся, потому как он поехал к генералу Андерсу¹.

¹ Андерс Владислав (1892—1970) — польский генерал; в 1945 году командовал польскими войсками в Западной Европе.

— Редактор? Который мне суп давал? По-ехал? Таки поехал? Без меня! — Я снова почув-ствовал, что голоден.

— А пан хорунжий сидит в карцере, и пан Коля сидит в карцере, — монотонно гундосил Цыган. На темно-синем небе опять загорелась красная ракета, рядом с нею расцвели зеленые, оранжевые, желтые и целым букетом поплыли на землю. Темное лицо Цыгана залилось мерт-венным, как ртуть, неоновым светом и исчезло во мраке. — Еще говорили, что пана хорунже-го и пана Колю отошлют в наказание в Польшу.

— Так ведь Колька хотел ехать в Италию! — с удивлением воскликнул я. — Значит, в Польше они встретятся со Стефаном. Ну, он им там покажет, какой он капо.

— А пану хорунжему сломали тумбочку, фотоаппарат забрали и деньги. Ох, боже, боже... Да мне подложили...

— Не ври, не ври, паршивый Цыган, не то опять тебе морду набью... Ты сам стащил день-ги. Подглядел, как отец прятал, — отозвался снизу сын хорунжего. Аж койка заскрипела от возмущения.

— О, вам удалось вернуться? — любезно по-радовался я. — А папочка о вас беспокоился.

— Пусть папочка о себе беспокоится, если он такой дурак, чтоб драться, — пробурчал сын хорунжего. — Я сам выкручусь. Я дураком не буду, с эшелонном в Польшу не поеду, — презри-тельно добавил он.

— Вы что-то раздобыли?

— Да, раздобыл, — ответил он, — только не барана. Кое-что получше барана. Вот послушай-те. — Он покопошил, и из темноты раздался возмущенный женский визг. — Немочку приоб-

рел. Протащил через дыру. Знакомые ковбои стояли в карауле.

— Ну, и везет же вам! — вздохнул я с завистью.

— Могли б и вы ухватить, кабы походили. А вы только с книгами все да с книгами. Само ничего не придет. Тут важно сегодня успеть.

— А завтра? Когда в эшелон погонят?

— Про завтрашний день будем толковать завтра, — последнее слово потонуло в хриплой зевоте. — Ребята не дадутся.

— Вы так думаете?

— Они уже к обороне готовятся, — убежденно заверил он. — Там, — он махнул рукой в сторону освещенного ракетами двора, — «Грюнвальд» устраивают. Но мы устроим еще лучший «Грюнвальд». У ребят браунингов — ого-го сколько! А гранат, а винтовок, а автоматов! Что ж, по-вашему, у них только ракетницы для «Грюнвальда»? Как поставят пару пулеметов на крыше да как жажнут... Неужто «океи» не побегут?

Он приподнялся в кровати, будто желая встать. Но только укутал женщину одеялом по самую гривку светлых, пушистых волос, со вздохом упал на постель и сунул руку под одеяло.

Небо играло всеми цветами. Фонтаны ракетных огней плыли по воздуху, опадали раскаленными каплями на дно мрака, разбрызгивались по небу. Красные крыши казарм жутко переливались разными цветами на фоне неподвижного неба, которое то и дело словно пропитывалось темно-синим соком.

— «Грюнвальд» устраивают, — сказал я, обращаясь к сыну хорунжего. — И завтра долж-

ны были повторить. Смотри, как бы утром ее не нашли, жалко будет.

— Подумаешь, великая беда! — голос у него слегка дрожал, будто он запыхался. — И пусть ее схватят. Нужна она мне будет, что ли? А может, пойду с ней к ребятам и засядем на крыше. Там есть такие закоулки, сам черт не найдет. А закончится операция, мы выйдем, и прощай, до следующей встречи!

— Эшелон, кажись, в Кобург направляется, — сказал Цыган. — Как же я могу ехать, когда я такой больной? Может, меня не возьмут? Пан Тадек, ты же умеешь по-английски, может, попросил бы ковбоев, а, пан Тадек?

Он лежал раскрытый и тяжело дышал, как издыхающее животное. Его глаза, светившиеся отраженным светом ракет, уставились на меня. На темном, изможденном лице они блестели страшно, будто фосфорические.

— Ты что, вообразил, что я буду за воров заступаться? Жаль, что не придушил тебя по дороге в Дахау, тогда бы у тебя сегодня не было забот, — с презрением процедил я. Сын хорунжего захихикал и заворочался на койке. — Мне самому надо от эшелона прятаться. Потом будет легче получить какое-нибудь местечко в лагере, интенданта или секретаря, — прибавил я чуть мягче. — А что еще делать?

— Сходил бы ты на «Грюнвальд», — посоветовал сын хорунжего, — а когда закончится, переночуешь тут. Я-то пойду мясо готовить.

Я встал из-за стола и, ступая по книгам, добрался до двери. В этот момент ее открыли с другой стороны, и в черном мраке коридора замерцало в свете желтой ракеты темное лицо

с приоткрытым ртом. Ракета поплыла вниз, засветились розовым блестящие очки.

— Это вы, Профессор? — истерически выкрикнул я и повел его к столу. — Вы меня искали?

Профессор по-прежнему был в кожаных тирольских шортах. По его белым, поросшим редкими черными волосками коленям скользили разноцветные блики, заливали сорочку, поднимались по лицу и убегали в окно.

— Да, искал, — сказал Профессор. — Я же говорил, что зайду к вам. Я занял для вас хорошее место у костра. Сейчас начнется. Где вы были так долго?

Он хлопнул себя по коленям. Сунул руку в кармашек. Мятая, надорванная сигарета мелькнула в его пальцах и заалела во рту тусклым огоньком, от которого стали ярче красные губы и заиграли слабые отсветы в лицевых впадинах.

— Сам не знаю, где я был, поверьте, — слабым голосом ответил я и, опустив голову, уставился в пол. Там лежала изодранная грабюра из героических, веселых и похвальных походов Уленшпигеля — девушка с обнаженной грудью, играющая у стены на гитаре. — Бродил где-то там, по лагерю. Да не все ли равно? Светские приличия? Здесь? Накануне отправки эшелона? Уже завтра мы не встретимся.

— Мир тесен! — вскричал Профессор и затянулся. Пушистый клуб дыма засветился розовым брюшком и, выгнув синий хребет, распластался под потолком. — Непременно встретимся. Не на этом, так на другом лугу, — вернулся он к своему любимому образу. — Только... — Он вдруг, на полуслове, помрачнел. — Ее застрелили, — сказал он, помолчав и швыр-

нув окурок, — застрелили у ворот. Она гулять пошла.

— Ваша соседка?

— Да, та, что приехала из Пльзеня. Моя соседка по дому. Когда я уезжал в сентябре, она еще была ребенком. Бывало, я часто покупал ей пирожные. Знаете, были такие с кремом. А наверху клубничка. — Он посмотрел мне в глаза, сомневаясь, помню ли я. — Мы с ее отцом были друзьями, — прибавил он, поясняя. — А теперь, вот видите, — он хлопнул меня ладонью по плечу, — какая стала пышная женщина! Она у меня уже почти была в руках, я уже гладил ее, и вот такое несчастье!

Он опять полез в карман. Порылся там с ожесточением. Не нашел. Тяжело вздохнул и подпер голову руками.

— Какое несчастье! — повторил он будто сонным голосом. — Что же делать! — Он помолчал, покачал головой. — Пошли на «Грюнвальд»! — решительно сказал он.

— Это я был с ней. Я был с ней в лесу, — сказал я неожиданно для самого себя. — Ее застрелили при мне. А вы про «Грюнвальд»...

Я вскочил с койки. Профессор поднял голову, тяжело пошевелился, будто выходя из воды, покачнулся и схватил меня за руку. Бронзовый олень на перемычке, соединявшей его подтяжки, дрожал в свете ракет, как живой. Разноцветные блики смешивались на костистом лице Профессора и густели, красный цвет сливался с зеленым, они вместе поднимались к его лбу, плыли под потолок, а на их место лились розовые, голубые и желтые пятна и оседали под подбородком, в углах рта, под глазами, в ушных ямках, словно краски на портрете.

Лицо Профессора играло всеми цветами радуги, набрякало, разбухало изнутри, скулы надувались как стеклянные, переливчатые шары — казалось, Профессор задыхается от света. Внезапно он со свистом выдохнул и, широко раскрыв рот, разразился громким, оглушительным хохотом.

— Ха, ха, ха, ха! Ха, ха, ха, ха! — долго закатывался он, все сильнее сжимая мне руки, а свет тотчас проник в его открытый рот и забурлил там всеми цветами.

— Пан Профессор, перестаньте! — крикнул я, вырывая руки из его ладоней. — Вы с ума сошли!

— А я-то думал, что сегодня буду с ней спать! Ужин приготовил. Даже простыню добыл! Ха, ха, ха, ха! А это вы с ней! Молодость! Молодость! — Он трясся всем телом от хохота, высокий, худой, отвратительно разноцветный. — Значит, она была просто такая вот! Я ее хотел! Ха, ха, ха, ха!

Он вдруг пошатнулся, сильно закашлялся и нагнулся, харкая на пол. Вся комната, наполненная бликами, качалась, как корабль. Пестрые сенники, столы, стены, миски, книги переливались всеми цветами и вращались, будто яркие шары.

— Вот видишь, Профессор, — подал голос из угла сын хорунжего, — не надо было влюбляться на старости. Девушку не получил, зато чухотку имеешь. И «Грюнвальд» не увидишь. Лежи, лежи, зараза, — раздраженно рявкнул он, и койка затрещала. — Вертится, будто ее кипятком обливают.

— «Грюнвальд», да, конечно, «Грюнвальд»! — Профессор выпрямился. Лицо его

занялось бледным медузным свечением, погасло с последней ракетой и посерело, как остывшая зола. — Пошли все на «Грюнвальд»!

За окном, во мраке, погасившем ракеты, вдруг взорвалось рыжее пламя, полизало черные окна, как ластьющийся пес, и раскачало позади себя мрак, будто колокол. Тени деревьев удлиннились, вытянулись выше крыши и заколыхались, как огни свечей.

— Пошли все на «Грюнвальд»! — пропел Профессор. Он потащил меня к окну. — Смотрите, смотрите! — нетерпеливо кричал он. Потом обернулся к комнате. — Пойдемте все! — сказал он просительно. — Возьми свою девушку, пусть и она посмотрит.

Я перегнулся через подоконник. В черной чаше двора, вокруг колеблющегося столба пламени, которое, терзаемое ветром, развевалось, как грива мчащегося коня, стояла безмолвная толпа. Блики скользили по лицам и как бы вливали в них кровь, которую сразу же высасывал мрак. Сухие доски горели с треском, и искры улетали в темноту. Вспышки ракет прекратились.

— Вы бывали в церкви этого немецкого поселка? Нет? — Профессор уже овладел собой. Он говорил серьезно, даже строго. Его лицо, окруженное мраком, опять стало заострившимся и усталым. — Я туда каждый день хожу. Спокойно. Все наполнено богом. Прямо через край льется. Амвончики, в окошечках решеточки, маленький алтарик, на стеночках изречения из Библии. А у одной из стенок крестики, на крестиках свастики, сплошь эсэсовцы! Понимаете? А цветов-то под крестиками, пропасть цветов! — В его глазах мелькал рыжева-

тый отсвет костра. — Вот так немцы чтят своих покойников.

— А мы-то? — с обидой пробурчал я. — Ни одна собака ухом не поведет, когда сдохнешь.

Сын хорунжего встал с койки и голый прошлепал к окну. Девушка в ночной сорочке следовала за ним тихо, как привидение. Смуглый Цыган оперся на локоть и с завистью смотрел в окно.

— Мы? — повторил задумчиво Профессор. — Мы-то здесь же, с ними рядом. Мы... Смотрите! — крикнул он хищно. — Смотрите на костер! Этого я ждал, это «Грюнвальд»!

В костер подбросили свежих сосновых веток. Огонь померк. Понесло густым, грязно-серым дымом. Ветер отогнал дым, и пламя взмыло к небу. Из толпы вышел ксендз в сутане. Белый воротничок сжимал желтую шею. Ксендз поднял обе руки, будто благословляя. Откуда-то из недр тьмы выволокли человека в эсэсовском мундире. Шлем с лязгом упал на бетон. Толпа разразилась смехом. Человеку снова напялили шлем на голову. Ксендз взял его за плечи, с усилием двинул и под крики толпы бросил человека в огонь.

Лицо стоявшей рядом со мною девушки стало пепельно-серым. Глаза ее, как два уголька, вспыхнули от ужаса. И тут же погасли. Она опустила веки и судорожно вцепилась в меня.

— Was ist los?¹ — прошептала она, стуча зубами. Я успокаивающе похлопал ее по холодной руке. Она уперлась в меня всем телом. От нее шел особый запах, он ударял в ноздри и проникал внутрь меня.

¹ Что происходит? (нем.)

— Was ist los? — Ее губы скривились. Она откинула волосы со лба.

— Ruhig, ruhig, Kind¹, — ласково сказал Профессор. — Это горит чучело эсэсовца. Это наш ответ — за крематорий и за церквушку.

— И за убитую девушку, — проворчал я сквозь зубы.

Я закинул руку назад. Теплое тело девушки плотно прильнуло ко мне и дрожало от возбуждения и страха. Она дышала мне прямо в затылок влажным, горячим дыханием.

Перед толпой появился Актер, толстый, маленький, окутанный светом огня, как красным плащом, и, пока ксендз толкал в огонь все новые чучела, которые, будто облитые керосином, выбрасывали столб огня и корчились в этом движении, как живые, Актер поднял руки, успокоил орущую толпу, одним жестом руки расколол ее, образовав широкую улицу, мотнул головой к темным крышам казарм и подал знак.

Громыхнули каскады ракет. Небо загорелось, как рождественская елка, приснуло бенгальскими огнями и каплями посыпалось на землю. С крыш раздались долгие очереди автоматов. Дымящиеся пули пепельными полосками прочерчивали небо, как стаи диких гусей. Толпа, озаряемая пожаром ракет, засветилась вместе со всем двором, который клубился и кружился, как подгоняемый ветром мыльный пузырь.

— Пусть мертвые хоронят мертвых, — задумчиво произнес Профессор. — Мы, живые, пойдем с живыми. — Его щеки, пылающие в горниле ракетного огня, опять набухли, раздулись. И Профессор во второй раз захохотал. —

¹ Спокойно, спокойно, детка! (нем.)

Живые с живыми! Ха, ха, ха, ха! Ха, ха, ха, ха! Живые с живыми! Так, как они, навсегда! Смотрите!

Он протянул руку в сторону зала, тонувшего в мутной мгле. Из его зияющего жерла, как из створок огромной раковины, приоткрытой лезвием огня, между каменными стенами зданий, прочерченных тенями деревьев, по двору бывших эсэсовских казарм, на котором в годовщину битвы под Грюнвальдом бросали в костер соломенные чучела эсэсовских солдат, накануне отбытия эшелона, который должен был все здесь уничтожить и бесповоротно разбросать по свету здешний люд, глухо, упрямо отбивая шаг по бетону, маршировал Батальон — и пел.

РОДИНА

Конечно, подумал я, без меня он бы в лагере с голоду опух. Повстанцы эти — народ вроде вполне толковый и предприимчивый, но уж больно легко они к смерти привыкали: внушили им, что это прекрасно — умирать за отчизну. Среди нас, в маленьком лагере жесткого режима, они были запуганы, как кролики. С немцами — заискивающе услужливые, как параша, друг с другом дрались за любую падаль, как черви, а оставшись наедине, одуревшие, словно дети на карусели, совершенно уже не знали, во что верить. Когда наши ребята вышвыривали их босыми на грязный снег, предвзрительно стащив с них кожаные сапоги, — им казалось, будто небо сейчас обрушится. Они переставали понимать ироничную логику мира, так что могли умирать спокойно. Когда они ки-

чились своим неведением, я думал о газовых камерах.

— Мне всю жизнь везло — пресловутое женское счастье (вы просто не поверите). Но однажды я все же споткнулась. Весь этот дурацкий режим я переждала за границей, и вдруг, перед самой войной, сама не знаю почему, решила вернуться из Турции к мужу, — вежливо ответила женщина, втиснутая в угол диванчика, обитого пурпурным плюшем.

— Что она сейчас сказала? — с интересом спросил молодой солдат с белыми, как у альбиноса, волосами и с веснушками на красных щеках. Ноги в старательно отутюженных брюках он, вытянув, положил на плюш и со скучающим видом приглаживал волосы огромной ручищей, до запястья заросшей бесцветной шерстью.

— Жалеет, что вернулась в Германию, — перевел я солдату.

Женщина посматривала на альбиноса из-под длинных ресниц и морщила в усмешке круглый носик, тень от которого перемещалась по ее щеке. Поезд притормозил на повороте, остановился на минуту перед семафором и с лязгом подошел к перрону.

— Я не жалею, что приехал сюда, война — интереснейшая штука, — сказал альбинос в американском мундире и развернул на коленях иллюстрированный журнал. Изучив ноги, бедра и груди красотки, которая в недвусмысленной позе разлеглась на двух гляцевых страницах, солдат сложил журнал и протянул его женщине. Та поблагодарила и стала рассеянно рассматривать картинки.

— Ты и правда не хотел бы вернуться домой? — спросил я у солдата.

Перрон был почти пуст. Переселенцы, отесненные от экспресса военной милицией в белых касках, побрели к товарняку, стоявшему без паровоза в тупике. Сквозь ребра сгоревшей крыши вокзала просвечивало темнеющее безоблачное небо.

— Понимаешь, в Европе белые женщины, много белых женщин, — сказал альбинос и вытянул мускулистую потную руку. — Глянь, какие синие у меня ногти.

— Что он говорит? — с беспокойством спросила женщина, сплетая и расплетая на животике тонкие загорелые пальцы со светлыми полосками от колец.

— Говорит, что он негр, — перевел я, — и очень любит белых женщин.

Не надо было предаваться мечтам, надо было довериться стадному инстинкту, подумал я. Надо было идти вместе со всем лагерем, двери немецких вилл угодливо открывались тогда перед бывшими узниками; женщины со страху мыли им ноги и безотказно шли в постель. И дураки, и умные одинаково изголодались. Но дураки насильовали первых встречных баб и тащили в лагерь лук и мясо, а умные грабили одежду, часы и золото — любовницы отыскивались сами. Зачем я тогда бессмысленно слонялся по лагерю, высмеивая и тех и других? Какой еще нравственности мне не хватало? Если б я тогда разбогател, сейчас пустил бы капитал в оборот, я ведь скорее умный, чем дурак. Сколько лет мечтал о свободе, а когда она пришла — растерялся, как импотент. Суметь бы хоть написать об этом!

— Скажи, пусть заплатит тебе за посредничество в любовной сделке, — по-польски ска-

зал варшавянин. Он сидел в другом углу купе и, лениво развалясь, смотрел в пустой коридор. Скучая, зевнул, взял сигарету, протянул портсигар женщине. Она порылась там и, нащупав подходящую сигарету — не слишком твердую и не слишком выкрошенную, — попросила огня. Вагон дернулся, и поезд наконец тронулся — медленно поплыли назад развалины вокзала, сгоревшие железнодорожные мастерские. В развалинах там и сям торчали искривленные ржавые рельсы, грудилось мятое, изъеденное ржой железо, громоздились остовы паровозов, искореженных бомбами. Зеленая лужайка у полуразрушенных стен вдоль путей сплошь была изрыта воронками, в них скопилась мутная грязная вода. Поезд прогрохотал по высокому виадуку, с которого виден был разбитый, красный, словно с ободранной кожей город, миновал пригороды и, набирая скорость, выехал на насыпь.

Альбинос с синими ногтями вытащил из кармана пачку сигарет в целлофане, распечатал, щелкнул по донышку пальцем, вытащил одну сигарету, остальные протянул женщине.

— Она мне нравится, не такая назойливая, как француженки, — сказал солдат. Женщина колебалась, альбинос поощрил ее жестом. Она, с милой застенчивостью пожав плечами, спрятала сигареты в сумочку. Ногами женщина упиралась в трубы радиатора, ноги у нее были стройные и в тонких темных чулках казались загорелыми.

— Красивые, в самом деле красивые, — серьезно сказал я женщине, пояснив свои слова жестом. Ее большой рот был ярко накрашен на американский манер, едва заметные уютные

морщинки под глазами при улыбке сбегались к носу. Светлые волосы мягкими волнами падали на плечи. Одета она была безвкусно и вызывающе: голубой ворсистый плащ, под ним прозрачное бледно-розовое платье с вышивкой, без декольте — такие носили в Германии во время войны. Сквозь платье просвечивал темно-синий шелк, плотно облегающий тело.

— Ты лучше оставь эту женщину, — раздраженно сказал альбинос с синими ногтями, он понял мой жест.

В купе становилось жарко от нагретых труб. Альбинос расстегнул шерстяную рубашу, обнажив волосатую веснушчатую грудь, белую, как у женщины под лифчиком.

— Ничего удивительного, что они вам нравятся, — снисходительно заметила женщина. — До войны я была балериной, ну, а теперь... Может, буду танцевать в офицерских казино, для американцев. Но знаете, мой муж...

Я родился во второй раз, подумал я, могу начинать жить заново. От прежней жизни мне остались имя, номер на левом предплечье, немецкий мундир и опыт. Теперь я мог бы подкопить немного денег, если только он и правда возьмет меня в долю. Поживу пару месяцев у него, а потом перейду границу, во Францию подамся или в Италию, в армию, туда можно запросто добраться машинами через Бреннер. Могу поступить в университет в Париже, в Болонье или в Риме. Но зачем в таком случае я торчал столько месяцев здесь? Надо было ехать сразу, пока еще нам повсюду раскрывали объятия и кошельки. И так ли уж хорошо узнал я эту страну и этих людей, чтобы уже покинуть их? Я не сумею написать о них правду. Образы и пейзажи

я составляю из одних и тех же элементов — могу перечислить их по пальцам. Конечно, я тоже мог бы лгать, прибегая к вековым литературным приемам, привычно имитирующим правду жизни, но на это у меня не хватает воображения. К тому же я не знаю ни французского ни итальянского.

— Возьмешь ее себе? — спросил я у альбиноса в распахнутой рубахе.

— Ох, еще не знаю, у меня только два дня отпуска, хотелось бы, конечно, да где найдешь частную квартиру в городе — Zimmer¹, понимаешь? — ответил альбинос и снова уткнулся в журнал. К правой щеке его прилила кровь, на ней отпечатался белый узор от плюшевой спинки.

— Солдат, у меня есть комната, — коверкая английские слова, сказал варшавянин и загородил ногами проход.

В открытых дверях купе стоял худой сутулый мужчина в золотом пенсне и в тирольском костюме.

— Но у вас же есть место, — сказал он.

— You, go out², — процедил альбинос, равнодушно глядя на мужчину в золотом пенсне.

— Der Herr³ говорит, что в купе нет мест, — перевел я худому мужчине.

Тот посмотрел на мой немецкий мундир и сказал тихо, без раздражения:

— Но понимаете, тут в купе сидит моя жена.

— Вы только сейчас ее нашли? — спросил я с иронией.

¹ Комната (нем.).

² Проваливай (англ.).

³ Господин (нем.).

— Ах, что вы об этом знаете... Я искал ее по всему поезду, — ответил мужчина.

— Почему он не уходит? — спросил американский солдат и, вложив два пальца в рот, свистнул протяжно и пронзительно, как локомотив на повороте. Из соседних купе ему ответили таким же пронзительным свистом.

— Умоляю, не говорите ему ничего, — сказала женщина взволнованно.

Она достала из сумочки сигареты, которые дал ей альбинос, и протянула их мужчине.

— Петер, уходи отсюда, правда, уходи, — сказала она умоляюще. — Ты думаешь, мне это...

Мужчина хотел было взять сигареты, но американский солдат выхватил пачку из рук женщины и твердо сказал:

— No!¹

— Вы же видите — занято, — равнодушно сказал варшавянин и захлопнул дверь купе.

Поезд миновал развороченную бомбами станцию, бесконечную вереницу сгоревших вагонов, толпы ожидающих на перроне людей с узлами и снова вырвался на насыпь, пересекающую долину. В долине сгущались сумерки, и по траве ползла темная полоса, словно от плывущего облака. Вершины гор сияли закатным металлическим блеском, в каменистых ущельях залегли шершавые фиолетовые тени и поблескивал рыжеватый снег, а ниже, на пологих склонах, краснели виноградники и тускло светились в уходящем за горы солнце маленькие домики, окутанные мягкой вечерней дымкой.

¹ Нет! (англ.)

Может быть, она выжила, подумал я, если только ее отправили на работу к баору¹. Немецкая деревня убивала не сразу, она высасывала и сжирала человека живьем, как паук. Если она попала к глупому или жадному хозяину, то могла занять чахотку, сифилис или ребенка. А если на завод? Она не имела ни малейшего представления о физическом труде, а таскать немецкие рельсы и мешки с цементом... Миллионы людей, даже привычных к труду, надорвались и погибли под их тяжестью. Да, скорее всего она погибла в городе, а если и выжила, потом, должно быть, попала в лагерь, женские эшелоны шли после восстания через Освенцим и Равенсбрюк.

— Спроси у нее, зачем она хотела отдать сигареты, — сердито сказал солдат. Он встал и снял с полки глянцевитый портфель с готической монограммой. Вынул из него толстую плитку шоколада, отломил кусок, угостил женщину и спрятал шоколад в карман. Портфель был туго набит, из груды консервов и печенья в прозрачной упаковке выглядывали две бутылки французского вина.

— Этот чужой мужчина попросил у меня сигареты, — соврала женщина и пристально посмотрела на меня. Я точно перевел солдату ее слова и добавил:

— У тебя много сигарет? Или, может, ты знаешь кого-нибудь из своих, кто хотел бы кое-что продать?

Альбинос порылся в портфеле, извлек оттуда помятую пачку в целлофане. Распечатал и предложил мне. Я сказал, что не курю. Вар-

¹ Крестьянин (нем. жарг.).

шавянин, подмигнув, взял две сигареты, одну сунул в карман, другую рассеянно мят в пальцах. За окном проплывал мимо аэродром, расположенный на равнине у склона, поросшего редким леском. Тянулись бесконечными рядами четырехмоторные самолеты с зачехленными двигателями. На деревянных вышках маячили часовые. Поезд миновал палатки и постройки на краю аэродрома и помчался среди болот и зарослей тростника.

— Скажи ему, что я куплю сигареты, золото, фотоаппараты, почтовые марки, ну и прочее — в любом количестве, — сказал варшавянин.

Солдат внимательно слушал, хмурия белые брови.

— Я шел сразу же за передовыми частями, так что у меня кое-что есть, — ответил он. — Найдете мне комнату в городе?

Варшавянин широко улыбнулся, достал из кармана листок бумаги, авторучку и стал объяснять солдату дорогу, пользуясь десятком английских слов, которые запомнил, торгуя с армейскими. Женщина и солдат сосредоточенно склонились над листком. Я вышел в коридор и захлопнул за собою дверь купе. Вагон мерно покачивался, постукивая колесами на стыках. Только мелькающие за окном телеграфные столбы да вращающийся вокруг невидимой оси ландшафт указывали на то, что поезд мчится с огромной скоростью. В купе варшавянин, поудобнее устроившись на плюшевом диванчике и прикрыв голову плащом, начал дремать. Альбинос с синими ногтями сел рядом с женщиной и положил ей руку на колено. Женщина укоризненно покачала головой, но этим ее протест и ограничился. Я опустил окно. В лицо

хлынул влажный холодный воздух, смешанный с удушливым липким паровозным дымом, который стелился по полю, словно клейкий пух.

Интересно, подумал я, все ли женщины пахнут одинаково. Они пользуются разными духами, носят разных фасонов платья, — но всегда ли одинаково пахнет обыкновенное женское тело, вымытое в горячей воде? Еврейки летом пахли тухлой кровью, они ходили в советских ватниках, а потом шли в газовую камеру и пахли горелым мясом. Если она поехала в город, думал я дальше, то вряд ли пережила эвакуацию. Конечно, могло и не открыться, что она еврейка, к счастью, Талмуд не требовал обрезания от женщин — да и как это, в конце концов, можно сделать? Но в Равенсбрюке перед самым концом войны арийки тоже шли в газовую камеру. У нее могли опухнуть ноги, она могла заболеть чесоткой или простудиться, могла схватить понос или, наконец, просто исхудать, она всегда очень заботливо следила за фигурой.

Из соседнего купе вышел немец в золотом пенсне. Прихрамывая и сутулясь, он стал прохаживаться по коридору.

— Нет ли у вас случайно сигареты, коллега? — спросил он, остановившись у окна, спиной к купе.

— Я из лагеря, — ответил я немцу. Дружелюбно улыбнулся и похлопал себя по пустым карманам.

— Да, нынче всем нам хорошо, — вздохнул немец. Сказал, что по профессии он техник, но теперь вынужден заниматься физическим трудом, во время войны его записали в партию. Сейчас это не помогает ни ему, ни его жене. Три года он был на Западном фронте, строил

укрепления, ранен осколком бомбы. Пришлось оперировать ногу и простату.

— Это нам тоже не помогает, — добавил он, вяло усмехнувшись.

Нужно ждать и копить деньги, подумал я. Хотелось бы написать обо всем, что я пережил, но никто во всем мире не поверит писателю, который пишет на чужом языке. Это все равно что убеждать деревья или камни. К тому же моим пером двигала бы не мировая любовь, а мировая ненависть, а это непопулярно. Интересно, что бы я сделал, если б узнал, что она все-таки жива? Не знаю, осторожно подумал я, слишком часто я мысленно раздеваю донага встреченных на улице женщин.

Было уже совсем темно, когда поезд подошел к станции. Редкие фонари на высоких столбах едва светились во тьме желтушным светом. Станционные здания укрывали перрон густой черной тенью.

С перрона доносились выкрики, топот ног, скрип багажных тележек, свистки железнодорожников. Из американского экспресса с шумом выскакивали солдаты и, забросив за спину свои армейские ранцы, взбегали по лестнице на вал, отделяющий вокзал от высоко расположенного города. Возникнув на минуту в ярком свете фонарей на гребне вала, они тотчас растворялись в темноте. Издалека долетали их выкрики, смех и свист.

Варшавянин прыгнул из тамбура прямо на землю и принял у меня чемоданчик. Американский солдат с синими ногтями заботливо ссадил женщину с высокой подножки и забрал у нее свой портфель. Она взяла американца под руку. Пожелав нам спокойной ночи, они, топоча,

взбежали по деревянной лестнице и исчезли за валом вместе с другими.

— Сегодня нам негде спать, — благодушно сказал варшавянин. — Пойдем тут к одному, только, знаешь, у него малость бабами воняет.

— Ты что-нибудь выторговал у ковбоя за комнату? — спросил я, когда мы проходили по перрону. Отдав билеты контролеру в фуражке с околышем, мы направились к лестнице.

— Главное — завязать контакт, сойтись с человеком поближе, — сдержанно ответил варшавянин.

— Зачем даром отдал? — разозлился я. — Уж лучше б мы себе ее забрали, вполне свеженькая бабенка, разве что чуть полноватая.

— Она же старше тебя, ты видел.

— А я как раз люблю таких!

— Ну, мой милый, откуда я мог знать — ты всегда говорил другое, — удивился варшавянин.

— А ты всегда знаешь только то, что тебе выгодно, — огрызнулся я.

Локомотив загудел, экспресс двинулся дальше. Освещенные окна скользнули по перрону, по сгоревшим домам и вагонам и исчезли во рву.

— Э, парень, да тут доллары под ногами валяются — всех не соберешь! Здоровья не хватит! — сказал варшавянин, пренебрежительно пожав плечами.

Мы медленно шли по гравию. У самой лестницы догнали хромого, который тащил огромный рюкзак и чемодан. Опираясь на тирольский посох и волоча несгибающуюся ногу, он неловко взбирался по ступеням.

— Господа, вы случайно не видели, куда

пошла моя жена? — спросил хромой, когда мы вместе вышли на темную улицу, бегущую между руинами.

— Нет, случайно не видели, — ответил я. И подумал: очень по душе мне эти опустевшие немецкие города, тихо гниющие под дождем и солнцем, словно падаль. Кто вдыхал дым крематория, тот способен оценить прелесть подвального запаха заброшенных немецких руин. По душе мне эти люди — они живут в ожидании грядущих событий, будто в ожидании поезда, который все проносится мимо, и довольствуются поношенными костюмами, идеями, женщинами. Я мог бы без усталости бродить по выжженным улицам этих городов и каждый раз переживать заново минуты счастья. Существует ли на свете другой край, который больше был бы для меня родиной?

— Впрочем, я имел видеть твою жену, — на ломаном немецком сказал варшавянин. С минуту он шел молча, потом добавил: — Она пошла с негром! *So eine Frau!*¹

Он зло усмехнулся и согнул локоть, выражая таким образом свое восхищение женщиной.

— Жаль, — сказал хромой. Он пересек с нами мостовую и тяжело шагал под деревьями, волоча ногу по опавшим шелестящим листьям.

— Жаль, — откликнулся я.

— У вас случайно нет сигареты? — спросил хромой у варшавянина.

— У меня случайно нет сигареты, — терпеливо ответил варшавянин.

— Спокойной ночи, господа, — сказал хромой, коснувшись рукой, в которой держал по-

¹ Вот это женщина! (нем.)

сох, полей тирольской шляпы с белым эдельвейсом.

— Спокойной ночи, — сказал варшавянин.

Немец в золотом пенсне повернулся и, волоча ногу, стал переходить улицу.

— Спокойной ночи, спокойной ночи! — пропел я вслед ему.

Варшавянин тихонько прыснул. Я громко, фальшиво засвистел — эхо разнеслось по пустынной улице, — залихватски потер руки и крепко хлопнул варшавянина ладонью по спине.

ЯНВАРСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

I

Я расскажу сейчас короткую, но поучительную историю, услышанную мной от одного польского поэта, который вместе со своей женой и приятельницей (филологом-классиком по образованию) отправился в первую послевоенную осень в Западную Германию, чтобы написать цикл очерков изнутри того чудовищного и вместе с тем комического тигля народов, который угрожающе бурлил и кипел в самом центре Европы.

Западная Германия кишела тогда табунами людей — голодных, оступевших, смертельно перепуганных, опасаящихся всего на свете, не знающих, где, на сколько и зачем они задержатся, людей, перегоняемых из городка в городок, из лагеря в лагерь, из казармы в казарму и столь же оступевшими и пере-

пуганными тем, что они увидели в Европе, молодыми американскими парнями, которые прибыли сюда в роли апостолов, чтобы завоевать и обратить в свою веру материк, и, обосновавшись в своей зоне оккупации Германии, принялись усиленно обучать недоверчивых и неподатливых немецких бюргеров демократической игре — бейсболу и основам взаимного обогащения, обменивая сигареты, жевательную резинку, презервативы, печенье и шоколад на фотоаппараты, золотые зубы, часы и девушки.

Воспитанные в поклонении успеху, который зависит только от смекалки и решительности, верящие в равные возможности каждого человека, привыкшие определять цену мужчины суммой его доходов, эти сильные, спортивные, жизнерадостные, полные радужных надежд на уготованную судьбой удачу, прямые и искренние парни с мыслями чистыми, свежими и такими же гладко отутюженными, как их мундиры, рациональными, как их занятия, и честными, как их простой и ясный мир, — эти парни питали инстинктивное и слепое презрение к людям, которые не сумели сберечь свое добро, лишились предприятий, должностей и работы и скатились на самое дно; в то же время они вполне дружелюбно, с пониманием и восхищением относились к вежливым и тактичным немцам, которые уберегли от фашизма свою культуру, а также к красивым, крепким, веселым и общительным немецким девушкам, добрым и ласковым, как сестры. Политикой они не интересовались (это делали за них американская разведка и немецкая пресса), полагали, что свое они сделали, и стремились вер-

нуться домой, отчасти от скуки, отчасти от ностальгии, а отчасти опасаясь за свои должности и карьеру.

Словом, было очень трудно вырваться на волю из тщательно охраняемой, клейменной массы «перемещенных лиц» и пробиться в большой город, чтобы там, вступив в польскую патриотическую организацию и включившись в цепь «черного рынка», начать нормальную, частную жизнь — обзавестись квартирой, машиной, любовницей и официальными документами, карабкаться вверх по социальной лестнице, передвигаться по Европе, как по собственному дому, и чувствовать себя свободным, полноценным человеком.

После освобождения нас тщательно изолировали от окружающего мира, и весь май, душистый и солнечный, мы прозябали в грязных, посыпанных ДДТ бараках Дахау; потом негры шоферы перевезли нас на все лето в казармы, где мы лениво пролеживали бока в общей спальне, редактировали патриотические журнальчики и под руководством нашего старшего товарища, весьма религиозного человека, наделенного каким-то сверхъестественным коммерческим чутьем, торговали чем придется и обдумывали пути легального выхода на свободу.

После двух месяцев усилий, столь кошмарных и смешных, что их стоило бы когда-нибудь описать отдельно, мы все четверо перебрались в комнату активно действующего Польского комитета в Мюнхене, где и основали Информационное агентство, а потом, благодаря лагерным свидетельствам, троим из нас — вполне честным и законным путем — удалось получить удобную, четырехкомнатную квартиру,

принадлежавшую деятелю бывшей нацистской партии. Его временно выселили к родственникам, велел оставить нам немного мебели и картин религиозного содержания. Остальную мебель и книги мы перевезли из комитета, где они были ни к чему.

Наш руководитель свел знакомство со служащими ЮНРРА¹ и Польского Красного Креста, из Лондона занялся распределением американских посылок по лагерям, вернулся к своей довоенной театральной деятельности, начал выплачивать нам регулярное пособие и, поселившись в шикарном баварском особняке в районе городского парка, приезжал к нам на роскошном штабном свежеразкрашенном «хорхе».

II

Мы были в то время убежденными эмигрантами, и все четверо мечтали поскорее удрать из разрушенной и запертой, точно гетто, Европы на другой материк, чтобы там спокойно учиться и сколачивать состояние. А пока что мы с воодушевлением разыскивали наших близких. Один из нас искал жену, с которой расстался в пересыльном лагере в Прушкове, откуда его отправляли в Германию; другой — невесту, след которой затерялся в Равенсбрюке; третий — сестру, которая участвовала в восстании; четвертый — девушку, которую он оставил беременной в цыганском лагере, когда его в октябре

¹ ЮНРРА — сокр. от англ.: United Nations Relief and Rehabilitation Administration — Администрация помощи и восстановления Объединенных наций.

сорок четвертого отправили из Биркенау в Гросс-Розен, Флоссенбург, Дахау. Кроме того, поддавшись общему безумию, мы всем скопом искали всевозможных близких и дальних родственников и друзей. Но при этом людей, приезжавших из Польши, беженцев или командированных, мы встречали с мнимым радушием, а на самом деле с отталкивающим недоверием, подозрительно и настороженно, словно тифозных больных.

Командированными занималась разведка Свентокшисской бригады, которая всю информацию передавала непосредственно в Италию, беженцы же бесследно растворялись в безмянной толпе депортированных и нередко всплывали потом в качестве местных королей масла, чулок, кофе в зернах или почтовых марок; а порой им удавалось даже стать управляющими бывших гитлеровских предприятий и фирм, что считалось высшей ступенью карьеры.

Поддавшись, однако же, естественному любопытству, а отчасти прельщенные славой, окружавшей в Польше имя поэта, мы пригласили его вместе с женой и приятельницей погостить у нас несколько дней. Мы работали тогда в канцелярии Красного Креста: составляли, печатали и рассылали аршинные списки поляков, разыскивающих свои семьи, и до обеда наша квартира пустовала; после обеда мы ходили на реку загорать и купаться, а вечерами усердно писали книгу о концлагере, издание которой должно было нас прославить и принести деньги, необходимые для бегства с континента.

Поэт, который вместе с женой и приятельницей (филологом-классиком) несколько дней отдыхал после многотрудного путешествия на

мещанском, красного дерева супружеском ложе нашего хозяина (придя в себя, он проявил неожиданную прыткость, досконально изучил все закоулки разрушенного города, проник во все тайны «черного рынка» и из первых рук узнал сложные проблемы многоязычной массы перемещенных лиц), от нечего делать прочел несколько отрывков из нашей книжки и возмутился тем, что вся она проникнута глухим безнадежным неверием в человека.

Мы все трое начали горячо спорить с поэтом, его молчаливой женой и его приятельницей (филологом-классиком по образованию), утверждая, что нравственность, национальная солидарность, любовь к родине, чувства свободы, справедливости и человеческого достоинства слетели в эту войну с человека, как истлевшая одежда. Мы говорили, что нет преступления, какого не совершил бы человек ради своего спасения. А спасшись, он совершает преступление по любому пустячному поводу, потом по обязанности, потом по привычке и в конце концов просто для удовольствия.

Мы, смакуя, рассказывали всевозможные случаи из нашей многострадальной и суровой лагерной жизни, убедившей нас, что весь мир подобен лагерю: слабый работает на сильного, а если у него нет сил или он не хочет работать — ему остается или воровать, или умереть.

«Справедливость и нравственность не правят миром, преступления не караются, а добродетель не награждается, и то и другое забывается одинаково быстро. Миром правит сила, а силу дают деньги. Труд всегда бессмыслен — ведь деньги добываются не трудом, их добывают, грабя и эксплуатируя. Если ты не способен эксплуати-

ровать как можно больше, то, по крайней мере, трудись поменьше. Нравственный долг? Мы не верим ни в нравственность отдельного человека, ни в нравственность какого-либо социального строя. В немецких городах в магазинах продавались книги и предметы религиозного культа, а в лесах дымили крематории...

Конечно, можно бежать от мира на необитаемый остров. Но полно, можно ли? И потому не удивляйтесь, что мы судьбе Робинзона предпочитаем мечту о судьбе Форда, вместо возврата к природе выбираем капитализм. Ответственность за мир? Но разве человек в таком мире, как наш, может отвечать за самого себя? Мы не виноваты в том, что мир устроен так скверно, и не хотим умирать ради того, чтобы его изменить. Мы хотим жить, вот и все».

— Вы хотите бежать из Европы в поисках гуманизма, — сказала приятельница поэта, филолог-классик.

— Нет, прежде всего, чтобы спастись. Европа погибнет. Мы живем тут изо дня в день, отгороженные призрачной плотинкой от вздымающихся вокруг нас волн, которые, хлынув, зальют ценные бумаги, протоколы конференций, затопят собственность, «черный рынок», полицию, сорвут с человека свободу, как одежду. Но кто знает, на что способен человек, решивший защищаться? Крематории погасли, но дым их еще не развеялся. Я не хотел бы, чтобы наши тела пошли на растопку. И кочегаром быть не хотел бы. Я хочу жить, вот и все.

— Верно, — сказала с бледной улыбкой приятельница поэта.

Поэт молча прислушивался к нашему короткому спору. Он большими шагами ходил по

спальне, поддакивал и нам и своей приятельнице и улыбался отрешенной улыбкой, словно человек, случайно забредший в чужой мир (такой позицией, а также длиной поэм славилась до войны его аналитическая, созерцательная поэзия), а потом, за ужином, приготовленным его молчаливой и хозяйственной женой, выпив немало отечественной водки, которая развязывает языки поляков независимо от их пола, политических взглядов и вероисповедания, поэт, катая в пальцах хлебные шарики и бросая их в пепельницу, рассказал нам следующую историю.

III

Когда советские войска в январе прорывали фронт на Висле, чтобы одним мощным рывком приблизиться к Одру, поэт, вместе со своей женой, детьми и приятельницей, филологом-классиком, жил в одном из крупных городов на юге Польши, где его приютил после восстания в служебной квартире при городской больнице знакомый врач. Через неделю после начала наступления советские танковые части, разбив неприятеля под Кельце, ночью неожиданно форсировали речку, защищавшую город, и, соединившись с пехотой, без артподготовки, ворвались на северную окраину, сея панику среди немцев, занятых эвакуацией своих служащих, документов и узников. Бой шел всю ночь; утром на улицах города появились первые советские патрули и первые танки.

Персонал больницы, как и все жители города, со смешанным чувством смотрел на грязных, обросших и промокших солдат, которые, не то-

ропясь, но и не замедляя шаг, сосредоточенно двигались на запад.

Потом по тесным и извилистым улицам города прогремели танки и сонно, флегматично потянулись прикрытые брезентом обозы, конная артиллерия и кухни. Время от времени русским сообщали, что в таком-то подвале или в саду прячутся затерявшиеся, запуганные немцы, которые не успели бежать; тогда несколько солдат неслышно соскальзывали с повозки и исчезали во дворе. Вскоре они выходили, сдавали пленных, и вся колонна сонно двигалась дальше.

В больнице после первоначального оцепенения царили суета и оживление; готовили палаты и перевязочный материал для раненых солдат и жителей города. Все были взволнованы и взбудоражены, словно муравьи в разворошенном муравейнике. Неожиданно в кабинет главного врача ворвалась запыхавшаяся медсестра, тяжелая грудь ее колыхалась.

— Тут уж вы, доктор, решайте сами! — закричала она и, схватив удивленного и обеспокоенного главврача за рукав, потащила его в коридор. Там на полу сидела у стены девушка в насквозь промокшем мундире, с которого грязными струйками стекала на пол вода. Девушка держала между широко расставленных колен русский автомат, рядом лежал ее вещмешок. Она подняла на доктора бледное, почти прозрачное лицо, спрятанное под меховой ушанкой, улыбнулась с натугой и, сделав усилие, поднялась. Тут только стало видно, что она беременна.

— У меня схватки, доктор, — сказала русская, поднимая с пола автомат, — у вас есть тут место, где можно родить?

— Найдется, — ответил врач и, шутя, доба-

вил. — Значит, рожать придется, вместо того чтобы идти на Берлин?

— Всею свое время, — хмуро ответила девушка.

Сестры засуетились вокруг нее, помогли раздеться, вымыли и уложили в постель в отдельном боксе, а одежду повесили сушить.

Роды прошли нормально, ребенок родился здоровым и орал так, что было слышно по всей больнице. Первый день девушка лежала спокойно и занималась исключительно ребенком, но на второй поднялась с постели и начала одеваться. Сестра побежала за врачом, но русская лаконично заявила, что это не его дело. Облачившись в мундир, она запеленала ребенка, завернула его в одеяло и привязала себе за спину, как делают цыгане. Простившись с врачом и сестрами, русская взяла автомат и вещмешок и спустилась по лестнице на улицу. Там она остановила первого встречного и коротко спросила:

— Куда на Берлин?

Прохожий бестолково заморгал глазами, а когда девушка нетерпеливо повторила вопрос, понял и махнул рукой в направлении дороги, по которой нескончаемым потоком тянулись машины и люди.

Русская поблагодарила его, энергично кивнув головой и вскинув автомат на плечо, уверенным широким шагом двинулась на запад.

IV

Поэт умолк и смотрел на нас без улыбки. Но и мы молчали. Потом, опрокинув за здоровье молодой русской очередную рюмку отечествен-

ной водки, мы дружно заявили, что вся эта история ловко придумана. А если поэту действительно рассказали такое в городской больнице, то женщину, которая с автоматом и новорожденным ребенком на руках приняла участие в январском наступлении, столь легкомысленно подвергнув опасности высшие человеческие ценности, такую женщину никак нельзя считать гуманистом.

— Я не знаю, кого можно считать гуманистом, — сказала приятельница поэта. — Тот ли гуманист, кто, запертый в гетто, жертвуя жизнью, фабрикует фальшивые доллары для покупки оружия и делает гранаты из консервных банок, или тот, кто бежит из гетто, чтобы спасти свою жизнь и читать оды Пиндара?

— Мы восхищаемся вами, — сказал я, сливая ей в рюмку остаток отечественной водки, — но не будем вам подражать. Мы не будем фабриковать фальшивые доллары, мы предпочитаем добывать настоящие. И гранаты мы делать тоже не будем. На то есть заводы.

— Можете не восхищаться, — ответила приятельница поэта и залпом выпила водку. — Я убежала из гетто и всю войну просидела у друзей в ящике дивана.

И чуть погодя с усмешкой добавила:

— Да, но оды Пиндара я знаю наизусть.

V

Вскоре поэт купил в Мюнхене подержанный «форд», нанял шофера и, записав адреса наших родных, набрав поручений к друзьям, вместе со

своей женой, приятельницей (филологом-классиком) и сундуками отбыл через Чехию на родину.

Весной мы с товарищем тоже вернулись с эшелонам репатриантов в Польшу, привезя с собой книги, одежду, сшитую из американских одеял, сигареты, горькие воспоминания о Западной Германии и недоверие к собственной родине. Один из нас нашел и похоронил тело своей сестры, засыпанной обломками во время восстания; он стал архитектором и теперь создает проекты восстановления разрушенных польских городов. Другой совсем помещански женился на своей отыскавшейся после лагеря невесте и стал писателем на родине, которая начинает строить социализм.

Наш бывший руководитель — святой человек в мире капитализма, член влиятельной и богатой американской секты, проповедующей веру в переселение душ, самоуничтожение зла и метафизическое влияние человеческой мысли на действия живых и мертвых, — продал свои автомашины, купил коллекцию редких марок, дорогие аппараты и ценные книги и отбыл на другой материк, в Бостон, чтобы там, в столице своей секты, вступить в спиритический контакт со своей женой, умершей в Швеции.

Наш четвертый приятель нелегально пробрался через Альпы в Итальянский корпус, который был эвакуирован на Британские острова и размещен в трудовых лагерях. Перед нашим отъездом из Мюнхена он просил нас навестить в Варшаве его девушку из Биркенау, которую он оставил беременной в цыганском лагере. Она прислала ему письмо, сообщив, что ребенок родился здоровым и, как все дети, родившиеся в лагере,

был отравлен уколом фенола, но мать его, ожидавшую вместе с сотнями других больных женщин смерти в газовой камере, спасло январское наступление...

КОНЦЕРТ В ГЕРЦЕНБУРГЕ

*Профессору Виктору Клемпереру
в память наших бесед о мире*

I

Честно говоря, в Герценбург я ехал без особого желания, но с некоторым любопытством. Что нового мог узнать я в маленьком, затеряншемся среди плодородных холмов городке, где все сплошь занимаются садоводством и огородами? В городке, в котором молодежь или сажает яблони и свеклу, или музицирует? Без крупной промышленности, не затронутом войной, живущем саженцами и Бахом? Да еще эта близость границы! Западная Германия — рукой подать. Западная — то есть фашиствующая.

— Вот посмотришь, тебе будет интересно, — сказал мне в Берлине мой приятель из Союза молодежи, который был в курсе молодежных дел в Герценбурге. — Хочешь знать, как идет борьба за Германию? За новую демократическую Германию? Как искореняется гитлеризм? Побывай в маленьких городках, послушай людей. Загляни в деревню, посмотри, как поселенцы строят новые дома, записывай, что они говорят, не бойся жалоб. Им трудно, как мичуринским гибридам, они в демократии еще не акклиматизировались. А маленький Герценбург! Ну что тебе

сказать? Рабочих мало, пенсионеры, чиновники, в лучшем случае садовники — словом, музыкальная интеллигенция. Большинство жителей — переселенцы из-за Одры и Нысы. С Запада им все внушают, что они вот-вот вернутся к себе и поляки будут гнуть на них спину. Одни не верят — взялись за работу и сажают деревья, женятся, живут и наживают добро, другие — сидят на чемоданах, вечерами играют на кларнетах и ждут войны. С музыкой, брат, у нас плохо.

— Особенно с Шопеном, — продолжал он, — ведь Шопен, сам понимаешь, поляк. Но могу тебя утешить: говорят, этот конкурс у них в самом деле удался. Я даже слышал, что в Герценбург должен приехать профессор Генрих К. Он сейчас читает лекции о мире по всей Саксонии. Ты ничего не слышал о профессоре Генрихе К.?

II

— Тебе надо познакомиться с профессором! Это крупный немецкий филолог, еврей по происхождению. Я говорю «еврей» не потому, что удивляюсь, как удалось ему среди гитлеровцев дожить до конца войны. Видишь ли, профессор Генрих К. родом из старой немецкой семьи, он играл значительную роль в либеральной партии при Вильгельме II. Только гитлеровцы открыли ему глаза на то, что он еврей. На него это сильно подействовало. Если б ты прочитал его дневники того времени! (Он встал из-за стола, подошел к шкафу и, достав оттуда книгу в твердом переплете, сунул мне ее в руки со словами: «Возьми в дорогу, не пожалеешь».)

— Это одно из интереснейших исследова-

ний гитлеризма. Как все филологи, он обладал обостренной наблюдательностью и особым чувством языка, живо реагировал на любые изменения в нем, как другие на погоду. Не политические события, не банды штурмовиков, не факельные шествия через Бранденбургские Ворота, а исключительно вырождение языка обратило его внимание на ту опасность, которую таил в себе фашизм, и научило смотреть на мир глазами политика. Его лишили кафедры, изъяли рукописи и заметки, его бойкотировали коллеги и издатели — но еще в 1933 году он начал составлять каталог фашистских выражений, в котором прослеживал процесс успешного отравления народного сознания бессмысленным, омерзительным гитлеровским косноязычием. Это была единственная доступная ему форма научной работы. Он не хотел терять эти годы понапрасну. Ты ведь знаешь, евреям запрещалось читать арийские книги и даже газеты. Еврейские — дело другое, еврейские запрещалось читать арийцам. Это смешно — жена профессора была чистокровной немкой, «нордической арийкой». Ему разрешалось делить с ней ложе, но не чтение. Однако профессору удалось спасти часть своей библиотеки. Он наклеил на корешки книг карточки с полными именами немецких классиков. Что Гейне еврей, гестаповцы знали, Лессинга он уберег без хлопот — имя Эфраим звучало вполне по-еврейски, то же самое — с Мозесом Мендельсоном¹. Но уже на монографии Гундольфа² о Шекспире ему пришлось надписать:

¹ Мендельсон Мозес (1729—1786) — немецкий просветитель, философ-идеалист.

² Гундольф Фридрих (1880—1931) — немецкий историк культуры и поэт.

«Израэль Рудольф Гундольф». Благодаря прилепленному имени Израэль уцелел прекрасный портрет кисти Макса Либермана¹. Жена-арийка приносила ему книги из читальни и библиотеки. Ясное дело — только гитлеровскую литературу. Профессор поглощал ее, продолжая исследования. Это было не совсем безопасно: во время одной из ревизий у него нашли «Миф XX века» Розенберга² и разбили книгу об его голову. «Как это еврей осмелился читать такое произведение! — возмутился эсэсовец. — Это все равно что Иуда читал бы Евангелие!» За этим чтением профессор Генрих К. накапливал записи, дополняя их после разговоров на фабрике, слушая радио, украдкой читая газеты. Он клеил на фабрике коробки, прислушивался к болтовне «арийцев» — рабочих и мастеров, изучая на них степень зачумленности гитлеровским жаргоном. Со злым юмором отмечал он то же самое у своих приятелей-евреев. Представь себе, поражение под Сталинградом стало для него яввю лишь после того, как это отразилось в эсэсовской песне! До Сталинграда в пресловутом шлягере нацистов пелось:

Нынче наша вся Германия,
А завтра — целый мир!

После Сталинграда профессор, проходя как-то по дрезденским улицам (евреям не разрешалось ездить в трамваях), услышал, как марширующая рота эсэсовцев поет:

¹ Либерман Макс (1847—1935) — немецкий живописец.

² Розенберг Альфред (1893—1946) — один из главных немецко-фашистских военных преступников, видный идеолог фашизма.

Ныне слышит нас Германия,
А завтра — целый мир.

«Война идет к концу, — сказал он, вернувшись домой. — Интересно, доживем ли мы?»

Наши семьи очень дружили, но, сам понимаешь, при гитлеризме мой отец не очень-то охотно вспоминал о Генрихе К. Хотя не одну кружку пива выпили они вместе в университетском ресторане. Последний раз во время войны я видел профессора, когда он шел на фабрику. Сгорбленный, со звездой, нашитой на пиджак. Как мужа «арийки», его не вывезли ни в Терезиенштадт, ни в Аушвиц. Он жил вместе с другими «метисами» в специальном доме — с полутюремным, полулагерным режимом. Я хотел подойти к нему, но тут вдруг из-за угла вынырнула машина, набитая молодчиками из гитлерюгенда. Один из них высунулся наружу и что-то крикнул профессору. Тот съежился и закрыл лицо руками. Отвернулся к стене и, только когда машина скрылась между домами, медленно пошел дальше. Понимаешь, в машине сидел мой приятель Гайнц Лонер.

Это тоже целая история! Мы знали друг друга с детства, вместе играли в индейцев в профессорском саду, а потом воевали в одной роте на восточном фронте. Только я был рядовым, а он — поручиком. Я в июле 41-го перешел линию фронта и служил потом в Красной Армии, а он, должно быть, остался послушным до конца. Настоящий юнкер с традициями. Сын пастора, который был сыном офицера, который был сыном пастора, — и так несколько поколений. Его мать слыла в нашей семье прогрессивной женщиной. Она держала большой бакалейный магазин в центре города, но симпатизировала социал-демократам.

Читала вольнодумные книги, однако сына воспитывала патриотом — каким были отец-пастор и дед-офицер. Мы с ним окончили гимназию в 1939-м, и осенью я пошел в строители, а Гайнца мать определила добровольцем в армию. Он был в ярости, когда рассказывал мне все это. Подумай только, сначала она пошла посоветоваться со старым профессором. Был вечер, когда она, представившись портье, вошла на темную лестницу и позвонила. Ей открыл сам профессор, жена уже спала. «Профессор, — сказала она, — мой сын идет в армию. Я в долгу перед памятью его отца. У сына нет духовного призвания. Он привержен новому духу». — «Знаю, — ответил профессор, — и желаю ему, чтобы он с этим духом не победил. А вы знаете, что будет, если он не победит? — Профессор повернулся к пожилой женщине и посмотрел на нее с мудрой иронией. — Он погибнет. И это говорю я, друг вашего дома». — «Как вы смеете! Жид!» — крикнула госпожа Лонер и с плачем выбежала из квартиры профессора. Профессор закрыл за ней дверь и подошел к окну, за которым сияли огни прекрасного Дрездена, белели стены дворцов, и черные деревья, освещенные желтыми фонарями, тянулись кронами к небу. Тихо двигались по рельсам трамваи, и машины скрещивали лучи своих фар. В городском парке, мигая разноцветными лампочками, вращались чертовы колеса и карусели. В открытое окно доносились приглушенные звуки музыки. «Чего она, собственно, хотела?» — спросила у него жена. «Застраховаться. У каждого немца есть свой еврей. Если Гитлер капут, а я выживу, то смогу засвидетельствовать, что она насильно отдала Гайнца в добровольцы». Он засмеялся и высунулся в окно. «Красивый

город! — подумал он. — Древние, мудрые камни! Они переживут всех нас, и им не понадобятся наши свидетельства!»

Как тебе известно — не пережили. 13 февраля 1945 года Дрезден был уничтожен американскими самолетами. Это был налет, так сказать, политический. Советская Армия стояла в нескольких километрах от пригорода. Русские хотели взять город целым, воспользоваться мостами и дорогами. Фашисты знали, что им не удержать город, к тому же в нем размещался миллион беженцев со всей Германии. Но оставалась третья возможность, и ею воспользовались американцы. За час бомбежки город превратился в пепелище, а беженцы — в груды дымящегося мяса. Кто сидел в убежище — спекся живым. Кто убегал на берег реки или в городские парки, тех косили самолеты, пролетая над самыми верхушками деревьев. После налета отряды СС обливали штабеля трупов бензином и сжигали; взрывали заводы и мосты. Враги поладили друг с другом: обе стороны знали, что по Ялтинскому соглашению Дрезден отходит к советской зоне оккупации.

То, что одним принесло смерть, другим подарило свободу. Накануне налета гестапо уведомило профессора Генриха К., что вечером следующего дня он обязан явиться к ним с вещами. Вместе со всеми евреями, живущими еще в Дрездене. Но к вечеру следующего дня не было уже ни евреев, ни гестапо, ни Дрездена. После бомбежки профессор вместе с женой убежал из города и, выдавая себя за чистокровного немца, прятался до конца войны в маленьком городке у аптекаря, спал там в гостиной прямо под портретом Гитлера. Он не знал, что происходит

в мире, продвигаются ли союзники вперед, как уверяли оптимисты, или же война продлится еще годы, как пророчили пессимисты, верящие в чудесное оружие Гитлера. В один прекрасный день профессор украдкой вышел во двор. Возле уборной валялся в клочья изодранный аптекарский диплом, красными готическими буквами свидетельствующий о том, что его обладатель присягал в Нюрнберге на верность фюреру. Тогда профессор Генрих К. понял, что война в самом деле кончается. Действительно, на другой день в городок вошли американцы, аптекарь стал бургомистром, и жизнь быстро вошла в колею.

Профессор Генрих К. возвратился в Дрезден и в восстановленном университете возглавил кафедру германской филологии. Но старый либерал не ограничился научной деятельностью. Скрученный ревматизмом, искалеченный побоями в гестапо, с астмой и больным сердцем, ездит он неутомимо по селам и городкам Саксонии. Стал активистом Социалистической единой партии Германии, участвует в работе Союза культуры. Он один из тех деятелей культуры, которые вносят в нее политику. Ему предлагали пост в центральных органах власти — он отказался. «Я должен ездить, встречаться с людьми, воспитывать», — сказал он. И я думаю, у нас не было бы такой молодежи — такой боевой, такой революционной — если бы не люди типа профессора Генриха К. Передай ему от меня привет. Давно уже собираюсь к нему. Но разве вырвешься из-за своего стола?

В тот же день я выехал из Берлина, искренне радуясь предстоящей встрече с профессором. Но я не ожидал, отправляясь в тихий городок

Герценбург, что окажусь свидетелем встречи профессора Генриха К. с офицером Гайнцем Лонером.

III

Герценбург, небольшой саксонский городок, полностью сохранившийся со времен Ренессанса, встретил нас флагами, осыпающимися листьями, которые шелестели под ногами, осенним ласковым солнцем и разноцветными домиками, расположенными по склонам холмов у подножия феодального полуразрушенного замка. Крутой, выложенной плоскими камнями улочкой добрались мы до ворот замка и вошли в подземелье, где покоились первые немецкие императоры. Гид говорил о них с профессиональным почтением, многозначительно понижая голос и предусмотрительно умалчивая о том, что их останки были случайно откопаны при Гитлере и снова захоронены с большой помпой, поскольку воевали они на Востоке, со славянами. От мраморных стен гробницы веяло холодом, узкие окна не пропускали солнца. Мы быстро покинули склеп и задержались на пороге. С замкового двора, где предприимчивый ресторатор расставил столики и угощал посетителей коньяком и бутербродами без карточек (с ним можно было договориться и насчет «левой» ветчины! И сюда добрался черный рынок, в замок феодалов!), — со двора открывался замечательный, незабываемый вид. У подножия замка волновалось на холмах море островерхих крыш, над ними поднимались нежные струйки дыма и сливались с тяжелыми, мягкими облаками, лениво

ползущими по небу. В маленьких оконцах белели на полуденном солнце занавесочки, по деревянным стенам вился плющ. Словом, городок — будто со старинной открытки: «исторический», красочный, очень приятный, если бы не горы навоза, вздымающиеся за домами, и не вонючая, мелкая, загрязненная речушка, протекавшая под замком. Ниже, среди домов и крутых улочек, купами росли пышные деревья — златозеленые, неподвижные, солидные. В центре городка, у площади, сверкающей белым камнем, устремлялись к небу готические башни собора, а на склонах холмов, окружающих город, дымили трубы разбросанных там и сям маленьких фабрик и одиноко стояли у шоссе шарообразные яблони.

Осмотрев панораму городка, я выпил две рюмки коньяка, закусив его ветчиной, весьма изрядно заплатил по счету и, посетив в комнатах замка выставку, посвященную Гете (той осенью в каждом городке устраивались выставки памяти Гете), направился в собор святого Базилия на рыночной площади. Церковь оказалась голой и холодной, стертые скамьи стояли пустые, через открытые двери долетал мирской шум ветра. На что ж тут смотреть, если нет людей! Бедекер советует топтаться у памятников старины и отирать ступени музеев и соборов. Я предпочитаю живых людей; ничто их не заменит, даже церкви и музеи. Столкнуться с конфликтом, ощутить, как в живой человеческой жилке пульсирует кровь — это да! Тогда даже пустая церковь оживает.

В соборе святого Базилия у черных мраморных плит лежали венки из живых цветов и горели маленькие погребальные свечи. Каменщик

выбил на плитах имена прихожан, погибших в первую мировую войну. У каждой состоятельной семьи была здесь своя плита, одна больше другой. Только в семье Грассхоф, как видно, многодетной, погибли в то время: один капитан, два поручика, коммерсант, инженер, два помещика, один пастор и один лесничий. После второй мировой войны не успели еще вырезать плиты из мрамора. Плиты были деревянные и стояли у стен бокового придела. Поставленные в память об умерших, они являлись своеобразным уроком истории. Достаточно было взглянуться в эти плиты и посчитать имена на пальцах, как правда истории начинала говорить сама за себя. В Польше, сообщали плиты, погибли четверо прихожан святого Базилия, во Франции остались только двое, на полях Советского Союза похоронено их больше ста. Длинной, печальной, позолоченной чередой тянулись имена, фамилии, звания, даты смерти, которые сопровождались кратким и выразительным некрологом: «Im Osten» — на Восточном фронте.

Эти надписи еще не успели почернеть, а венки у досок были совершенно свежими и сверкали капельками воды, которой их освежила заботливая рука.

IV

Уже смеркалось, когда, ознакомившись с городком и, как говорится, побеседовав с людьми, отправились мы в музыкальную школу, где после вручения наград ученикам — победителям шопеновского конкурса — должен был состояться концерт лауреата. Им оказался семнадцатилет-

ний паренек, переселенец из Опольской Силезии. Директор школы утверждал, что юноша инстинктивно понимает музыку Шопена.

— Кровь, уверяю вас, кровь! — сказал он мне с воодушевлением. — Нет, пусть там пишут что угодно, а расовое родство — решающий момент. Особенно в искусстве! — И, поймав мой недоуменный взгляд, добавил с триумфом: — Его мать — полька!

— Но отец Шопена был француз!

— Я не утверждаю, что французы не понимают Шопена, — отпарировал директор, уязвленный.

Потом мы говорили об условиях жизни артистов после войны, о стараниях руководства провинции обеспечить профессуру и учеников продуктами и стипендиями, о нехватке инструментов и нот. Директор не жалел слов благодарности в адрес правительства и Культурбунда¹, вспомнил и о профессоре Генрихе К.

— Мы побаиваемся его выступления. Людей нужно убеждать осторожно, гуманно. У него же не хватает такта. Он дурно воспитан. Наверняка не понимает музыку; человек, любящий Баха, не станет произносить политические речи.

Школьный сад, в котором мы беседовали, ранее наполненный приглашенными гостями, начал пустеть. Вместе с другими мы прошли через вестибюль в зал. В огромный, типично немецкий школьный актовый зал, стены и потолок которого неизвестный и непризнанный художник украсил мифологическими и местными пейзажами, постепенно собиралась публика. По-

¹ К у л ь т у р б у н д — организация, занимающаяся вопросами культуры в ГДР.

прощавшись с директором, я пробрался в дальние ряды, сел, извинившись, рядом с пожилой женщиной с вязаньем на коленях и начал разглядывать лица. Зал заполняли преимущественно горожане, любители возвышенной музыки. Только она не изменилась со времен Вильгельма II; слушая ее, они возвращались в страну своей молодости. Значительную часть публики составляли бывшие военнопленные, проездом задержавшиеся в Герценбурге. Они разъезжались по своим семьям в округе, либо переправлялись на Запад — искать вместо работы счастья в Иностранном Легионе или в немецкой заводской охране. Недоверчиво блестяли молодые глаза: неизвестно — свой или враг, поскольку одеты все в потрепанные мундиры, перекрашенные гимнастерки, штопаные солдатские штаны, белые зимние маскировочные куртки. Немецкий милитаризм, разбитый наголову в военном отношении, не желал изнашиваться: сукно и кожа отличались добротностью. Я сам три с лишним года носил танкистские ботинки, щедро подбитые гвоздями. Подметки чинить не пришлось, пока совсем не выбросил ботинки.

Тем временем перед эстрадой поставили небольшой стол, за который сели директор музыкальной школы, члены жюри и представители городского совета. В первом ряду заняли места четверо награжденных музыкантов: смуглый паренек с иссиня-черными блестящими волосами, которые он нервно откидывал назад, и три тихие девочки. Юноша был награжден стипендией на обучение в Берлине, директор вручил ему диплом; победительницы-девочки получили денежные награды. Растрогавшись, директор обнял своих воспитанников, затем произнес

краткое вступительное слово о красоте немецкой музыки. Зал аплодировал. Потом знаменитое трио Треша из Галле исполнило Опус 8 g-moll Шопена. Притихшая публика слушала со знанием дела. В это время в зал через боковую дверь вошел сгорбленный маленький человек. Хромая, он протиснулся вдоль стены к первому ряду, вызвав в зале сердитое шиканье, и уселся на скрипучее сиденье. Директор нахмурился. Я подумал: «Ага, профессор Генрих К.!»

— Что это за политик? — спросила женщина рядом со мной. Весь концерт она слушала с благоговением, не отрывая глаз от трио, следила за каждым движением смычка, но при этом пальцы ее неумоимо двигались и спицы мелькали в воздухе. Она вязала свитер, и тут уж ничто не могло ее остановить.

— Прислали агитировать, — ответил ей сосед. Видно, он разбирался в музыке: слушая, блаженно улыбался, словно младенец. — А еще говорят, будто Гитлер был злой. Он был слишком добрый, если такие, как этот, остались живы.

Когда утихли аплодисменты, профессор Генрих К. встал с места и, прихрамывая, поднялся на эстраду. Он остановился перед трибуной, отер платком пот со лба и, ожидая, пока уляжется шум, утомленными глазами всматривался в зал. Наступила тишина; зал разглядывал старое, изрытое морщинами лицо профессора, на котором глаза горели, как огни.

— Я вместе с вами слушал музыку, — сказал профессор. — Я очень люблю музыку. В моей библиотеке хранились прекрасные издания Бетховена, Моцарта, Вагнера. Я не смог уберечь их — мою библиотеку уничтожили гестаповцы.

Феликсу Бартольди¹ я добавил имя Израэль, тем же именем наделил Джакомо Мейербера²: мне, еврею, разрешалось слушать только еврейскую музыку, я надеялся таким образом спасти нескольких немецких классиков. Но их произведения сгорели во время бомбардировки Дрездена. Мне не жаль тех нот. Мне жаль дома, в котором я жил, города, в котором я родился, страны, которая и моя родина тоже.

И поэтому, когда я слушаю музыку, я всегда думаю о политике. Но сегодня, юные мои друзья, глядя на вас, получающих награды за музыку Шопена, я подумал: какие вы счастливые, что можете отдаться только музыке. Я забыл обо всем: о моей старости, о моих переломанных костях, о страшных годах фашизма, о друзьях, которых я даже похоронить не мог — их вывозили эшелонами и отправляли в газовые камеры. Но нам нельзя забывать! Простите, мои юные друзья, что я порчу вам праздник! К вам я обращаюсь прежде всего! Музыка сама по себе не правит миром! Миром правит политика. Исполняя Шопена, вам придется бороться за него. Как и народу, который его родил.

— Зачем он все это говорит? — спросила женщина со свитером. Сидевший перед нами молодой человек в толстой куртке обернулся и сказал:

¹ Мендельсон-Бартольди Якоб Людвиг Феликс (1809—1847) — немецкий композитор, дирижер, пианист и органист, основатель первой немецкой консерватории (1843).

² Мейербер Джакомо (наст. имя и фамилия Якоб Либман Бер) (1791—1864) — композитор; жил в Германии, Италии, Франции, писал для оперных театров этих стран.

— Он хочет научить вас политике.

— Политика! А наших пленных в Польше заставляют пахать вместо лошадей! — злобно сказал пожилой господин, который перед тем слушал музыку с закрытыми глазами.

— В самом деле? — равнодушно спросил молодой человек в куртке. В задних рядах захихикали, заскрипели и застучали сиденья, послышался смех. Становилось душно, как на вокзале.

— Я в газетах читал, — сухо ответил пожилой. — А вы что — не верите? Мало вы еще видели.

— В самом деле? — равнодушно повторил молодой человек в серой куртке — коротко стриженный, с энергичным, ожесточенным, исхудавшим лицом.

— Я от них удирал от самого Ростова. Ах, какой же это богатый край! И кому он достался? Этим бандитам, которые убивали наших жен и детей, стреляли в нас из-за каждого угла? Я мог бы тебе, юноша, многое порассказать.

— Сам видел, — равнодушно произнес молодой человек в куртке.

— А, простите. Я не знал, что вы были в плену, — с уважением сказал пожилой господин.

— Ничего, — сказал молодой человек и прервал разговор.

Профессор Генрих К. молча смотрел в зал. Он снова отер лоб платком и с заметно мучительным усилием продолжал дальше:

— Помните: музыка — это политика. Так же, как литература, наука и искусство. Как выращиванье деревьев и воспитание детей. Не убережешь дерево, не убережешь ребенка от унич-

тожения и смерти, если не займешься политической, не будешь бороться против войны. Дерево срубят на дрова, ребенок погибнет в окопе, сгорит в колыбели. И музыка не уберется от гибели, хотя и кажется нам вечной. Ее сожжет фосфор, растопчет сапог гестаповца, газовая камера задушит музыканта, приклад разобьет инструмент. Поэтому знайте: когда вы играете Шопена — хотите вы или нет, — вы защищаете мир. Я хотел бы, чтоб вы защищали его сознательно. Чтобы вы, слушая музыку Шостаковича и Арнольда Шёнберга, защищали мир во всем мире от военных преступников. От всех тех, кто хотел бы превратить нас в пушечное мясо, а культуру ограничить порнографией и джазом.

Низкий бас в зале начал вдруг напевать мелодию самбо, которая каждый день звучала по американскому радио. Самбо — это такой танец, в котором партнеры качаются взад-вперед, словно сиамские ваньки-встаньки.

— Пусть нам лучше расскажут, что творят с нашими пленными, — сказала женщина со свитером.

— Кое-кто из них находится тут в зале, мог бы и выступить, — сказал пожилой господин и неприязненно покосился на молодого человека.

— Ты должен хоть что-то сказать от нас, как сумеешь, — обратился к мужчине в куртке сидящий рядом щуплый, небольшого роста паренек в длинном, на вырост, плаще: видно, на пересыльном пункте не смогли подобрать ему штатской одежды.

— В самом деле? — равнодушно спросил молодой человек в серой куртке. Прищурившись, он смотрел на профессора К. и слегка улыбал-

ся — снисходительно, с оттенком добродушной иронии.

— Жид, верни нам наших военнопленных! — истерически выкрикнул кто-то из зала. — Тогда и поговорим!

Профессор остановился на полуслове.

— Если желаешь выступить, можешь сделать это после меня, — сказал он с неожиданной твердостью. — Я не позволю прерывать себя. И скажу все, что хочу вам сказать.

— Действительно, старый жид! — негромко сказала женщина со свитером. — Я научилась узнавать их во время войны, в Судетах. У них у всех какая-то особая походка. У немцев я такого не замечала. Ostjude¹.

— Тихо! Здесь не фашистский митинг! — выкрикнули из угла зала. Там сидело несколько учеников музыкальной школы и школы садоводства, члены ФДЮ — Союза Свободной Немецкой Молодежи. В первом ряду лауреаты испуганно оглядывались по сторонам. На минуту зал затих, и профессор снова заговорил:

— Только противостоя бывшим гитлеровцам, которые снова посягают на власть в Западной Германии, только требуя объединения родины, наказания военных преступников, — мы сможем окончательно растоптать фашизм и обеспечить прочный мир. И тогда — музыка в Герценбурге зазвучит совершенно иначе, чем сегодня: она станет прекрасней, свободней, человечней!

— Ответьте же этому старому жиду! — нетерпеливо сказала женщина со свитером. — Зря ему не распотрошили его толстое брюхо!

¹ Восточные евреи (нем.).

Молодой пленный передернулся, будто что-то внезапно укусило его.

— В самом деле надо ответить, — сказал он равнодушно и провел рукой по коротко стриженным волосам. Кто-то похлопал его по плечу, кто-то сунул ему в руки пачку сигарет. Пленный положил сигареты на пустое сиденье рядом и ничего не сказал. В зале же развлекались вовсю. Зрители в первых рядах сидели с серьезными минами и в упор смотрели на профессора. Руки они сложили на коленях, которые ритмично поднимались и опускались. Они топали; пыль с полу медленно поднималась к потолку, притемняя свет канделябров.

Профессор Генрих К. сказал с силой:

— Думаете, мы вас не воспитаем? Ошибаетесь — воспитаем. — И он медленно сошел с трибуны.

Директор музыкальной школы, белый, как стена, с программой праздника в дрожащих руках поднялся и начал что-то говорить, обращаясь в зал. Но его слабый голос утонул в шуме и топоте. За спиной директора над эстрадой лампы бросали желтый свет на зеленые леса и холмы, среди которых бушевал бурный поток. Под фреской, на широкой деревянной раме золотилась восковыми буквами готическая надпись:

Поток, что в грядущем позволил нам подвиги наши
предвидеть,
О, детства сладчайший сон, к нам снова, как прежде,
явись!

«О, детства сладчайший сон!» Вдруг в зале стало тихо. Бывший военнопленный в серой куртке молча поднялся и стал пробираться к эстраде. Ему предупредительно освобождали дорогу. Он остановился перед трибуной, не спеша расстег-

нул куртку и, обращаясь к профессору, который, сгорбившись, стоял у стены, сказал:

— Профессор, вы пережили войну как узник. Вы жили в Дрездене, в доме для евреев. Вы работали на фабрике, носили желтую нашивку, люди остерегались вас, как заразы. Так что же вы можете знать о войне?

Он замолчал, обвел взглядом зал и продолжил с ироническим блеском в глазах:

— Пожалуй, я лучше знаю, что такое война. Я и мои товарищи, только что вернувшиеся из плена. Мы воевали на Восточном фронте. Я знаю, что такое бомбардировка. Не наша, а их, когда земля ходит под блиндажом. Фашизм? Он отправил бы вас в газовую камеру, если бы не жена-«арийка» и не случай. А мы — мы представляли фашизм на фронте. Мы лучше знаем, как он выглядит. Ну и конечно же, мы не виноваты, все мы мучились и страдали, как настоящие герои!

Зал молчал. Пленный в куртке продолжал:

— Но что вы знаете о коммунизме? Вы его испытали на собственной шкуре? Я — испытал, я и мои товарищи. Мы, профессор Генрих К., возвращаемся из неволи. Четыре года я был в советском плену! Вы думаете, там, в плену, было легко? Здесь вот жаловались, что не имеют и двух яиц на завтрак, что нет своей газеты, что приходится, бедолагам, таскать кирпичи. А там люди часто сухой хлеб ели. А кирпичи... Вы думаете, русский кирпич легче немецкого? Меньше обдирает пальцы? Обдирает точно так же, у всех одинаково. Мы много работали. Мы восстанавливали русские города, которые разрушали во время войны. Нам говорили: «Вы сожгли наши дома, так расчищайте теперь руины. Убедитесь

сами, как это тяжело». Кто-нибудь из вас, в этом зале, строил дом? Носил известь? Так знаете же, что это труднее, чем топтать на концерте. Особенно для кадрового офицера. Многие из моих товарищей болели, многие не хотели работать.

— Знаем, знаем, западные газеты писали об этом! — закричали из зала.

— Хватит! Отменить концерт! Это провокация! — кричали парни из ФДЮ.

Пленный в куртке наклонился над трибуной, уперся в нее локтями и сжал кулаки:

— Я тоже хочу рассказать, что я чувствую, когда слушаю музыку. Я сидел на концерте рядом с женщиной, которая жалела, что профессора Генриха К. не растоптали. Вы помните, профессор, нашу последнюю встречу?

— Гайнц, не стоит об этом говорить, — тихо сказал профессор.

— Вы так думаете? А если б эта женщина была моей матерью? Я состоял тогда в гитлерюгенде, мать решила определить меня добровольцем в армию. По службе я должен был отправиться в Орденсбург, стать таким маленьким фюрером, но вспыхнула война на Востоке. Я этого дня не забуду; я много думал о нем в плену. Стояла осень, мы ехали на вездеходе по Дрездену. Вы, профессор, чуть не попали к нам под колеса на перекрестке. Я вас узнал по походке. Я всегда узнавал вас на улице издали. Я притормозил машину и крикнул вам: «Старая еврейская свинья! Ты еще жив? Я раздавлю тебе твоё толстое брюхо!» И поехал дальше. Прямоком на Восточный фронт. А потом аж за Урал.

Он обвел взглядом притихший зал.

— Вам интересно, что было дальше, не правда ли? Дальше все было просто: летом 1944 года я воевал на румынском фронте. Мы отступали от Днестра, спасаясь от окружения. Под Корсунем нас разгромили, мы вырвались из одного мешка, потом попали в другой — так кот, гоняясь за собственным хвостом, кружит по комнате. Мы оставляли страну сожженной и опустошенной. Взрывали каждый мост, сжигали каждый дом, уничтожали все, что попадало нам под руку. Однажды моя рота должна была взорвать в одном лесу концлагерь. Нам сказали, что там сидели евреи. Но долго в нем никто не сидел. На поляне стояли бараки, огороженные колючей проволокой. За проволокой высилось кирпичное здание с большой трубой. К лагерю вела замаскированная железнодорожная ветка, на путях стояли сгоревшие товарные вагоны. Впервые в жизни я был в крематории, в котором сжигали живых людей, держал в собственных руках человеческий пепел. Нам не удалось взорвать это проклятое место — нас атаковали партизаны. Мы бежали из леса, побросав динамит и автоматы. На что мы могли надеяться, попав в руки врага тут же, рядом с крематорием? Может быть, мне ответит тот, кто пожертвовал мне пачку сигарет, чтобы я выступил?

Никто в зале не отозвался. Офицер Гайнц Лонер презрительно скривился и продолжал свой рассказ:

— Наконец мы остановились за Прутом и построили линию обороны. Никто не верил, что русские смогут здесь переправиться. На румынском фронте наступили погожие, солнечные дни. Солдаты сидели в окопах, штудировали теорию нацизма и давили вшей. Когда русские про-

рвали фронт, все ринулось сломя голову на запад. Штабы, госпитали, пехота, обозы — все перемешалось, как гуляш; советские танки загоняли всех в котлы и отправляли в плен. Нам повезло. После разгрома, который учинили танки, мы присоединились к конным обозам и вместе с ними боковыми дорогами день и ночь без отдыха пробирались к немецкой границе. Нас окружал враждебный народ, готовый перерезать глотку любому отставшему, так что мы держались вместе. Кто отстал, выбился из сил, схватил понос или захромал — за теми не возвращались. Но и это не помогло. Что такое ноги в сравнении с танками! Однажды лунной ночью, когда обоз расположился на опушке леса, нас неожиданно окружили советские танки. Мы, пехота, пытались сопротивляться, стреляли из автоматов, швыряли гранаты. И что же? Ни одна повозка, ни одна лошадь из обоза не уцелели. Людей тоже осталось не много. Ясно?

Когда-то я хотел раздавить вас, профессор. А тогда танки чуть не проделали это со мной. Но мне снова повезло. Утром я стащил теплый мундир с убитого немецкого танкиста, который отступал с нами, и пошел с остатками своей роты в плен. Мы шли на восток, утром и вечером, летние ночи проводили на голой земле. Навстречу тянулись советские обозы, потом дороги опустели, и только вдалеке гроыхали поезда, везущие на запад оружие, артиллерию, пехоту. В открытых дверях вагонов сидели солдаты и пели песни. А мы молчали и шли, и шли. Сначала на восток, и тогда в колонне говорили, что наши танки прорвались с запада и нас вот-вот освободят. Потом повернули на север, и мы думали, что наши наступают с юга. А потом у нас

стали опухать ноги, и мы уже ни о чем не думали, только о еде.

— Позор! — крикнула в зале какая-то женщина. По залу пробежал ропот и внезапно утих.

— Я сейчас закончу, и тогда можете говорить все что угодно, — сказал бывший пленный. Он насмешливо улыбнулся, услышав в ответ робкие аплодисменты, и продолжал: — Наконец после длинного перехода мы пришли в какое-то знакомое место. Мне показалось, что я уже бывал тут. Деревянные бараки, разбросанные в редком березняке. Вокруг — колючая проволока. Рядом — кирпичное здание с высокой трубой. Насыпь, по которой шли когда-то железнодорожные пути. Я все понял: это тот самый лагерь, который мы не успели взорвать. Газовые камеры, крематорий. А чего же я ждал? Что меня поблагодарят за войну? Что выдадут мне премию за каждый труп? Я стиснул зубы и сказал товарищам: «Готовьтесь умереть с честью. Только бы не осрамиться». Сначала нас накормили — сытый человек не так отчаивается, как голодный; потом, для обману, осмотрели нас врачи. Больных отделяли в сторону; первых пятьдесят здоровых вызвали купаться. Я пошел сразу, чтобы не видеть мучений тех, кто остался ждать. В предбаннике нам велели раздеться и аккуратно сложить одежду, которая отправлялась в дезинфекцию. Потом приказали нам голыми заходить в камеру. Мы не сопротивлялись, нам было все равно. В ту минуту я понял, почему не сопротивлялись евреям, когда их запикивали в газовые камеры. Вам этого ни за что не понять. За нами заперли двери, и мы стали прощаться с жизнью. Одни обнимались и плакали, не скрывая страха. Другие прощались мужест-

венно, целуя друг друга в небритые щеки. А иные молчали, стиснув зубы, и только глаза у них лихорадочно блестели. Мы смотрели на побеленные стены без окон, на двери, которые плотно захлопнулись за нами, на бетонный пол, в котором из хитрости сделаны были ненужные желобки для стока воды, сверху прикрытые деревянными решетками; на поблескивающие металлом душевые сетки, из которых через минуту начнет сочиться с шипеньем газ. «В конце концов, — подумал я тогда с горечью, — мы истребляли другие народы, так почему же они должны щадить нас? Но им было за что умирать: они боролись за свободу. А ты, человек, за что умираешь ты? За фашизм?» И я заплакал, впервые в жизни. И тут в душевых сетках зашипело. В бане поднялся страшный крик — но внезапно все смолкли. Шипенье прекратилось, и из душа полилась на нас теплая, веселая, пузырящаяся вода.

С какой радостью ловили мы ее ладонями! Как вновь обретенную жизнь! И тогда я понял, какая разница между фашизмом и коммунизмом. А потом понял и больше. Вы знаете, что я был ударником на стройке? Знаете, что советские каменщики учили меня своим приемам? Я научился работать и научился понимать мир. А что же вы? Думали, что вечно будете жить припеваючи? Что за вас будут работать другие? Что другие будут натирать на своих руках водянки? Стосковались по фашизму? Вы правы, профессор: мы воспитаем их! Мы будем делиться друг с другом опытом социализма.

Он замолчал и долго смотрел в зал. И вдруг каменщик Гайнц Лонер усмехнулся и, прищуриив глаза, сказал:

— Я вижу, пожертвованные мне сигареты исчезли с сиденья. Я забыл сказать своему соседу: я не курю.

Зал взорвался смехом и аплодисментами. Офицер Гайнц Лонер спрыгнул с эстрады и подошел к профессору. Крепко обнял его за плечи и расцеловал.

— Идемте, профессор, — сказал он, — у нас много работы.

— Останемся, — сказал профессор. — Послушаем музыку. Прекрасную человеческую музыку в Герценбурге.

Директор музыкальной школы поднялся из-за столика и пригласил лауреата. Он хотел что-то сказать и на минуту задумался, теребя пуговицу на тужурке. Потом махнул рукой.

— Сейчас, — сказал он запинаясь, — будет исполнена соната h-moll Опус 58 Фридерика Шопена, написана в 1845 году и посвящена графине де Перфюи. Ступай, дружок, к роялю.

Юный лауреат вышел на эстраду, поклонился слушателям и, когда отзвучали аплодисменты, сел за рояль, откинул назад длинные блестящие волосы и коснулся руками клавиш.

V

В ту ночь долго беседовали старый филолог профессор Генрих К. и бывший офицер гитлеровской армии Гайнц Лонер, каменщик-передовик.

Утром я вернулся в Берлин, захватив из Герценбурга на память цветные открытки с видами замка, собора и красочной панорамы городка.

Конечно, новая Германия не начинается и не кончается Герценбургом. На крупных заводах, в десятках тысяч школ, на тракторных станциях, на поделенных землях юнкеров оживают революционные традиции немецкого пролетариата, воспитывается новый народ, строится немецкая народная демократия. Я многое повидал в Германии, перелистал горы печатной продукции, не одну ночь провел в разговорах с людьми. Я помню щербатые от снарядов Бранденбургские Ворота, разделяющие Берлин на два мира: социалистический и буржуазный; наполовину уже восстановленные цехи металлургического завода в Гродитце; кирпичные домики переселенцев, построенные государством; я помню города, людей и события. Я искренно любил нашего друга из-за Одры и Нысы. И всегда, вспоминая о нем, я вижу перед собой горящие глаза профессора Генриха К., жесткое, упрямое, исхудавшее лицо каменщика Гайнца Лонера и слышу первые такты сонаты h-moll.

КАМЕННЫЙ МИР



КРАТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Яну Добрачинскому

«Каменный мир» — один большой рассказ, состоящий из двадцати самостоятельных частей. Автор испытывал возможности, которые дает форма «короткого рассказа», и счел эксперимент не слишком удачным. Форма короткого рассказа сродни тесному воротничку: так же стесняет дыхание. Она отучает от рассуждений и отступлений, навязывает единство действия, времени и места, превращает писателя в фотографический аппарат.

Некоторые из этих коротких рассказов сугубо реалистичны, иные — сущие пустяки, кое в каких содержится полемика с позицией других писателей. Адресаты тогда указаны в посвящениях, хотя иногда посвящение — лишь дань вежливости. Сам я не принадлежу к числу закоренелых катастрофистов, не знал капо Квасняка, не ел человеческих мозгов, не убивал детей, не сидел в карцере, не ходил с немцами в оперу, не пил в саду вина, не предаюсь инфантильным мечтам — вообще меня бы очень огорчило,

если б рассказы из «Каменного мира» были восприняты как страницы интимного дневника автора только потому, что написаны от первого лица.

Не знаю, в достаточной ли мере это предисловие оправдывает мои короткие рассказы. Я написал его главным образом для того, чтобы ко мне не цеплялись разные радикальные католки — и другие.

КАМЕННЫЙ МИР

Товарищу Павлу Герцу

С какого-то времени во мне, как плод во чреве у женщины, зреет исполненная тревожного ожидания мысль о том, что наша Необъятная Вселенная раздувается с невероятной быстротой, подобно смешному мыльному пузырю; я дрожу, как скупец, едва подумаю, что она, как вода сквозь пальцы, уходит в пустоту и что когда-нибудь, может сегодня, может завтра, а может через несколько световых лет, канет туда бесповоротно, словно бы созданная не из прочного материала, а из мимолетного звука. Сразу хочу признаться, что хотя теперь, после войны, я лишь изредка заставляю себя чистить ботинки и почти никогда не отдираю грязь с отворотов брюк, что бритье — щеки и подбородок через день — стоит мне немалых усилий, да и ногти я, словно бы жалея о потерянном времени, обгрызаю зубами и не занимаюсь поисками редких книг или, скажем, любовниц, невольно подчинив свою судьбу судьбе Вселенной, но все же с недавних

пор мне пришлось по душе одинокие прогулки, в послеполуденную жару, по рабочим окраинам города.

Я с удовольствием вдыхаю большими глотками пыль руин, затхлую и колючую, как натертый сухарь, и, по привычке склонив голову вправо, гляжу на деревенских баб, примостившихся со своим товаром возле разрушенных домов, на чумазах ребятишек, гоняющих среди непросохших после ночного дождя луж тряпичный мяч, на пропыленных, потных рабочих, которые на безлюдной улице, с утра и до поздней ночи, спешно перешивают трамвайную колею, потому что я отчетливо, словно бы в зеркале, вижу, как эти поросшие травкой руины, деревенские бабы, их бидоны с заправленной мукой сметаной, несвежие юбки, тряпичный мяч и бегущие за ним вдогонку дети, штанги и стальные молоты, сложенные возле торфяника, мускулистые руки, усталые глаза и тела рабочих, улица и маленькая площадь с многочисленными деревянными лотками, над которыми вечно стоит сердитый людской гомон и проносятся гонимые ветром быстрые тучи, — как все это, вдруг смешавшись, падает вниз, прямо мне под ноги, подобно отражению деревьев и неба в бегущем под деревянными мостками потоке.

А иногда, как смола, загрубевшая на коре дерева, во мне затвердевает какое-то первобытное спокойствие. В отличие от прошлых лет, когда я глядел на мир широко открытыми от удивления глазами и крался по улице, словно молодой кот по карнизу, теперь я спокойно ныряю в самую гущу оживленной толпы: прикосновения разгоряченных девичьих тел, манящие голые коленки, сооружения из густых сальных

волос оставляют меня равнодушным. Стоит мне прищуриться, и я вижу, как некий космический вихрь вздымает толпу над зелеными купами деревьев, затягивая человеческие тела в огромную воронку, сводит перекошенные от ужаса рты, смешивает розовые щеки детей с волосатыми грудями мужчин, прикрывает обрывками платьев стиснутые кулаки, будто пену, выбрасывает наверх белые бедра, а под ними шляпы, головы, вернее их обломки, опутанные водорослями волос, — я вижу, как вся эта странная мешанина, это огромное, приготовленное из человеческой толпы хлебово, плывет вдоль улицы и чуть ли не с бульканьем, будто в сточную канаву, всасывается в небытие.

Неудивительно поэтому, что я без всякой внутренней дрожи, с равнодушием, переходящим в презрение, вхожу в массивные холодные здания из гранита. Ни мраморные лестницы, отмытые от гари и застланные красными дорожками, которые по утрам со стоном вытряхивают уборщицы, ни новые оконные коробки, ни свежавыкрашенные стены обгоревших домов не вызывают у меня восхищения, с олимпийским спокойствием я заглядываю в тесные, но уютные кабинеты всевозможных начальников, иногда даже с чрезмерной любезностью беспокоя их своими мелкими просьбами, в общем-то справедливыми, но ведь я отлично понимаю, что, если они и будут выполнены, все равно это не сможет помешать тому, чтобы мир наш не набух, как плод переспевшего граната, и не лопнул, высыпав на стекло пустыни сухой шелестящий пепел вместо зерен.

Когда после жаркого дня, с его пылью и запахом бензина, наконец-то наступает прохлад-

ный вечер, превращая чахоточные руины в невинные декорации на фоне потемневшего неба, я при свете недавно поставленных фонарей возвращаюсь в пропахшую известкой квартиру, которую за круглую сумму безо всякой регистрации купил через посредника, сажусь у подоконника и, подперев голову руками, убаюканный звоном тарелок — их в кухонной нише моет жена, — гляжу на освещенные окна дома напротив, где один за другим гаснут огни и умолкают звуки радио.

Еще минуту я ловлю смутные отголоски улицы — пьяную песню, доносящуюся из папиросного ларька, шарканье шагов по мостовой, гудки поездов у станции, назойливый и неутомимый стук молота уже за поворотом — и все отчетливее ощущаю огромное разочарование, заполняющее меня целиком. Тогда, словно разрывая веревки, я энергично отталкиваюсь от окна и с чувством, что время снова непоправимо потеряно, сажусь за стол, достаю из глубины его давным-давно забытые там записки и, поскольку мир еще не превратился в пепел, вынимаю чистые листки, педантично раскладываю их и, прикрыв глаза, пытаюсь проникнуться нежностью к стучащим по трамвайным рельсам рабочим, к деревенским бабам с их разбавленной сметаной, к товарным поездам, к темнеющему над руинами небу, к прохожим в аллее, к новым оконным коробкам, даже к жене, вытирающей тарелки, и, напрягая весь свой интеллект, пробую уловить подлинный смысл увиденных мною вещей, людей и событий, чтобы потом создать великое эпическое произведение, достойное этого непреходящего, трудного, словно бы тесаного из камня мира.

СЛУЧАЙ ИЗ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Редактору Стефану Жулкевскому

Мне казалось тогда, что я умру. Я лежал на голом сеннике, под одеялом, от которого несло засохшим гноем и калом моих предшественников. У меня даже не было сил почесаться, отогнать блох. На бедрах, ягодицах и на спине появились большие пролежни. Кожа, обтянувшая кости, была ярко-красной и горела, как при сильном ожоге. Я чувствовал отвращение к собственному телу, и предсмертные хрипы других вселяли в меня какую-то надежду. Иногда мне казалось, — я задохнусь от жажды. Тогда я открывал пересохший рот и, мечтая о кружке холодного кофе, тупо глядел в раскрытое настежь окно с клочком пустого неба. Погода менялась: серый трупный дым стелился над самыми крышами. Таявшая на них смола сверкала на солнце как ртуть.

Когда обнажившееся на ягодицах и на спине мясо начинало нестерпимо гореть, я поворачивался на своем шуршащем сеннике на бок и, подложив под ухо кулак, выжидающе смотрел в сторону соседней койки, на которой лежал опухший человек — капо по фамилии Квасняк. У него на столике стояла кружка кофе, валялся кусочек хлеба и надкушенное яблоко. В ногах кровати, в укрытой простыней картонной коробке, созревали зеленые помидоры, присланные Квасняку заботливой супругой.

Капо Квасняк с трудом переносил бездействие. Он испытывал ностальгическую тоску по своей рабочей команде, которая трудилась сейчас в женском лагере. Он скучал. Здесь, в

больнице, из-за больных почек, его лишили единственного удовольствия — сытной еды. Лежавший с ним рядом еврей, скрипач из Голландии, тихо умирал от воспаления легких. И вот всякий раз, услышав хруст моего сенника, Квасняк приподнимался на локте и сквозь щелки запухших глаз испытующе глядел в мою сторону.

— Ну что, проснулся наконец, — сердито говорил он, едва сдерживая раздражение. — Давай, рассказывай дальше. Здоровый мужик, а лежит пластом, будто доходяга. Давно селекции не было.

Его не устраивали короткие пересказы вульгарных книжек, содержание приключенческих фильмов и драм классического репертуара. Он терпеть не мог зловещих историй, вычитанных мною из книжек романтиков. Зато не отрываясь, с наслаждением, слушал всякий сентиментальный вздор, если мне удавалось убедить его, что это случай из моей собственной жизни. В самом деле, я уже выложил все, что мог; вспомнил тетку, которой когда-то любовник-лесничий играл по вечерам под окном на гитаре; живого петуха — чтобы насолить учителю физики, мы на уроке спрятали его в шкафу, но он не пожелал там петь; девушку с трещинками в уголках губ, с которой, так уж случилось, связаны у меня события польского сентября, и т. д. Исчерпывающе подробно рассказал я ему и о своих любимых, горько сожалея, что у меня их было всего две. Я был честен и простыми словами говорил ему правду, только правду. Но время шло медленно, а жар и жажда мучили меня все сильнее.

— Вскоре после моего ареста к нам в подвал

привели мальчика. Он сказал, что его застукал полицейский. Увидел, как он мелом пишет на стене, — начал я медленно и, облизав языком потрескавшиеся губы, по возможности внятно изложил историю мальчика с Библией, рассказанную мною несколько лет спустя в одной короткой новелле.

В руках у мальчика была священная книга, и он ее весь день читал. Ни с кем не заговаривал, а если его о чем-то спрашивали, отвечал резко и коротко. К вечеру в нашу камеру после допроса привели молодого еврея. Он, взглянув на мальчика, вспомнил, что видел его в гестапо. Признайся, — сказал он, — ты ведь тоже еврей, как и я. Не бойся, здесь все «свои». Мальчик ответил, что никакой он не еврей и что его поймал на улице полицейский. Вечером мальчика с Библией вместе с остальными вывели во двор и расстреляли.

— Его звали Збигнев Намокель, — продолжал я, спеша закончить еще один невыдуманный рассказ, — и еще он говорил, будто его отец директор банка.

Капо Квасняк молча приподнялся и долго рылся в своей постели. Вытащил из коробки помидор, подержал на ладони.

— Это вовсе не случай из твоей жизни, — сурово сказал он, исподлобья глядя мне в глаза. — Я ведь здесь уже давно, и хочешь знать правду? Збигнев Намокель лежал здесь, в этой больнице. Тоже, как ты, болел тифом. И отдал концы вот тут, на этой самой койке, где сейчас ты.

Квасняк поудобнее откинулся на подушке и стал перебрасывать помидор из руки в руку.

— Так и быть, можешь выпить вместо ме-

ня кофе, — сказал он, поразмыслив, — мне все равно нельзя. Но только ничего больше не рассказывай.

Квасняк швырнул мне помидор и подsunул кружку с кофе, с любопытством наблюдая за тем, как я присосался губами к жидкости.

СМЕРТЬ ШИЛЛИНГЕРА

Старший сержант СС Шиллингер в 1943 году исполнял обязанности лагерфюрера, то есть коменданта: под его непосредственным началом находился мужской рабочий сектор «D» лагеря в Биркенау, входившего в огромную систему больших и малых лагерей, разбросанных по всей Верхней Силезии и административно подчиненных центральному концлагерю в Освенциме. Шиллингер был небольшого роста, коренаст; лицо — круглое и одутловатое, волосы — светлые как лен, гладко прилизанные. Голубые его глаза всегда были немного прищурены, губы сжаты, щеки чуть перекошены гримасой раздражения. О внешности своей он не заботился, и мне не приходилось слышать, чтобы придуркам удавалось его подкупить.

Шиллингер властвовал над лагерем «D» бдительно и безраздельно. Не зная устали, он разъезжал на велосипеде по лагерным дорогам, неожиданно появляясь именно там, где в нем меньше всего нуждались. Был тяжел на руку и обходился без палки, запросто сворачивая челюсти и разбивая в кровь лица.

В своем рвении Шиллингер был неутомим. Он часто инспектировал другие участки лагеря, нагоняя панический страх на женщин, цыган

и придурков из Канады — самого богатого участка Биркенау, где хранились ценности за-газованных людей. Надзирал и за рабочими бригадами: врвался в «большую» зону¹ и с налету принимался обыскивать одежду заключенных, сапоги капо и сумки эсэсовцев. И в крематории наведывался, любил смотреть, как заталкивают в газовую камеру людей. Фамилия его называлась вместе с фамилиями Палитша, Кранкенмана и многих других освенцимских палачей, похвалявшихся, что они собственноручно — кулаком, палкой или из пистолета — сумели убить по двенадцать-пятнадцать тысяч человек.

В августе 1943 года по лагерю разнесся слух, что Шиллингер погиб при неясных обстоятельствах. Передавались различные, якобы подлинные, но абсолютно противоречивые версии. Лично я склонен был верить знакомому форарбайтеру из зондеркоманды, который как-то днем, сидя рядом со мной на нарах в ожидании доставки сгущенного молока со склада цыганского лагеря, рассказал о смерти старшего сержанта Шиллингера следующее:

— В воскресенье после дневной поверки Шиллингер приехал во двор крематория к нашему начальнику. Но начальник был занят — как раз пришел бендзинский эшелон и с платформы пригнали первые машины. А ты, брат, сам знаешь: разгрузить эшелон, да приказать раздеться и потом загнать в камеру — работа тяжелая, требующая, я б сказал, большого такта.

¹ Пространство вокруг лагеря, охраняемое днем в радиусе нескольких километров цепочкой сторожевых постов (постенкетте).

Каждому известно: пока всех не запрут в камере, нельзя паяться на ихнее барахло, нельзя в нем рыться, а уж тем более щупать голых женщин. Сам понимаешь, одно то, что женщинам велят раздеваться вместе с мужчинами, для новеньких — приличная встряска. Но на это есть верный способ: в так называемой бане создается видимость страшной спешки — будто работы у нас невпроворот. Хотя и на самом деле нужно поторапливаться, чтоб успеть загазовать один эшелон и очистить камеру от трупов, пока не пришел другой.

Форарбайтер приподнялся, сел на подушку, спустил ноги с нар и, закурив, продолжал:

— Так вот, брат, доставляют, понимаешь, нам эшелон из Бендзина и Сосновца. Евреи эти отлично знали, что их ждет. И ребята из зондеркоманды нервничали: кое-кто родом из тех мест. Бывали случаи, когда приезжали родные или знакомые. Мне самому случилось...

— И ты оттуда? Не знал, по выговору не скажешь.

— Я закончил педагогический в Варшаве. Лет пятнадцать назад. Потом преподавал в бендзинской гимназии. Мне предлагали уехать за границу, я отказался. Семья, понимаешь, брат. Такие пироги.

— Такие пироги.

— Эшелон был беспокойный, это тебе не торговцы из Голландии или из Франции, которые рассчитывают открыть дело в лагере для интернированных в Аушвице. Наши евреи всё понимали. Потому и эсэсовцев была целая куча, а Шиллингер, увидев, что творится, вытащил револьвер. Все бы пошло как по маслу, да Шиллингеру приглянулось одно тело — и впрямь

классического сложения. Ради этого, видать, и приехал. Подходит, значит, он к женщине и берет ее за руку. А голая женщина вдруг нагибается, зачерпывает горсть песка и как сыпанет ему в глаза! Шиллингер, вскрикнув от боли, выронил револьвер, а женщина этот револьвер схватила и несколько раз выстрелила Шиллингеру в живот. Ну, конечно, паника. Голые люди с криком — на нас. Женщина выстрелила еще раз — в нашего начальника, и ранила его в лицо. Тогда и начальник, и эсэсовцы наутек, оставив нас одних. Но мы, слава богу, справились. Палками загнали всех в камеру, закрутили двери и крикнули эсэсовцам, чтоб пускали циклон. Сноровка у нас какая-никакая есть.

— Да, известно.

— Шиллингер лежал на животе и от боли скреб пальцами землю. Мы его подняли и, не особо церемонясь, перетащили в машину. Всю дорогу он сквозь стиснутые зубы стонал: «O, Gott, mein Gott, was hab' ich getan, dass ich so leiden muss?»

Это значит: «О боже, боже мой, что я сделал, чтобы так страдать?»

— Вот ведь, так и не понял до конца, — сказал я, покачав головой. — Странная ирония судьбы.

— Да, странная ирония судьбы, — задумчиво повторил фоторайтер.

В самом деле, странная ирония судьбы: когда, незадолго до эвакуации лагеря, евреи из зондеркоманды, опасаясь, что их прикончат, взбунтовались, подожгли крематории и, перерезав проволоку, разбежались по полю, несколько эсэсовцев перестреляли их из пулеметов всех до единого.

ЧЕЛОВЕК С КОРОБКОЙ

Адольфу Рудницкому

Шрайбером¹ у нас был еврей из Люблина, в Освенцим он приехал уже опытным лагерником из Майданека, а поскольку встретил близкого знакомого из зондеркоманды, которая благодаря своим богатствам, черпаемым из крематориев, обладала в лагере огромным влиянием, с самого начала прикинулся больным, попал без малейшего труда в «КВ-zwei» — так сокращенно (от слова Krankenbau² II) назывался особый, отведенный под больницу, сектор Биркенау — и немедленно получил прекрасную должность шрайбера в нашем блоке. Вместо того чтобы целый день ворочать лопатой землю или на пустое брюхо таскать мешки с цементом, шрайбер занимался канцелярской работой (составлявшей предмет зависти и интриг других придурков, тоже укрывавших своих знакомых на подобных должностях): приводил и уводил больных, устраивал в блоке поверки, подготавливал медицинские карты и принимал косвенное участие в селекциях евреев, осенью сорок третьего года производившихся почти регулярно, раз в две недели, по всему лагерю, — шрайберу вменялось в обязанность при помощи санитаров отводить больных в вашраум³, откуда вечером машины увозили их в один из четырех крематориев, тогда еще работавших попеременно.

¹ Schreiber — писарь (нем.)

² Больничный блок (нем.).

³ В Биркенау — помещение при больнице, куда сгоняли отобранных во время селекции доходяг, чтобы вечером отправить в газовые камеры.

Однажды, если не ошибаюсь, в ноябре, у шрайбера подскочила температура — насколько помню, от простуды, — и, так как он оказался единственным больным евреем в блоке, при первой же селекции был направлен zur besonderen Behandlung¹, то есть в газовую камеру.

Сразу после селекции старший санитар, именуемый из подхалимажа старостой, отправился в четырнадцатый блок, где лежали почти без исключения одни евреи, договориться, что мы доставим нашего шрайбера туда заранее — и избавимся таким образом от неприятной обязанности сопровождать его в вашраум отдельно.

— Списываем его auf vierzehn, Doktor, verstehen?² — вернувшись из четырнадцатого, сказал староста главному врачу, который сидел за столом с трубками фонендоскопа в ушах. Врач тщательно выстукивал спину только что прибывшего больного и каллиграфическим почерком заполнял его медицинскую карту. Не отрываясь от дела, он махнул рукой.

Шрайбер сидел на корточках на верхней койке и старательно обвязывал веревкой картонную коробку, в которой хранил чешские, со шнуровкой до колен, ботинки, ложку, нож, карандаш, а также жиры, булки и фрукты, которые брал с больных за различные шрайберские услуги, как это делали почти все еврейские врачи и санитары КВ; в отличие от поляков, они ни от кого никаких посылок не получали. Впрочем, поляки, которым присылали в КВ из дома посылки, тоже брали у больных и табак, и продукты.

¹ На особую обработку (нем.).

² В четырнадцатый, доктор, понятно? (нем.)

Напротив шрайбера пожилой польский майор, которого неизвестно почему уже несколько месяцев держали в блоке, играл сам с собой в шахматы, заткнув большими пальцами уши, а под ним ночной санитар лениво мочился в стеклянную утку, после чего сразу зарылся в одеяло. В соседних отсеках харкали и кашляли, в печурке громко шкворчало сало, было душно и парно, как всегда под вечер.

Шрайбер слез с койки, взял коробку. Староста небрежно кинул ему одеяло и велел обуть колодки. Они вышли из блока; в окно видно было, как перед четырнадцатым староста снимает с плеч шрайбера одеяло, забирает колодки и хлопает его по спине, а шрайбер, в одной только вздувшейся пузырями рубашке, входит в сопровождении другого санитаря в четырнадцатый блок.

Только в сумерках, когда в блоках раздали пайки, чай и посылки, санитары начали выводить доходяг и выстраивать пятерками перед дверями, сдирая с них одеяла и башмаки. Появился дежурный эсэсовец и приказал санитарам встать цепочкой перед вашраумом, чтобы никто не убежал; в блоках тем временем ужинали и ворошили посылки.

Из окна видно было, как наш шрайбер вышел из четырнадцатого с коробкой в руке, занял свое место в пятерке и, подгоняемый окриками санитаров, побрел вместе с другими в умывальню.

— Schauen Sie mal, Doktor!¹ — крикнул я врачу. Тот вытащил из ушей фонендоскоп, тяжело ступая, подошел к окну и положил руку мне

¹ Поглядите-ка, доктор! (нем.)

на плечо. — Мог бы сообразить, что к чему, вы не считаете?

На дворе стемнело, только мелькали перед баракком белые рубахи, лица стали неразличимы; потом и рубахи скрылись из поля зрения; я заметил, что над проволокой зажглись фонари.

— Он же старый лагерник, прекрасно знает, что через час-другой пойдет в газовую камеру — голый, без рубахи и без коробки. Поразительная привязанность к остаткам собственности! Мог ведь кому-нибудь отдать. Не верю, чтобы я...

— Ты действительно так думаешь? — равнодушно спросил доктор, снял руку с моего плеча и задвигал челюстью, будто высасывая воздух из дырявого зуба.

— Простите, доктор, но мне кажется, что и вы... — вскользь заметил я.

Главный врач был родом из Берлина, жена и дочь его были в Аргентине, иногда он говорил о себе: *wir Preussen*¹ — с улыбкой, в которой к страдальческой горечи еврея примешивалась гордость бывшего прусского офицера.

— Не знаю. Не знаю, что бы я сделал, отправляясь в газовую камеру. Вероятно, тоже бы взял с собой свою коробку.

И, повернувшись ко мне, усмехнулся шутиливо. Я увидел, какой он усталый и невыспавшийся.

— Думаю, даже если б меня везли в печь, я бы верил, что по дороге что-нибудь случится. Держался бы за эту коробку, как за чью-то руку, понимаешь?

Он отошел от окна и, сев за стол, велел ста-

¹ Мы пруссаки (нем.).

щить с койки следующего больного — нужно было к завтрашнему дню подготовить группы выздоравливающих для отправки в лагерь.

Больные евреи наполнили вашраум криком и стонами, порывались поджечь помещение, но ни один из них не осмелился пальцем тронуть санитар-эсэсовца, который сидел в углу, полужакрыв глаза, и не то притворялся, что дремлет, не то и вправду дремал. Поздним вечером в зону въехали мощные крематорские грузовики, появилось несколько эсэсовцев, евреям было приказано оставить все в вашрауме, и санитары принялись швырять голых людей на машины, пока в кузовах не выросли груды тел; с плачем и проклятьями, освещенные прожекторами, люди уезжали из лагеря, отчаянно цепляясь друг за друга руками, чтобы не слететь на землю.

Не знаю почему, в лагере потом долго рассказывали, будто ехавшие в газовые камеры евреи пели на своем языке какую-то душу переворачивающую песнь, понять которую никто не мог.

УЖИН

Мы все терпеливо ждали, пока наступит полная темнота. Солнце уже закатилось далеко за холмы, на свежевспаханных склонах и в долинах, местами покрытых грязным снегом, густели, наливаясь молочным вечерним туманом, тени, но на небе, на его обвисшем, набитом дождевыми облаками брюхе, кое-где еще виднелись розовые полосы заката. Насыщенный запахом

размокшей прокислой земли, резкий и будто темнеющий ветер гнал впереди себя косматые тучи, колол ледяными иголками и пробирал до костей; одинокий лоскут толя, надорванный сильным его порывом, монотонно стучал по крыше. С лугов тянуло не столько бодрящим, сколько пронизывающим холодом, в долине лязгали об рельсы колеса вагонов и плаксиво гудели паровозы. Сгущались промозглые сумерки, голод донимал все ощутимее, движение на шоссе постепенно замирало. Ветер реже приносил оттуда обрывки разговоров, покрикивания возниц, прерывистое тарахтенье тележек, запряженных коровами, которые лениво шваркали копытами по гаревой дорожке; отдалялся перестук деревянных подошв по асфальту, стихал гортанный смех деревенских девушек, веселой гурьбой спешащих в городок на субботнюю гулянку.

Наконец мрак сгустился, и начал моросить редкий дождик. Фиолетовые фонари, раскачивающиеся на высоких столбах, отбрасывали неяркий свет на черные переплетенья веток придорожных деревьев, на блестящие навесы сторожевых будок, на опустевшую, лоснящуюся, как мокрый ремень, дорогу; в свете этих фонарей прошагали строем и скрылись в темноте солдаты — хруст гравия под ногами приближался.

Тогда шофер коменданта направил сплюснутые козырьками фар потоки света в проход между бараками. Старосты вывели из умывальни двадцать русских в полосатой одежде, со связанными колючей проволокой за спиной руками и, прогнав по валу, выстроили на камнях лагерной улицы боком к толпе, которая много часов неподвижно стояла с непокрытыми головами, мол-

ча страдая от голода. Ярко освещенные тела русских, казалось, сливались в одну глыбу мяса, окутанную тиком и по краям прикрытую тенью; каждая морщинка, каждая выпуклость и складка их одежды; разваливающиеся подошвы изношенных башмаков; стоптанные набойки; присохшие внизу к штанинам комочки рыжей глины; грубые швы в паху; белые нитки на синих полосках тика; обвислые ягодицы; застывшие кисти рук с побелевшими, скрюченными от боли пальцами, с капельками засохшей крови на сгибах суставов; напряженные мышцы запястий, кожа на которых синела от впивающейся в нее ржавой проволоки; голые локти, неестественно вывернутые и стянутые другим куском проволоки, — отчетливо, словно замороженные, прорезались из мрака; спины и головы русских скрадывала темнота, только выбритые затылки смутно белели над воротниками курток. Удлиненные тени этих людей лежали на дороге, на унизированной поблескивающими капельками росы колючей проволоке и пропадали за проводочным ограждением на склоне холма, поросшего редким, чахлым, сухо шелестящим камышом.

Комендант, седоватый загорелый офицер, специально на этот вечер прибывший в лагерь из города, усталым, но энергичным шагом пересек полосу света и, остановившись сбоку, удостоверился, что обе шеренги русских находятся на положенном расстоянии друг от друга. Теперь дело пошло быстрее, но все же не настолько быстро, как бы того хотелось иззябшему телу и пустому желудку, семнадцать часов томящемуся в ожидании черпака, вероятно, еще теплой баланды, стоящей в бачках в бараке. «Не думайте, что

это шутки!» — крикнул молоденький лагерэльтер¹, вынырнув из-за спины коменданта. Одна рука у него была заложена за борт сшитой точно по фигуре куртки из черного сукна, в каких щеголяли придурки, в другой покачивался ивовый прут, которым он размеренно похлопывал по голенищам сапог.

— Эти люди — преступники. Незачем вам объяснять, что и как. Коммунисты, понятно? Господин комендант велел мне перевести, что они будут примерно наказаны, а если господин комендант говорит... Короче, ребята, мой вам совет без глупостей.

— Los, los, мы торопимся, — вполголоса сказал комендант офицеру в расстегнутой шинели. Тот стоял, боком привалившись к крылу маленькой «шкоды», и лениво стягивал с руки перчатку.

— Сейчас кончим, — ответил лейтенант в расстегнутой шинели, небрежно пошевелил пальцами и улыбнулся уголком губ.

— Ja, а весь лагерь сегодня снова останется без обеда, — крикнул юный лагерэльтер. — Старосты отнесут суп на кухню, и пусть хоть одного литра не хватит — вы у меня попляшете.

По толпе пролетел глубокий вздох. Потихоньку, исподволь задние ряды начали подтягиваться вперед, у дороги сделалось тесно, и блаженное тепло разлилось от спин, согретых сбившимися в кучу, готовящимися к прыжку людьми.

Комендант махнул рукой, из-за его автомобильчика вышли гуськом эсэсовцы с винтовками в руках и сноровисто выстроились позади

¹ Lagerältester — старший в лагере (нем.)

русских — каждый за своим. По их виду уже нельзя было сказать, что они вернулись с «работы» вместе с нами: солдаты успели наесться, переодеться в парадные наглаженные мундиры и даже сделать себе маникюр; ровнехонько обретенные ногти на крепко сжимавших приклады пальцах розовели от прихлынувшей крови; видно, эсэсовцы собрались в городок, повеселиться с девочками. Громко щелкнув затворами и уперев приклады в бедро, они приставили дула к бритым затылкам русских.

— Achtung, bereit, Feuer!¹ — произнес комендант, не повышая голоса.

Коротко тьякнули винтовки, солдаты отскочили назад, чтоб их не обрызгало из треснувших черепов. Русские зашатались и, как тюки, тяжело шмякнулись на камни, заляпав их кровью и кусками разлетевшихся мозгов. Закинув винтовки за спину, солдаты торопливо устремились на вахту, трупы временно оттащили под проволоку, комендант в сопровождении свиты уселся в «шкоду», которая, выстреливая клубы дыма, задом подавала к воротам.

Не успел седоватый загорелый комендант благополучно отъехать, как безмолвная толпа, с растущим упорством напиравшая на дорогу, разразилась зловещим воем и лавиной хлынула на окровавленные камни, с ревом прокатилась по ним и, разгоняемая палками старост и дневальных, созванных со всего лагеря, воровато растеклась по баракам. Я стоял немного в стороне от места экзекуции и не успел протиснуться вовремя, но, когда назавтра нас снова погнали на работу, один доходяга, еврей из Эстонии, на пару

¹ Внимание, готовсь, пли! (нем.)

со мной таскавший трубы, целый день горячо меня уверял, будто человеческий мозг — такая нежная штука, что его можно есть не отваривая, прямо сырым.

МОЛЧАНИЕ

Его настигли в блоке немецких капо, когда он уже перекидывал ногу через подоконник. Без единого слова стащили на пол и, задыхаясь от ненависти, выволокли на боковую лагерную дорогу. Там, в плотном кольце молчащей толпы, его принялись жадно бить десятки рук.

Вдруг от ворот лагеря понеслись из уст в уста предостерегающие окрики. По главной лагерной дороге бежали, наклоняясь вперед, вооруженные солдаты, огибая стоящие на пути группы людей в полосатой одежде. Толпа кинулась врассыпную от жилья немецких капо и попряталась по своим баракам — битком набитым, вонючим и шумным. На чадящих печках там приготавливалась разнообразнейшая жратва из продуктов, выкраденных ночью у окрестных бауэров, на нарах и между нарами мололи в мельницах зерно, вырезали на досках из мяса жилы, чистили картошку, сбрасывая очистки прямо на землю, играли в карты на кучки краденых сигар, месили тесто на лепешки, жадно пожирали дымящуюся кашу и бесстрастно били блох. Стесняющие дыхание, будто пропотевшие запахи клубились в воздухе, смешиваясь с запахом варева, дымом и водяным паром, который оседал на балках под крышей и собирался каплями, размеренно, как редкий дождь, па-

давшими на людей, предметы и еду. У двери забурлило: в барак вошел молоденький американский офицер в каске и обвел приветливым взглядом столы и нары. На нем был идеально отглаженный мундир. Револьвер в расстегнутой кобуре, подвешенный на длинных ремнях, колотил юного офицера по бедру. Американца сопровождал переводчик с желтой повязкой «интерпретера»¹ на рукаве штатского костюма и председатель Комитета заключенных, одетый в белый летний пиджак, фрачные брюки и теннисные туфли. Люди в бараке примолкли и, свесившись с нар, подняв головы от чугунов, мисок и котелков, внимательно смотрели офицеру в глаза.

— Gentlemen², — сказал офицер, снимая каску; переводчик тут же переводил фразу за фразой. — Я прекрасно понимаю, сколь глубоко — после того, что вам довелось увидеть и пережить, — вы ненавидите своих палачей. Мы, солдаты Америки, и вы, граждане Европы, сражались за то, чтобы закон восторжествовал над произволом. Мы обязаны уважать закон. Не сомневайтесь: виновные будут наказаны — как в этом лагере, так и во всех прочих. За примером недалеко ходить: задержанные эсэсовцы используются для захоронения трупов.

— Точно, надо было б на площадку за больницей. Не всех еще увезли, — шепнул один на нижних нарах.

— Или пройтись по убежищам, — тоже шепотом отозвался другой. Он сидел верхом на нарах, вцепившись обеими пятернями в одеяло.

¹ Interpreter — переводчик (англ.)

² Джентльмены (англ.).

— Заткнитесь! Не успеете, что ли? Слушайте, что говорит офицер, — вполголоса бросил третий, лежавший поперек тех же самых нар. Офицера они не видели — его заслоняла плотно сбитая толпа, сгрудившаяся в этой части барака.

— Друзья, господин комендант дает вам слово, что все лагерные преступники, как эсэсовцы, так и заключенные, будут наказаны по справедливости, — сказал переводчик.

Со всех нар понеслись возгласы и рукоплескания. Обитатели барака жестами и смехом старались выразить свою симпатию молодому человеку из-за океана.

— Поэтому господин комендант просит вас, — слегка охрипшим голосом продолжал переводчик, — запастись терпением и не творить произвола — это против вас же и обернется, — а передавать мерзавцев в руки лагерной охраны. Договорились?

Барак ответил дружным протяжным воплем. Комендант поблагодарил переводчика и пожелал лагерникам хорошо отдохнуть и поскорей отыскать своих близких. Провожаемый дружелюбным гомоном, он покинул барак и отправился в соседний.

Лишь после того как офицер обошел все бараки и, сопровождаемый солдатами, вернулся в здание комендатуры, мы стащили этого с нар, на которых он лежал, запеленутый в одеяла и придавленный нашими телами, с кляпом во рту, мордой в сенник, отволокли к печке и там, на бетонном пяточке, под тяжкое, ненавидящее сопенье всего барака, втоптали в пол.

ВСТРЕЧА С РЕБЕНКОМ

Отыскав присмотренную днем лазейку в вале за бараками, двое осторожно протиснулись под колючей проволокой, заслоняя рукавом глаза и спиной скребя по гравию. Скатившись с вала, перевернулись на живот и вползли, опираясь на локти, в пронизанную красным отсветом заходящего солнца высокую траву. Под угловой вышкой, в будке, обклеенной желтыми плакатами «Off Limits»¹, сидел американский солдат — каска и мелкокалиберка лежали рядом с ним на скамейке. С досок вышки срывались крупные капли и с глухим стуком шлепались в золу погасшего ночного костра.

Сочтя, что от проволоки их отделяет безопасное расстояние, двое присели на груды камней, тщательно обобрали со своей полосатой одежды липкие комочки глины и соскоблили ножами коричневые нашлепки на локтях и коленях. Потом поднялись и размашисто зашагали по сырому лугу к шоссе, обходя опустевшие блиндажи, разбитые пулеметные гнезда и широкой дугой огибая лагерь, с территории которого поднимались голубые дымки вечерних костров, доносился треск ломаемых досок и говор тысяч людей.

— Ветер в нашу сторону, трупами воняет, — сказал высокий, с узелком в руке, когда они обошли площадку перед больницей, где между штабелями дров повсюду валялись трупы. Высокий был альбинос с опухшим, изрытым оспинами лицом. Редкие волосы стояли на макушке торчком, как собачья шерсть. Через всю голову тянулась полоска выбритой кожи. Из коротковатых рука-

¹ Здесь: проход воспрещен (англ.).

вов лагерной куртки высывались жилистые веснушчатые волосатые руки. Он потянул носом: — Не успели сжечь.

— Известное дело, — отозвался низенький. Голос у него был хриплый, он поминутно сплевывал сквозь выбитые зубы; черная щетина, которой он сплошь оброс, была выстрижена посреди головы. По серебристому плюшу травы, мокрой от недавнего дождя, тянулись темные извилистые тропки. — Глянь, раньше нашего прошли, — деловито добавил он. — Почистят вагоны.

— Не бойсь, и тебе хватит, — сказал высокий. Они спускались вниз по шоссе, под длинными тенями каштанов, к застроенному виллами поселку по другой стороне железнодорожных путей, на которых стояли вереницы вагонов без паровозов.

Долина была окружена черным еловым лесом, за который садилось медно-красное солнце. По краю леса, на дне долины, среди расцветших садов, в темнеющей зелени — буйной, пышной, усыпанной сверкающими шариками и иголочками серебряного дождя — как на ладони раскинулись, поблескивая розовой штукатуркой, виллы с маленькими круглыми колоннами. Небо над долиной висело прозрачное, легкое, будто из шелка, исподволь сковываемое холодом. Только по лесистому горному склону проплывали, запутываясь среди елей, ключья реденького седого тумана.

— Вон они, твои вагоны, жри, — сказал низенький. Они миновали поле с молодыми картофельными всходами и вышли на железнодорожное полотно. Незакрытые вагоны полны были посинелых тел, аккуратно уложенных ногами к две-

рям. Сверху лежали дети, распухшие и белые, как накрахмаленные подушки.

— Не успели сжечь, — сказал высокий. Они перескочили через сигнальные провода и на карчках пролезли под вагонами.

— Известное дело, — сказал низенький. Они переглянулись и усмехнулись, не размыкая губ. Снова перескочили через сигнальные провода, соскользнули с насыпи и, петляя между садами, спустились на самое дно долины, к офицерским виллам.

Поселок, выстроенный руками заключенных для высших офицеров лагеря и их семейств, был пуст, и, если б не ухоженные садики, белоснежные занавесочки на окнах и тянувшийся из труб к небу дым, можно было подумать, что там нет ни живой души.

Пройдя по главной аллее, двое свернули на боковую дорожку у самой опушки леса. Через расщелину в горах еще светило солнце, на краю тени перед одинокой виллой полулежала в шезлонге женщина в цветастом халате. Волосы ее были собраны на затылке в тяжелый классический узел. Рядом кудрявая девочка в голубом платьице играла с куклой в лакированной коляске.

Двое остановились на дорожке и, сощурившись, переглянулись. Улыбнулись друг другу, не разжимая губ. Перевели взгляд на головку ребенка, обхватили ее взглядом мягко и плотно, будто руками. Потом отыскивали глазами острый угол виллы, газоном отделенный от дорожки, и снова посмотрели на ребенка. Высокий шагнул вперед, тень его головы упала на ноги женщины, подползла к груди.

Женщина подняла выпуклые глаза и приот-

крыла рот. Верхняя губа у нее вздернулась, как у кролика. Перехватив ее взгляд, двое парней улыбнулись шире и — враскачку, как требовала лагерная мода, — не спеша направились к ребенку.

КОНЕЦ ВОЙНЫ

Возле затененной платанами автострады высилась голая бетонная громада казарменных построек. Адский зной раскалял и дотла иссушивал воздух. Из чердачных проемов клубами валил дым, воняло бараньим отваром. На газонах перед окнами хрустели осколки стекла; валялись изорванные книги; звенели под ногами каски; с шумом, как грибы-дождевики, лопались пакеты с белым едким порошком, тучей вздымавшимся в воздух; истлевшие связки черных солдатских галстуков вылетали из окон вместе со столами, койками и шкафами и с глухим звуком, точно на живот, плюхались на землю. Американские грузовики с ревом въезжали в ворота, охраняемые невозмутимыми, одетыми как с иголки, солдатами, и сбрасывали на бетонные плиты двора десятки мужчин в потрепанной одежде, женщин в клетчатых платках, детей, узлы и тюки, свозимые из окрестных лагерей, поместий, с заводов и фабрик. Толпа лениво разбрелась по плацу, разводила большие костры, чтобы приготовить обед, и с тупой ненавистью хозяйничала внутри казарм, методично выдавливая оконные стекла, разбивая зеркала, люстры и посуду, круша все что ни попадя в лазарете, кинотеатре и на складах,

выкидывая во двор книги из библиотеки и кипы партийных удостоверений, обнаруженных в архиве, громя — комнату за комнатой, коридор за коридором, клозет за клозетом, этаж за этажом — обиталище своих тюремщиков; грузовики же, рыча и воя, выскакивали на автостраду и, миновав временный лагерь для эсэсовцев, которые под бдительной, но корректной охраной целыми днями занимались в городе уборкой развалин, на полном газу неслись на сборные пункты за новой партией. Белозубые негры приветливо кивали из кабин проходившим мимо немецким девушкам. Девушки сдержанно улыбались и долго смотрели вслед колонне автомашин.

По соседству с казармами, отделенный от эсэсовского лагеря автострадой, расположился пригородный рабочий поселок. Среди пышной зелени сверкают маленькие домики с белеными стенами, оплетенными молодым плющом, с розовыми, накрытыми кобальтовым небом крышами, сплошь в сочных пятнах теней от высоченных каштанов. Под окошками, задернутыми короткими занавесочками, буйно цветут подсолнухи; хлипкая фасоль обвивает подпорки; анемичные розочки свешиваются над калитками, их персиковые лепестки дрожат в тишине. В зарослях малины, на верандах и в беседках мелькают светлые платья женщин; цветы при случайном прикосновении покачиваются на высоких стеблях. Визгливо лает такса, в садиках копаются мужчины в подтяжках, по дороге бредут задумчивые дети, тренькая палками по штaketнику.

В глубине поселка, на крохотной, вымощенной плитами и окруженной цветущей живой

изгородью площади стоит маленькая церквушка. Лестница из серого камня кажется почти коричневой в тени, пересекающей ее наискось, виноград свисает с крыши и раскачивается зелеными сосульками по обеим сторонам простого креста из черного мрамора; над железной дверью — высеченный в камне готическими буквами стих. В дрожащий воздух просачивается из церковного сада нежный, успокаивающий запах цветов. С воем и треском пролетевший над церковью двухмоторный бомбардировщик блеснул на вираже серебряным брюхом и исчез за деревьями, оставив в ушах звенящую тишину.

В каменном чреве церквушки, как в беседке, уютно и прохладно. По стрельчатому, похожему на сложенные ладони своду вьется ветвистый золотой и пурпурный узор. Солнечный свет, расщепляясь в круглых витражах, радужной пылью оседает на стенах, будто на стеклянном шаре. Над покрытым белой скатертью алтарем из-за высоких цветов выглядывает с картины ангел с медной трубой, надувая пухлые щеки и поддерживая рукою свое голубое, развеваемое ветром одеянье. Посредине, опираясь на круглую полуколонну, стоит на деревянном столбике маленький круглый амвон, легкий как бонбоньерка. Скамьи тоже деревянные, отполированные человеческою рукою. На крючках перед сиденьями висят подушечки для преклонения колен.

Одна стена храма пуста, бесцветна и сурова. Скамьи от нее отодвинуты, пол застелен ковром и уставлен цветами, срезанными и в горшках, — розами, настурциями, гладиолусами, гвоздиками, лилиями, пионами, миртом и тюль-

панями; цветы полыхают яркими красками и источают пленительный аромат. Восковые свечи горят спокойно и ровно, не колеблемые ничьим дыханием. У стены — деревянные кресты с табличками и фотографиями на эмали. С фотографий глядят простые честные солдатские глаза, губы на лицах мужчин с достоинством сжаты, на груди чернеют железные кресты, а на воротниках поблескивают серебристые нашивки СС. Надписи гласят, что все эти сыновья, и братья, и мужья, и отцы полегли в далеких степях России, в горах Югославии, в пустынях Африки и еще в разных других местах и что их матери, сестры, жены и дочери молятся за них и помнят, и дай им, Господи, счастливую вечную жизнь.

INDEPENDENCE DAY¹

Публицисту Казимежу Козьневскому

Грязный человек, черный от дыма и копоти, которая вместе со струйками пота стекала по его лоснящемуся, налитому кровью лицу, деловито сновал по развороченному снарядом чердаку бывшей немецкой казармы и, непристойно бранясь, пытался разжечь вялый огонь, что есть силы в него дует. Железная печурка, украденная у бауэра, была без трубы, и стоило чумазому человеку дунуть, как из нее вырывался молочно-белый клуб дыма, наподобие густой жидкости

¹ День независимости (англ.) — национальный американский праздник.

разливавшийся по чердаку. На ржавой конфорке, уложенные рядом, пеклись круглые лепешки из картофельных хлопьев.

На пороге разбитой двери возник высокий элегантный господин с бело-красной повязкой на рукаве. Окунувшись в дым, он поперхнулся и закашлялся.

— Катитесь-ка отсюда, приятель! — шутиво воскликнул господин. — Виданое ли дело — такой огонь! Хотите всю казарму спалить? Наверняка ведь слышали, что тайком готовить запрещено. Ну? Настоящие поляки так не поступают! Go out!¹ — с легким раздражением крикнул он.

Чумазый поднялся от огня, утер рукавом лицо, глянул исподлобья на элегантного и ответил, спокойно соскребая пригарок:

— Корми досыта, сволочь, тогда не буду готовить. Думаешь, мне нравится? На, попробуй! — и сунул ему в нос подванивающую гнилью лепешку. — Убедился? Кабы ты не крал, я б не готовил, не бойся. Сам наше масло ложками жрешь, а мне лепешки жалко?

— Послушайте, приятель, не надо меня оскорблять, — сказал пришедший. — Здесь же дым глаза ест! Пошли б, подышали свежим воздухом.

— Кто жрет наши пайки да таскает мясо еврейкам, тот пусть и дышит. А мне и здесь хорошо. Кому ест глаза — скатертью дорога.

Человек с нарукавной повязкой бесцеремонно схватил чумазого за отвороты пиджака, оторвал от печки и проговорил сквозь стиснутые зубы:

¹ Убирайтесь! (англ.)

— Поглядим, не будет ли тебе лучше в другом месте!

В этот момент в дверях появился еще один человек с повязкой, приземистый, с низким лбом и квадратной челюстью, и решительно шагнул в дым.

— Ну и сукин сын, — нараспев произнес он, ни к кому не обращаясь.

Минуту спустя все трое вышли из дыма и скрылись за поворотом коридора, оставив непогашенный огонь и недопеченные лепешки. Дружно спустились по лестнице, но на первом этаже их пути разошлись. Высокий с повязкой зашагал по коридору налево, сказав перед тем товарищу:

— Будьте любезны, отведите его на вахту и сообщите *master*¹ сержанту, что он оказывал сопротивление полиции, а я сбегая получу колбасу и хлеб. Говорят, есть почтовые бланки на границу, надо на всякий случай прихватить пару.

Приземистый, сильно наморщив лоб, который совсем исчез под коротко остриженными волосами, ответил:

— Будьте спокойны. Я свое дело знаю. А ты, курицын сын, не пытайся удрать — руки-ноги переломаю.

И рванул чумазого за вывернутую руку. Чумазый грязно выругался. Они пересекли бетонированный плац и подошли к воротам. Там в пристройке помещался карцер. На площадке перед карцером вытянувшийся в струнку солдат подымал на мачту американский флаг. Еще несколько солдат, отбросив в сторону мяч и кожаные перчатки для игры в бейсбол, торже-

¹ Старшему (англ.).

ственно отдавали честь. Не успели двое скрыться за дверь, как солдаты возобновили прерванную игру.

По случаю Independence Day старший сержант выпустил из карцера всех преступников; чумазый оказался первым после амнистии. Его отвели в одиночную камеру, где и оставили на неделю. Сидя на корточках на каменном полу, он поглядывал в узкую щель приоткрытого окна, выходящего во двор. Близился вечер. Деревья синели, густел сдавливаемый темнотою воздух. Под деревьями прогуливались парочки. Это были повара, покупавшие девушек за продукты, которые они подворовывали в кухне. Грязный человек встал, вытащил из кармана огрызок карандаша, обтер его о штанину и, подпирая языком щеку, старательно вывел печатными буквами на шероховатой стене:

«Два раза в карцере:

21.9.1944—25.9.1944 — за саботаж работы в немецком КЛ Дахау, заключавшийся в выпечке картофельных лепешек.

4.7.1945 — за нарушение правил распорядка в американском сборном лагере для б. гефтлингов из КЛ Дахау, заключающееся в выпечке картофельных лепешек».

После чего размашисто расписался и, упершись локтями в подоконник, стал с завистью смотреть на двор, по которому прогуливались девушки с поварами.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПУЛЬМАНЕ

Учитель высунул голову из окна пульмана. Поезд скрежетнул на стыках рельсов и свернул на другой путь, вклинился между товарных вагонов с дровами, машинами и углем. Перед семафором он притормозил и стал подавать сигналы.

— Подъезжаем, — сказал учитель.

— Да, — ответил я.

— Надо к детям сходить, — сказал учитель.

Спустил ноги с полки, протер глаза, потянулся. — От границы вы все лежите. Не надоело лежать?

— Не надоело, — ответил я.

— Мы, наверно, оставим детей на пункте.

Пусть дожидаются родителей, — сказал учитель. — Поезд дальше пойдет пустой. Кончится это мученье.

— Репатриация хорошо прошла, — сказал я, слезая с постели.

— Очень, — согласился учитель.

И вышел из купе, захлопнув дверь. Поезд постепенно замедлял ход. Он снова поменял путь, свистнул и остановился перед семафором. На соседнем пути стоял товарняк, набитый людьми, скотиной и домашним скарбом и украшенный завядшей зеленью. Коровы высовывали худые морды из открытых дверей, в глубине вагона стояли костлявые лошади. В вагонах чадили железные печки. Женщины в широких юбках колдовали над кастрюлями. Несколько мужчин мылись у дверей — набирали в рот воду и лили на руки. Куры вяло бродили под вагоном и рылись в навозе. Босоногая девушка тащила охапку сена для коров. Длинные косы хлестали

ее по спине. Ветер нес от товарняка тяжелый дух скотины и человека.

Учитель вошел в купе. Выглянул в окно и положил руку мне на плечо.

— Ну что? — спросил я.

— Поселяемся, — ответил учитель.

— Угу, — сказал я.

Учитель свистнул сквозь зубы и залез на постель. Удобно устроился, плотно закутался в одеяло.

— Я к ним туда заходил, — сказал он и вздохнул. — Эх, боже, боже.

— Угу, — ответил я.

— Уже целых два месяца едут. Здесь стоят четвертый день. И неизвестно... — сказал учитель. И повернулся лицом к стене.

— Угу, — сказал я.

Поезд загудел и тронулся. Лязгнули на стыках колеса. Пройдя мимо цистерн, платформ и порожних вагонов, поезд по главному пути подкатил к перрону.

Перрон, нависший над городком, был забит народом. На ступеньках сидели проезжие со своими узлами. Усталые, в измятой одежде. У барьерчика стоял оркестр железнодорожников в черных мундирах. Дирижер махнул палочкой, и оркестр заиграл гимн,

— Эх, боже, — сказал учитель, не поворачиваясь от стены.

Девочки-школьницы, подойдя к поезду, подавали в окна букеты гвоздик. Женщины во всем белом, в чепцах, разносили вдоль вагонов горячее какао в фаянсовых кружках и свежие булочки с маслом. Чахоточные дети, привезенные пульманом, теснились в окнах, смеялись, глядя на оркестр, и хлопали в ладоши.

— Н-да, — сказал я и отошел от окна. Растянулся на постели и, подложив руки под голову, тупо уставился в потолок.

КОМНАТА

Я живу в комнате, где на месте окон — два выгоревших проема. В одном — крепкие, хотя и слегка заржавелые решетки. На подоконнике другого стоит полная бутылка вишневой наливки и валяется скомканное рукоделие.

Из мебели, расставленной на полусгнившем полу сразу после освобождения города, наибольшую ценность представляет шкаф, так как на верхней полке в нем припрятаны: коробка американских сардин, две жестянки с бисквитами и офицерский резиновый плащ, купленный в одном DP Camp¹ за восемь пачек сигарет «Кэмел». На средней полке стоит пишущая машинка марки «Континенталь», которая мне обошлась в тридцать долларов. Больше всего на ней, вероятно, заработал ошивающийся при гостинице спекулянт с развязными манерами земляка-варшавянина. На нижней полке лежат четыре пары носков и полкило помидоров в пакете.

По потолку лазают пауки.

Солидный диван, о котором кто-то предусмотрительно позаботился, я ненавижу: он — как лагерные сенники — нафарширован блохами и клопами. Когда вечер не предвещает к ночи дождя, я беру подушку и два мохнатых канадских пледа, собственность одного старосты из лагеря «Аллах», и отправляюсь спать в

¹ Лагерь для перемещенных лиц (англ.).

городской сад, где полно парочек и пьяных милиционеров, палящих из автоматов в луну.

Днем же я сижу за круглым столиком красного дерева, добытым в квартире убитого немца, и, задыхаясь от жары, пишу, пока не стемнеет. При этом я беспрерывно чешусь, потому что тело мое горит, точно припекаемое углями.

У раскаленной железной печурки хлопочет девушка в черном платье и поет. Ее маленькое розовое личико теряется в завитках вычурной прически.

Девушка спит на кровати в другом конце комнаты. Каждый день она готовит мне обед и, поставив на стол хлеб, помидоры, суп и картошку, украдкой выносит полную тарелку супа за дверь и бежит с нею по лестнице к некоему молодому безработному, который не может найти себе занятия по вкусу.

Потому что она живет с ним, а не со мной.

ЛЕТО В ГОРОДИШКЕ

Войтеку Жукровскому

Высоко над гонтовыми крышами маленького городка стоял на холме среди лип огромный собор из красного кирпича. Каменная лестница круто подымалась от подножья холма, где на заросших буйными травами склонах паслись прожорливые козы, к распахнутым настежь кованым железным вратам, которые вели в темную бездну собора, пропитанную сырым запахом средневековых стен. Собор венчали две остроконечные башни, крытые серой черепицей. На верхушке левой башни горел на солнце

стройный золотой крест, на правой, на длинном шесте, строители — в память об отречении Петра — поместили черного жестяного петуха, поворачивающегося по ветру.

Узкая улочка плавно спускалась по склону и, обогнув широкой дугою собор, упиралась в городскую площадь, где бродячий цирк раскинул свой четырехмачтовый шатер. Из установленного на макушке шатра громкоговорителя неслась незатейливая мелодия любовной песенки, в такт которой лихо крутилась расписная карусель и раскачивались качели. Пестрая говорливая толпа сновала между палатками, где в клетках были выставлены напоказ экзотические животные: верблюд, лама и шакал, а смеющиеся девушки нетерпеливой гурьбой обступили шарманщика с попугаем, который клювом вытаскивал из ящичка судьбу — счастливую или несчастную. Теплый ветер обдувал лица девушек и теребил оборки нарядных зонтов, защищающих от солнца цветочные ларьки и столики для игры в очко. Площадь с трех сторон окружали развалины сожженных домов.

С четвертой стороны, прилепившись к суровым стенам собора, стоял домик приходского священника: двухэтажный, цвета незрелой малины, под слегка обомшелой фиолетовой крышей. На уровне второго этажа дом опоясывала галерейка поразительно изящной — хотелось бы сказать, мавританской — архитектуры. Окна были зелеными жалюзи защищены от солнца, которое освещало крышу и стены дома, насквозь пронизывало листву плакучей ивы у крыльца и осыпало золотыми блестками огороженный новеньким забором садик перед домом.

Между кустами переспелой малины и смородины прогуливался по дорожке молодой румяный священник в застегнутой по горло суктане. Юный служитель церкви сосредоточенно читал книгу в кожаном переплете, приблизив ее к глазам и слегка шевеля губами, не обращая внимания ни на гомон и смех толпы, слоняющейся вокруг ярмарочных лавчонок, ни на аплодисменты и восхищенные возгласы, которыми на площади награждали живую рекламу цирка — канатоходца в черном трико, ни на хриплую песню громкоговорителя. Иногда только он отрывал от книги усталые глаза и, сплетая на животе гладкие, позолоченные загаром руки, пружинисто распрямлялся и обращал румяное толстошеекое лицо, освещенное добродушной полуулыбкой, к галерейке на втором этаже — поразительно изящной, хотелось бы сказать, мавританской, по своей архитектуре.

Вдоль заслоненных зелеными жалюзи окон второго этажа, под невесомым почти навесом изящной мавританской галерейки, оттягивая толстую белую веревку, висели полукругом легкие и прозрачные, разноцветные — бледно-зеленые, карминно-красные, голубые и черные — предметы дамского туалета: рубашки, лифчики, пижамы и чулочки — и, словно кто-то ворошил их забавы ради, чуть покачивались на веревке под порывами теплого ветра.

ДЕВУШКА ИЗ СТОРЕВШЕГО ДОМА

Исполненный любопытства, я перегнулся через барьер моста, обхватив руками холодное железо перил, чтобы оно не давило на грудь,

и на минуту закрыл глаза. Воздух еще хранил запахи дождя, но по нему уже пробегали волны солнечного света, а от нагретых камней мостовой поднимался теплый, как дыхание, пар и терся о кожу ног. Порывы речного ветерка, свежего, как запах бука, то усиливались, то затихали, отступая как море во время отлива: вместе с ветром, будто отблеск света по воде, проскальзывал и винный запах прелой листвы. Впрочем, когда по асфальту с грохотом проносились грузовики и удушливые выхлопные газы смешивались с запахом влажной пыли и с идущей от сточных канав вонью, забивая порывы ветерка, я пугливо сжимал ноздри.

Сгоревший дом, красные, а кое-где тронутые коричневой гарью, словно бы подгнившие сверху кирпичи в лишаях штукатурки и голубых подтеках, опустошенное до основания, съеденное огнем жилище с торчащими берцовыми костями труб, неоправданные проемы в стене для ненужных теперь дверей и окон, прожорливый, вгрызавшийся в стены и ползущий по карнизам плющ, ржавая, сломанная решетка, отделявшая дом от улицы, чахлый тополь, астматик, изуродованный снарядами, а сейчас серебрившийся от дождя, все это оттуда, из-под арок моста, напоминало мне детские игрушки, маленькие и хрупкие.

За домом открывалось широкое поле, заросшее буйной пушистой травой, выцветшей, как старая обивка зеленого дивана, стоявшего когда-то в одной из сгоревших комнат; в траве всеми цветами радуги играли осколки выбитых стекол. Кое-где рыжели пятна всевозможного мусора, растительность еще не успела поглотить полностью недавние развалины. Их опоясывал

полукруг улицы, всегда пустынной, с накренившимися фонарями, с многочисленными плешинами вместо прежних домов, а на склоне холма, упершись в землю, росли мощные деревья с фантастически буйной листвой; зелень жадно взбиралась по склону, словно грозя кому-то острием торчащих трав; среди деревьев, за кустами, стояли танки, выкрашенные под цвет увядшей листвы, и белели самолеты-истребители различных конструкций. Внизу, на золотом песочке, на всеобщее обозрение были выставлены разнокалиберные пушки.

У моста по булыжнику грохотали крестьянские двуколки, груженные известью и кирпичом, а над домом, над полем, над обрывом и двуколками одиноко проплывали по небу мохнатые тучи с лиловым или розовым брюхом, расцветали и увядали на ветру, как запоздалые цветы.

Этот открывавшийся с моста вид я выучил назубок, но вопреки здравому смыслу ждал, что стоит мне открыть глаза, как поросшие травой развалины, железная, покрытая суриком ограда, выставленные напоказ танки, самолеты и разнокалиберные орудия, двуколки, унылые лошади, возчики с их кирпичом и известью — все это вдруг исчезнет, и я увижу густой, ломкий, наполненный шелестом листьев и пением птиц, кустарник, высохшие деревья зазеленеют, сгоревший дом заполнится людьми, из несуществующего коридора, захлопывая за собой перекосившуюся, непослушную дверь, выйдет девушка в синей накидке и обратит к небу бледное, сосредоточенное лицо.

Она шла вдоль живой изгороди, как ловкий зверек пробираясь среди кустов, по вечерам —

когда небо скользкое, как лед, искрилось звездами, — ее силуэт выступал в ореоле лунного света, а порой был затемнен зыбкой тополиной тенью, душный аромат левкоев или же холодный, пронизанный плесенью запах весенней земли были ее спутниками, иногда под ногами шуршали сухие листья, иногда битым стеклом похрустывал ледок, она выходила из-за угла, мы вместе, присев на корточки возле опоры моста, прямо здесь, на каменном постаменте, обжигаясь, глотали борщ, или картофельный суп, или жидкую кашу — мой обычный ужин. Сколько же тропинок и улиц, сколько домов запечатлели ее силуэт, сколько раз я ощущал холод ее ярко-красных губ, тепло ее прикосновенья, сколько раз в темноте вглядывался в ее смуглое, подчиненное ритму тела лицо; мальчишеская любовь и женская ревность; нежность и ожесточение; примирение и ссоры; детство и зрелость; улицы, тротуары, парадные двери, люди, картины неба, парки с шелестящей тенью, заполненные белыми ее руками, гулянья, пропахшие ситцем, дожди и тысячи солнц, деревья и воздух, — все это сроднилось с нею и, стоит лишь закрыть глаза, существует куда реальнее, чем замаскированные среди зелени танки и выставленные напоказ на золотом песочке белые самолеты и разнокалиберные орудия.

Я открыл глаза, перед которыми все еще стояли образы минувшего, и, с трудом передвигая ноги, спустился по каменным грязным, провонявшим мочой ступенькам моста вниз, на мостовую. Поглядел на полуголых рабочих, которые рядом, в переулке выбирали из груды щебня целые кирпичи и спускали по деревянному желобу вниз, на груженные кирпичом подводы — их с

трудом тащили замученные клячи, — еще раз охватил взглядом поросшее травой поле, засохшие деревья, крутой склон и тополя на склоне — вид, который я так любил когда-то, и наконец, насупив брови, энергичным шагом направился в сторону центра. Когда я проходил мимо сгоревшего дома, где теперь господствовал плющ, подувший с поля ветер донес откуда-то из-под фундамента, из засыпанных обломками подвалов сладковатый запах гниющего тела.

Впрочем, нюх обманул меня; как я потом случайно узнал, девушка была засыпана обломками на другой улице, в другом доме, через полгода после ее смерти родственникам удалось разыскать останки и *lege artis*¹ захоронить на дешевом загородном кладбище.

ПОВЫШЕНИЕ

Человек этот был маленького роста, выше средней упитанности. Говорил тонким, певучим, похожим на женский голосом, а когда улыбался, на полном и гладком, как у младенца, лице выступали мелкие капельки пота. Скользя по коридору, маленький человек пухлой рукою указал на дверь кабинета, мимикой щек и губ и всем своим плавно изогнувшимся телом любезно пригласив меня войти и его подождать. Не успел я устроиться на обитом кожей стуле и провести туда-сюда подошвой сандалии по ворсистому ковру да поглядеть, не повешена ли новая картина между окнами на единственной

¹ По всем правилам искусства (лат.).

не затянутой килимом¹ стене, как он бесшумно втиснулся в кабинет, аккуратно притворил за собою дверь и со сноровкой, приобретенной — как не без ехидства подумал я — путем упорных тренировок, уселся в директорское кресло за письменный стол красного дерева.

— Нет, нет, нет, нет! — выдержав довольно долгую паузу, отчетливо, хотя, пожалуй, чересчур эмоционально, выкрикнул он.

Я снял портфель с колен, встал, выпрямился во весь свой рост, сдержанно поклонился и, неотрывно глядя в потолок, на цыпочках вышел из кабинета.

— Очень рад, что, невзирая на трудности, вы шагаете в будущее с поднятой головой! — произнес с улыбкой этот человек; выплыв следом за мной из кабинета, он проворно шмыгнул по коридору и скрылся в комнате напротив, сплошь заставленной сосновыми письменными столами и стульями и полной сосредоточенных молчаливых чиновников.

«Этот человек должен бы вызывать у меня антипатию, — подумал я, машинально поглаживая железные перила лестницы. — Однако же вид у него вполне приятный. Потому, наверное, — думал я, спускаясь вниз, — что не в пример другим коротышкам он не задирает голову вверх и не старается путем отрывания от земли пяток прибавить себе значительности в глазах высоких людей».

И только спустившись по каменным ступенькам на два этажа, я вдруг сообразил, что самто намного его ниже.

¹ Килим — шерстяная декоративная ткань со стилизованным растительным или геометрическим узором.

ЖАРКИМ ДНЕМ

Юзефу Мортону

На голем небе солнце лежало безжизненно, как высохшая кость. Раскаленный воздух недвижно застыл над землею. На мостовой плавился асфальт; от него шел запах каленой смолы. По асфальту бесшумно скользили министерские лимузины. Вдогонку за лимузинами взвивалась мелкая пыль и серебряной ржавчиной оседала на листья.

По пролысинам вытопанной земли бегали оборванные дети, гоняя тряпичный мяч, хрипло крича и выплевывая пыль, забивавшую глотку. Лица у детей были опухшие и от напряжения наливались кровью. В воротах между изувеченным снарядом тополем и ворохом одежды стоял враскорячку мальчуган, уперевшись руками в ляжки. Коленки у него были исцарапаны, но кровь на коже успела засохнуть.

Когда я, свернув с улицы и шагая по привядшей траве, приблизился к вратарю, игра как раз закончилась. Шумно споря и перебрасывая из рук в руки тряпичный мяч, мальчишки устремились в тень. Вратарь послюнявил раны на коленях и, подобрав с земли одежду, пошел за остальными.

— Бесстыжая какая, — приостановившись рядом со мной, произнес он, как мне показалось, оскорбленно, и мотнул подбородком в сторону засохшей живой изгороди, окружавшей развалины. Дикий виноград карабкался по стенам спаленных домов, обвивая усами каменные кариатиды и расползаясь по остаткам балконов и галереек. В тени деревьев на сыроватом

газоне семейными кланами расположились люди. Полураздетые мужчины лежали на одеялах, тяжело дыша, бледные и размякшие, как вареные рыбы. Их женщины спали, лицом в траву, — посреди измятых газет, бумаги от бутербродов и яичной скорлупы. Другие мужчины, скинув пиджаки, играли в тесных кружках в карты и приглядывали за своими отпрысками, которые перекидывались розовым мячиком и со смехом носились между родителями.

А за семейными группами, на самом солнцепеке, прямо на иссохшей земле под живой изгородью, одна-одинешенька лежала пластом девушка в цветастом платье, под которым не было белья. Алчно подставив солнцу толстое потное лицо, она подтянула к животу колени и нагло, вызывающе раздвинула пухлые белые ляжки.

— И правда, какая бесстыжая, — ответил я, дружески кивнув мальчугану; положил руку ему на плечо и уставился на девушку — так же жадно, как он.

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК

...фашист, враг мой смертный.

Адам Важик

Выйдя из ренессансного собора, в котором над главным алтарем, отодвинутым для удобства туристов от стены, между двух закопченных окон, укрытый в тени, висел под самым сводом триптих Тициана, закопченный еще больше, чем окна, мы ленивым шагом отправились в расположенный по соседству, в ратуше, городской архив, откуда, просмотрев десятки арабских,

турецких, латинских и славянских документов, украшенных огромными сургучными печатями, разноцветными инициалами и даже рисунками, не спеша двинулись по главной улице старинного городка, где среди множества скромных памятников сновали шумные толпы курортников, наслаждающихся средиземноморской осенью, подобной нашему лету. Улица была выложена каменными, выбеленными дождем и солнцем плитами и подымалась от портовой сторожевой башни, выдвинутой в море и охраняющей подступы к молу, к городским воротам, сооруженным уже на склоне. Ворота эти отделяли обнесенный мощной средневековой стеной и тесно, впритык, застроенный домами старый район города с такими узенькими улочками и переулками, что можно было, раскинув руки, коснуться стен противоположных зданий, — район, пропахший супом и мокрым бельем, которое раскачивалось на веревках над улочками, кишачий дикими кошками и пугливыми чумазыми детьми, — от нового района, где вдоль асфальтированного бульвара тянулись цепочкой пансионаты и гостиницы, скрытые в гуще развесистых пальм, апельсиновых деревьев, кустов мирта, кипарисов и пиний и начиненные услужливыми официантами, девицами легких нравов и чистильщиками обуви. Оба района раскинулись на склоне известнякового, кое-где поросшего агавами и кипарисами холма, на верхушке которого белели грозные военные форты Иллирии¹ наполеоновской эпохи, а ниже серели круглые

¹ Иллирия — словенские и хорватские земли на побережье Адриатического моря, отошедшие к Франции по Пресбургскому (1805) и Шенбруннскому (1809) миру; сейчас — территория Далмации, Боснии и Албании.

купола водруженных на городские стены немецких фортификационных укреплений эпохи гитлеровской Кроации¹.

Поскольку до обеда оставалось еще немного времени, мы шли не торопясь, по дороге задерживались возле ювелирных магазинчиков, набитых изящными народными изделиями из дутого серебра, и, облизываясь, провожали глазами рослых девушек в длинных, по щиколотку, черных платьях с желтой бахромой на груди, которые, покачиваясь, как ладьи, прогуливались по мостовой, надменно занятые только собою. Это были жительницы окрестных деревень, прекраснейшие среди женщин Юга, рожденные крестьянками от туристов с голубой кровью. Так, по крайней мере, утверждал местный гид, приставленный к нам городской управой. И действительно, в долгом и полном впечатлений путешествии по шести республикам нам нигде больше не довелось видеть таких красивых девушек; некоторые из них, правда, были слегка обезображены сифилисом.

Наконец мы добрались до каменной скамьи и уселись на горячем песчанике, восхищаясь бескрайним морем, салатovým и изумрудным, серебрящимся от ветра, с грохотом разбивающимся о скалы у наших ног. За спиной у нас зазвонил среди пальм смешной и яркий миниатюрный трамвайчик и начал взбираться на гору, на соседней скамейке сидела в летнем цветастом платье загорелая женщина, держа на коленях ребенка, который забавлялся висевшими у нее на

¹ Кроация — название Хорватии на некоторых западноевропейских языках; употреблялось и в русской литературе.

шее бусами из красных кораллов, с моря веял влажный, пахнувший водорослями ветерок, в чистом небе кружили чайки и опускались на волны. Было тепло и тихо, лучшая пора для созревания апельсинов.

— Не пишут про нас в газете? — спросил Член Делегации. В Любляне нам посвятили целую статью.

— Обедать пошли, опять опоздаем, — сказал другой Член Делегации.

— Да хватит вам о еде, — сказал первый. Обернулся на звонок трамвая, который съезжал с горы, и заметил: — Прimitив, как у Руссо Таможенника.

Я принялся просматривать газету, пробегая глазами названия самых скромных статей и заметок. Увы — на первых страницах о делегации не было ни слова. На пятой полосе — это была «Борба» от 11.11.47 — мне бросились в глаза три фотографии, переснятые из какого-то английского журнала. На первой фотографии, посреди голого каменистого поля, лицом к лицу с шеренгой солдат в английских мундирах, стоящих в вольных позах с винтовками у ноги боком к зрителю, так что аппарат с достаточной резкостью запечатлел лишь белые манжеты и пояс первого солдата да большую сумку с патронами для «томми-гана»¹, висящую у него на груди, — были выстроены в ряд люди, среди которых мое внимание привлекли женская фигура и мужчина в полосатых штанах.

Вторая фотография воспроизводила «деталь» первой: мужчину и женщину. Мужчина — очень

¹ Автомат.

стройный, совсем молодой, почти на голову выше женщины был в пиджаке, надетом прямо на пижаму с расстегнутым, как у спортивной рубашки, воротом. Был он лысоват, с бачками и подстриженными усами; стоял выпрямившись, крепко сжав левую руку в кулак; можно было догадаться, что у него тонкие, плотно сомкнутые губы и насупленные брови. На девушке было расклешенное пальто, на голове чалма (цветная, насколько позволял судить снимок), стягивающая ее пышные волосы, по моде взбитые надо лбом. Голову она слегка склонила к плечу, на открытой шее чернел маленький крестик, а может, капелька типографской краски. Тяжесть тела девушка перенесла на левую ногу, правую немного согнув в колене, как человек, уставший от долгого стоянья на месте. Губы ее были чуть поджаты, словно от холода. Правая рука мужчины и левая женщины бессильно свисали, как бы отделенные от тела, — они были связаны между собой. Девушку звали Ефтимия Паза, ей было двадцать пять лет, мужчина по фамилии Васкекис был учителем в школе, он не успел надеть костюм.

На третьей фотографии солдат в английском мундире, широко расставив ноги, склонился над трупами. Подпись под фотографиями гласила, что это фашистские греческие войска расстреливают подозреваемых, а солдат на третьем снимке после экзекуции переворачивает каблуком тела расстрелянных и добивает тех, кто еще шевелится.

— Нет, про нас ничего нету, — сказал я, просмотрев газету до конца. — Разве что мне сегодня исполняется двадцать пять лет. Судя по дате. Газета вчерашняя.

— Это действительно интересно, — иронически заметил Член Делегации.

— Пошли, наконец, обедать, — сказал другой Член Делегации, нервно покусывая рыжие усики, которые, месяц уже не подстригавшиеся, свешивались на верхнюю губу.

Мы встали и бодро зашагали к гостинице, где нам подали: «*hors-d'oeuvres variés*¹ и *caviar de Cladave*² на выбор, *crème de volaille*, *dindonneau rôti*, *charlotte russe*³, а также *dingaç*⁴ и кофе по-турецки.

МЕЩАНСКИЙ ВЕЧЕР

Многоуважаемому Станиславу Дыгату

Моя страсть — книги, запахи и размышления, точнее, несколько инфантильные, с эротическим уклоном, мечты перед сном. Вечером, распахнув настежь оба окна, чтобы впустить в комнату тошнотворный запах цветущих лип, которые растут на противоположной стороне улицы, я, не гася ночника, ложусь в кровать — а вернее, на диван, — на хрустящую накрахмаленную простыню, закидываю руки под голову, прикрываю глаза и, следя сквозь неплотно сощуренные веки за шуршащим полетом ночной бабочки, предаюсь своим мыслям. Конечно, я немало пережил во время минувшей войны и даже с известной гордостью рассказываю знакомым,

¹ Различные закуски (*фр.*).

² Икра (*фр.*).

³ Суп-крем из домашней птицы, жареная индейка, шарлотка по-русски (*фр.*).

⁴ Сорт местного вина.

что видел однажды двадцать восемь тысяч голых женщин — а за год намного больше миллиона людей разного пола и возраста, — идущих в газовые камеры, а иногда даже с жаром твержу, что вид этих человеческих скопищ неотступно меня преследует, что, например, в воспоминаниях я еще слышу людской крик, плач детей и трусливое, покорное молчание мужчин и что порой почти реально ощущаю докучливый запах гниющей женской крови, смешанной с потом, и влажную жирную вонь горящих тел, но все же должен признать, что наедине с собой, а тем паче в своих размышлениях перед сном, не имею обыкновения ко всему этому возвращаться. Чаще всего бывает так: устав вглядываться в трепетную тень пляшущей на сером потолке ночной бабочки, я крепко зажмуриваю глаза, и тогда под сомкнутыми веками, как в калейдоскопе, мгновенно возникают разноцветные геометрические фигуры — прямоугольники, неправильные многоугольники, круги и светящиеся пятна, а также линии, полосы, колючие точки, подвижные пучки прямых, которые, поднимаясь вверх, уменьшаются или увеличиваются, меняют окраску и форму, объединяются, сливаются, делятся и распадаются и наконец убегают куда-то к затылку, а на их место из-под век всплывают новые пятна и линии. Вынужден, однако, признать, что долго я на них внимания не останавливаю, — это всего лишь перекидной мост к истинно волнующим меня мыслям.

А именно: я думаю о женщинах. О женщинах реальных и вымышленных, которые — естественно — пробуждают во мне невероятную остроту чувств и дарят неслыханное наслаждение. Во время войны, когда я был много моложе,

мои мысли занимали девушки моего возраста, казавшиеся удивительно прекрасными и совершенными. Мне тогда в голову не приходило, сколь безобразны угловатые коленки, тонкие ноги, узкие худые бедра и заостренные груди. Только теперь я понимаю, что одна моя ровесница, с которой несколько лет назад я познавал любовь (и о которой до сих пор вспоминаю с сентиментальной нежностью), несмотря на всю свою пылкость и самозабвение, была тверда и шершава, как дубовая кора.

Сейчас, преодолев застенчивость ранней молодости, я по вечерам обращаюсь мыслями к женщинам зрелым, опытным и смелым. В мечтах мне перестали нравиться девушки, которых надо посвящать в тайны любви. Объясняется это, по-видимому, прежде всего тем, что в действительности я боязлив и крайне неловок и вечно нарываюсь на неприятности.

И тем не менее ошибется тот, кто предположит, что в своем воображении я устремляюсь прямо к кульминационному пункту. Наоборот, ему предшествует рассказ, запутанная интрига, иногда частично заимствованная из прочитанных книг, ряды которых я время от времени переставляю на полках. Я сочиняю законченные, хотя лишь в самых общих чертах намеченные истории и только отдельные детали обдумываю более тщательно. Одну картину с другой я связываю пунктиром, не мыслью даже, а ее наметкой. Поспешно рисую характеры, изобретаю конфликты, наделяю себя — применительно к обстоятельствам — злодейскими либо благородными чертами, а свое тело — необходимыми для композиции изъясными или красотой и силой, кинематографической скороговоркой обо-

значаю место действия, для быстроты конструируя его из примеченных днем элементов, из запавших в память интерьеров, предметов, фигур и событий, но... хотя и веду рассказ нетерпеливо, будто листая страницы увлекательной книги, никогда не укладываюсь во время.

Уши у меня, правда, зажаты ладонями, однако я отчетливо слышу, что шум в ванной прекращается. Затем хлопают двери — сперва одна, потом другая, слышится шлепанье мягких туфель по полу, шелест шелковой пижамы. Когда же гаснет ночник, приподымается одеяло и пружины дивана вздрагивают со скрипом, я открываю в темноте глаза и, немного еще недовольный тем, что ход моих мыслей прерван перед самой кульминацией, решительно поворачиваюсь и заключаю в объятия свою молодую жену.

ВСТРЕЧИ

Я шел ночью, пятым в шеренге. В самом центре фиолетового неба дрожало коричневое пламя — жгли людей. Я шагал в этой мягкой ночной тьме, широко раскрыв глаза, и хотя из моего проколотого штыком бедра текла кровь, обдавая все тело теплом, при каждом движении переходившим в боль, а сзади в мерном и частом топоте мужских ног слышались частые испуганные шажки женщин (среди них шла девушка, которая прежде была моей), все же из всего увиденного мною той ночью я могу повторить лишь то, на что смотрел во все глаза.

Я видел в ту ночь, как полуголый, дымящийся от пота человек, вывалившись на гра-

вий лагерной платформы из телячьего вагона, где уже не оставалось воздуха, захлебнулся хлынувшей на него ночной прохладой, шатаясь пошел навстречу другому человеку, судорожно обхватил его рукой и повторял, как в бреду: «Брат мой, брат...»

А еще один человек (его, борясь за воздух, едва не задушили в вагоне, возле щели), лежа в сарае на груде еще не остывших тел, вдруг из всех сил пнул ногой склонившегося над ним уголовника, который стаскивал с его ноги вообще-то ненужный покойнику новенький хромовый офицерский сапог.

Много дней подряд я видел потом, как, обхватив кирку, лом и при разгрузке вагонов, плачут мужчины. Как они тащат рельсы, мешки с цементом, бетонные столбы для ограды, с каким усердием выравнивают землю, нежно оглаживают лопатой стенки рвов, строят бараки, сторожевые вышки и крематории. Как их пожирают чесотка, флегмона, голод и тиф. Впрочем, я видел и людей, которые коллекционировали бриллианты, часы и золото, тщательно закапывая их в землю. Видел я и таких, которые из снобизма старались убить как можно больше других людей, овладеть максимальным числом женщин.

Мне приходилось видеть, как женщины носят балки, возят телеги и тачки, строят заруды. Видел я и таких, которые отдавались за кусок хлеба. И таких, которые за шелковые рубашки, золото и снятые с покойников драгоценности сами могли купить себе любовника. Видел я там и мою девушку — теперь она была лысая и вся в нарывах, но эта история касается меня одного.

Все те, кого из-за чесотки, флегмоны, тифа или чрезмерной худобы отправляли в газовые камеры, перед отправкой в крематорий, просили грузивших их санитаров, чтобы они смотрели и старались запомнить. А потом рассказали правду о человеке тем, кто ее не знает.

Сейчас я гляжу из обвитого плющом окна на сожженный до края неба дом и дальше — на остатки старинных ворот с уцелевшей амфорой на колонне, на банальную и благоухающую липу, на другой берег мерцающей реки, где развалины, подступая к линии горизонта, сливаются с небом.

И, когда я здесь, в чужой комнате, в окружении чужих книг, пишу о том, что видел небо, мужчин и женщин, меня не оставляет мысль, что себя я видеть не мог. Один молодой поэт, некий символист-реалист, заметил с сарказмом, что у меня лагерный комплекс.

Через минуту я положу перо и, тоскуя по увиденным мною тогда людям, начну раздумывать, кого сегодня навестить — человека в новеньких сапогах, которого едва не придушили в вагоне, он теперь инженер на местной электростанции, или же хозяина весьма бойкого кафе, шептавшего мне тогда: «Брат мой, брат...»

Других навещают те, кто, роясь в смешанной со сгнившими костями и пеплом земле, усердно ищут спрятанное там золото.

ВОСПОМИНАНИЯ



ОТ АВТОРА

Мой молодой читатель, я сам хорошо знаю, что эти мои школьные рассказы далеки от совершенства. И вовсе не удивлюсь, если они тебе не понравятся. Но прежде чем ты положишь эту книжечку на полку, я хотел бы объяснить тебе, зачем я ее написал.

Осенью прошлого года один старый учитель гимназии уговорил меня прочитать кипу школьных сочинений, которые он собирался передать в воеводский отдел просвещения в качестве документа. Темой этих сочинений было: «Как я учился во время оккупации». Я забрал всю кипу сочинений домой и до позднего вечера внимательно, листок за листком, читал их.

Из текста этих листочков, мой читатель, а также из того, что сам я помнил, и сложились мои короткие рассказы об учениках и преподавателях школы в период оккупации. Ты, я знаю, вероятно, предпочел бы, чтобы тебе еще раз рассказали о доблестных партизанах или о героической гибели детей — участников Варшавского восстания, или о чем-либо ином, столь же прекрасном и кровавом, но поверь, я не смею, да и не смею писать об этом.

Видишь ли, мой молодой читатель, я от всего сердца ненавижу то время, в котором мы жили, потому что вместо пера оно сунуло нам в руки пистолет и гранату, и вместо того, чтобы учить нас жить, повелело умирать. В самом деле, плох тот век, который посылает детей вместо школ на баррикады. И может быть, не надо восхвалять того, что было горестной необходимостью.

Я написал свои рассказы, чтобы школьные сочинения, которые мой старый учитель должен был отослать в отдел просвещения, не погибли навсегда в каком-нибудь пыльном шкафу. Я был бы очень рад, мой читатель, если бы ты поверил, что я и в самом деле почти не изменил фактов, изложенных в этих сочинениях, и если б разглядел в моих коротких рассказах нечто большее, чем свод незначительных событий.

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ЛЕС

За окном темная беззвездная ночь. В кругу ослепительного света лампы разбросаны белые листочки, старательно исписанные детским почерком. Я склоняюсь над ними и вытаскиваю рассказ, простой, несколько мелодраматичный, но в нем нет ни слова лжи.

Дело происходило в маленьком городишке в Великой Польше осенью тридцать девятого года. Я проверил по карте: нет там поблизости ни важной реки, ни исторического озера. Городок, подобный всем прочим польским городам и городишкам, ибо во всех больших и малых городах Польши осенью тридцать девятого года были расквартированы немецкие гарнизоны.

В городке, о котором пойдет речь, перед бе-

лым оштукатуренным зданием начальной школы неподвижно стоял, расставив ноги, немецкий солдат в блестящей каске, в черном, плотно прилегающем мундире, воротничок которого украшало серебристое изображение черепа. Половину школы занимали молодые немецкие телеграфисты. В другом крыле здания учились немецкие дети: несколько местных, остальные — сыновья приезжих чиновников и переселенных в городок на постоянное жительство партийных чинов и гестаповцев.

Ни чумазый Сташек, сын угольщика из дома за колбасной, ни его товарищ, автор сочинения, которым я пользуюсь, не могли спокойно пройти мимо школы. Сперва они «с ненавистью смотрели часовому в глаза», потом бросали взгляд на открытые окна своего 5«в» класса, полного ребячьего гомона. Оба они не имели права входить в свою школу. Давний приятель Сташека, Вальтер Ешонек, мать которого раньше была хозяйкой прачечной, а теперь, с приходом немцев, стала управляющей нескольких магазинов, ходил в школу, поскольку отец его объявил себя фольксдойчем. «Тогда мы подрались с Вальтером, а проходя мимо этой немецкой школы, плевались с отвращением, потихоньку, конечно».

«Мы все ненавидели эту школу, — пишет далее приятель Сташека, — и боялись ее как тюрьмы. Немцы хотели загнать нас туда, но мы, кто мог, сперва притворялись больными, а после поляков и так выселяли. В классе, где учились поляки, было очень холодно, потому что при любой погоде нельзя было закрывать окна. А потом, чтобы разогреться, у нас была суровая муштра, с оплеухами для разнообразия и

палочными ударами, а девочкам за непослушание учитель отрезал косы. Про Польшу нас учили только одно, что поляки народ второго сорта. Той осенью у нас была своя польская школа в деревне за городком, так как в городе было нельзя. Дорога к той школе шла через лес».

Эта польская, изгнанная из городка школа помещалась в обычной деревенской избе. В ней не было ни одного польского учителя, ни одного специалиста. Все они, согласно предписанию, были заняты физическим трудом. Уроки давала бывшая служанка супругов Розенбергов, которым отец Сташека обычно возил на зиму уголь. В начале сентября Розенберги успели с последним эвакуационным поездом выехать в Варшаву, а служанка, которая со вступлением немцев в Познань подружилась с солдатами, с легкостью получила место учительницы в польской школе близ маленького городка. Это было для нее, — как мы бы теперь сказали, — большим продвижением, потому что после бегства Розенбергов, закрывших квартиру на ключ, она ходила рыть оборонительные рвы, где, правда, хорошо кормили и можно было найти угол для ночлега.

«Полностью исключить польский элемент из школ невозможно, поскольку пока что нельзя обойтись без польской рабочей силы», — писал Грейсер, немецкий наместник в Великой Польше, в циркуляре для подведомственных ему школьных властей. «Для воспитания же польской рабочей силы, — писал он далее, — достаточно любой служанки и работницы». Чтобы видимость соблюсти.

Но обо всем этом чумазый мальчишка не знает. Учительница часто рассказывает им, как пло-

хо ей было у Розенбергов и как хорошо у мельника, немца, по фамилии Вейсмюллер, где она служила пару лет тому назад. Сташек всегда думал об этом, проходя мимо разбитых, пустых домов на окраине городка, в которых раньше жили евреи. В окнах еще летают перья из подушек, а кое-где стоят даже засохшие цветы в горшках. Всех евреев немцы вывезли на машинах, одни говорили, что на смерть, другие — что только на работы. «Интересно, — думал Сташек, — Розенберги в Варшаве тоже работают на железной дороге, как те евреи, которые каждый день спозаранку в колоннах идут на работу?»»

«Учительница много рассказывала нам о жизни, но мы ничего в этом не понимали. Иногда она вместе с нами читала сказки и рассказы и тогда было очень приятно».

Но самым приятным была дорога в школу. Ведь дома все было упаковано, чтобы в любой момент быть готовыми выехать в губернаторство, в Варшаву, на сборы давалось десять минут, из мебели ничего брать нельзя, только то, что в руках унесешь.

А тут — свобода. Идешь по улице, смотришь на солдат, на дома. Ветер метет вдоль улицы. Под ногами шелестят сухие листья. Сташек, чумазый сын угольщика, любит по ним бродить. Идешь, как по селу. Только что не пахнут.

За городком песчаная размокшая дорога вилась между холмов, а потом шла лесом. Сташек боялся леса. Когда он слышал над собой шум дубов, он начинал громко петь. Он не любил один ходить через лес.

Однако сегодня мальчик был в лесу не один. Едва он вышел из городка, держа за пазухой не-

сколько страничек, вырванных из старинной книжки о Мелюзине, которую они читали с учительницей, как его обогнала машина с жандармами. Засигналила, обдала его грязью. Жандармы в машине добродушно смеялись, когда он нагнулся соскрести грязь со штанов. Они развалились сидели на лавках. Их красные упитанные физиономии блестели как надраенные. Ветер принес редкие капли дождя.

Сташек шел по колее, обходя лужи. «Кто-то сегодня пойдет к хозяину Брауну копать картофель?» — думал он. Немец, хозяин, приходил в избу, где шли уроки, и выбирал нескольких самых крепких детей из тех, кто постарше. Они должны были вместе с батраком идти в поле копать картофель или работать в конюшне. Девчат забирала хозяйка для уборки по дому или заставляла их стирать. Юзьку, мать которой имела свою лавку, а теперь, когда лавку у нее отобрали и передали немцу, работала рассыльной на почте, хозяйка так полюбила, что давала нянчить своего отпрыска. Юзька должна была сидеть при нем целый день и ни разу не слышала, как в классе читали Мелюзину. Сташек был раз на картошке, но около полудня сбежал. Мать тогда наплакалась над ним. Хозяин после высматривал его в школе. Несколько дней Сташек в школу не ходил, а потом хозяин то ли забыл о нем, то ли разыскивать ему не захотелось. Может, потому, что в общем-то, он был человек порядочный. Другие хозяева не только брали детей на работы, но еще и били их.

Еще одна машина с жандармами проехала мимо. Остановилась на опушке. Солдаты соскочили с машины, развернулись цепью и исчезли в лесу.

У Сташека забилося сердце. Идти или не идти в школу? Сегодня учительница обещала рассказать о Сибилле, которая предвещала конец войны. Сташек решил идти. Неожиданно в лесу раздался выстрел. С треском сломалась ветка. Послышался топот чьих-то ног. В лесу перекликались жандармы. Стихло. Только шумели деревья вверху.

Сташек побежал по дороге через лес. Он боялся леса. Теперь уже не шума деревьев, а выстрелов. Потому что знал. Какой польский ребенок тогда не знал этого! Жандармы охотились за евреями. Видно, снова кто-то бежал из лагеря за городом. «Лишь бы не поймали, лишь бы не поймали, лишь бы не поймали», — ритмично, как заклинание, твердил мальчик.

Лесная дорога сворачивала в густые кусты.

И именно в тот момент, когда мальчик вышел к повороту, через кусты продрался человек. Он был грязный и оборванный. На его штанах были широкие красные полосы. Сташек испугался его бледного заросшего лица и огромных, горящих, как у волка, глаз и пронзительно вскрикнул. Человек умоляюще сложил руки и посмотрел на мальчика, как загнанный зверь. Сташек рукой показал на деревья по другую сторону дороги.

— Там жандармы, там жандармы, — заикаясь, пробормотал он.

Оборванец, еврей, которого преследовали, не говоря ни слова, повернул и снова забрался в кусты.

Тут же из-за деревьев выскочил запыхавшийся жандарм с винтовкой в руках. И остановился перед мальчиком.

— Bist du Jude?¹ — спросил он и, видя, как у мальчика ширятся от ужаса глаза, рассмеялся, довольный.

— Еврея не видел? Он убежал из лагеря. Он бежал этой дорогой. Так?

— Я не видел, — в замешательстве ответил Сташек по-польски. — Никого не видел, — повторил он по-немецки.

— Ach so, du bist Pole², — сквозь зубы процедил жандарм и подошел к мальчику поближе. — Ты никого не видел? А это чьи следы? А кто кричал? — И неожиданно ударил мальчика прикладом по лицу. Мальчик упал. Одной рукой он придерживал странички из книги, чтобы они не выпали и не загрязнились, так, по крайней мере, пишет его товарищ. Жандарм пнул лежащего ребенка сапогом, несколько раз ударил его прикладом и побежал в лес, оставив мальчика на обочине дороги в луже крови.

«Когда мы с учительницей возвращались из школы, мы нашли Сташека лежащего без сознания у дороги. У него были выбиты передние зубы. Мы думали, он ослеп, так распухли у него глаза. Учительница взяла его на руки и принесла домой, в город. На следующий день у нас не было урока, потому что учительница все еще сидела около него. Сташек поправился, но соседи, немцы, дознались, что он ходил в польскую школу, что не хотел работать у хозяина-немца и еще что жандарм избил его. Всю их семью выселили в генерал-губернаторство. Я получал от него письма. Сперва он учился там в начальной школе, а потом поступил в подпольную гимназию. Состоял

¹ Ты еврей? (нем.)

² Ах так, ты поляк? (нем.)

в харцерских «Серых шеренгах», которые среди прочего привозили нам на западные земли школьные учебники. Он погиб в Варшавском восстании при обороне Старого Мяста; в тот день в этом секторе вместе с ним погибло триста варшавских детей, харцеров из «Серых шеренг».

А когда на третий день после избиения Сташека жандармом дети пришли лесной дорогой в школу, учительница уже не рассказывала им о добрых Вейсмюллерах и плохих Розенбергах, у которых прожила столько лет. Зато она рассказала о том, как закончилась предыдущая война, как в Познани дети разоружали взрослых немцев, забирали у них штыки и винтовки и пели, что Польша будет жить.

И неожиданно умолкла. Посмотрела на лица внимательно слушающих ее детей, подняла глаза к окну, за которым чернел лес.

— Я хотела бы вас научить... Я хотела бы так научить вас... Но я не умею, — проговорила она тихо.

И протянула к ним руки, натруженные, потрескавшиеся руки, огрубевшие от тяжелой работы.

«А когда пришел хозяин, — рассказывает далее безымянный товарищ Сташека, — и хотел взять детей для работы в усадьбе, учительница ему не позволила. Сказала, что это польская школа. Что дети должны учиться и не могут заниматься физическим трудом. Что хозяин должен быть человеком, а не только немцем».

Вечером ее арестовали и после короткого бурного допроса доставили в форт, в тюрьму и заперли в подвале, набитом молчаливыми, как камни, людьми. Она протиснулась в угол и улеглась, уткнувшись подбородком в колени. Есть

не давали ни в тот день, ни на следующий. Ночью их погрузили в машину и вывезли в лес. Там им было приказано взять лопаты и копать ров. Учительница работала спокойно и умело, выбрасывая глину на край ямы полными лопатами. Потом лопаты у них отобрали и приказали лечь ничком на дно ямы. Потом их расстреляли, ров засыпали, а землю старательно и крепко утрамбовали. Ordnung muss sein.

ЗАТРАВЛЕННЫЕ ЗВЕРЯТА

Несколько страничек, вырванных из книги, листок из тетради со сделанным уроком, — все это лежит на донышке плетеной корзинки, наполненной овощами. Двери на втором этаже не заперты. Она снимает башмаки внизу и тихонько, на цыпочках, чтобы не привлечь внимания соседей и не запачкать носков, взбегает по каменным ступенькам на второй этаж. В комнате, заставленной орехового дерева окованным бронзой комодом, старым мещанским массивным, покрытым скатертью столом, на котором стоят фотографии, раковины и цветы, уже сидит, подобрав под себя ноги, другой ребенок и, отведя рукой занавеску, с любопытством поглядывает на улицу. Внизу на мостовой и тротуаре обычное, каждодневное движение. Волоча за собой шлейф черного дыма, движутся колонны военных машин, обгоняют, сигналив, огромные мебельные фургоны, запряженные четверкой или шестеркой лошадей и марширующие военные отряды. Город является крупным железнодорожным узлом. Через него беспрерывно идут большие воинские эшелоны.

Девочка опускает занавеску, она закрывает окно, и в комнате становится немного темнее. Девочка с корзинкой надевает на ноги ботинки и из-под пучков лука вытаскивает разрозненные, помятые и слегка запачканные странички. Они разговаривают шепотом, держа странички на коленях.

— Ты выучила сегодня урок?

— Нет. Надо было помочь по дому. Мама в деревню торговать поехала и не вернулась.

— Это плохо, надо было выучить. Учительница будет сердиться.

Девочка кладет корзинку под стол и поджимает ноги.

— Знаешь десятую заповедь?

— Знаю.

— А четвертую?

— Чти отца своего...

— А пятую?

— Не убий. Эти немцы не знают заповедей, или просто плохие люди. Почему они убивают?

— Глупая ты, не знаешь почему. Потому что им так нравится.

— Мама не вернулась из деревни. Только бы немцы ее не убили.

— Рядом с нами недавно расстреляли евреев. Всю ночь ездили и кричали. Папа так испугался, что убежал в хлев.

Дверь тихонько скрипнула. На улице уже сумерки. В комнате почти совсем темно. На лице учительницы лежат глубокие тени и под глазами синие круги.

Она только что вернулась с работы при паровозах. Сняла в кухне пропитанный маслом комбинезон и умылась в тазу. Она еще не ужинала, на это будет время после полицейского ча-

са. Заперла дверь на ключ и вошла в комнату. Эти две задиристые наивные девчонки — вся ее школа. Днем они посещают немецкую школу, а вечерами их давняя учительница из польской школы экзаменует своих учениц.

— Сколько главных грехов?

— Шесть, — отвечает девочка с корзинкой.

— Стыдись, — говорит ей та, чей отец прятался в хлеву, — главных грехов семь. Спесь, жадность, зависть...

— Скажите, пожалуйста, а какой грех самый большой, ну самый, самый большой?

— Думаю, дитя мое, что спесь.

— А немцы спесивые или жадные?

— Думаю, прежде всего, они завистливы, — отвечает мойщица паровозов.

— А когда мы кончим катехизис, что учить будем?

— Если вы будете учиться так же небрежно, как до сих пор, мы никогда не кончим катехизис.

— Но все-таки когда кончим?

— Мы будем учить польский язык, географию, арифметику. А теперь помолчите, я расскажу вам, почему нельзя убивать.

— А что учат мальчики с учителем, который живет на четвертом этаже?

— Даже если я и скажу, вы все равно не поймете.

— А учитель гимназии из Быдгоща придет?

— Ну, девочки мои, откуда мне знать?

— Простите, пожалуйста, но мой брат сказал, что этот учитель и вы... — говорит девочка с корзинкой. — Мой брат ходит в группу этого учителя.

— Ну, хватит, замолчи, — буркнула девочка с поджатыми под себя ногами.

— Молчу, молчу, — ответила другая.

В конце коридора на кухне хлопочет сестра учительницы, Марта. Она заперла дверь на ключ, тревожно поглядывает по временам в окно и прислушивается к шагам на лестнице. Когда уйдут эти две разболтавшиеся девчонки, придут другие, вежливые и строптивые, а потом сестра потащится на другой конец города на урок математики. Получала она полторы марки за час. Дети в своих сочинениях пишут, что на эти деньги ничего, кроме газет, нельзя было купить, потому что товары продавались только по карточкам. «Но деньги ничего не значили в сравнении с опасностью, — пишет девочка, мой молодой информатор. — Раз дело чуть не дошло до катастрофы».

Сестра учительницы, Марта, мыла на кухне посуду. В тазу бренчали фаянсовые тарелки. В кране шумела вода. Сквозь этот шум прорвался рокот мотора и стих. Марта выглянула в окно, опершись на подоконник мокрыми руками. У ворот, с визгом затормозив, остановилась машина. Из нее выскочили несколько штатских и кинулись к подъезду. Два солдата сошли с прицепа мотоцикла и стали у дверей. Марта выбежала из кухни, чтобы предупредить сестру и детей. Но на лестнице уже грохотали шаги, дверь сотряслась от ударов кулаком. Марта сняла цепочку и отомкнула замок. Руки ее дрожали, как при большой усталости. Они с шумом вошли в коридор, огляделись.

— Здесь живет учитель? — спросил один в плаще реглан. Шея у него была замотана шелко-

вым в клетку шарфом. Волосы были цвета платины, а лицо розовое, как у ребенка.

— Здесь живет польский учитель?

— Нет, — возразила Марта, — здесь живем только мы с сестрой, она работает на железной дороге, моет паровозы.

— Яблонский, учитель гимназии? — вновь спросил блондин, заглядывая в листок. Правую руку он держал в кармане. Остальные стояли и смотрели на Марту.

— Тот поляк живет на четвертом этаже, — сказал дворник, высовываясь из-за спин гестаповцев.

Только теперь Марта увидела его. И, пораженная, застыла на месте. Там, на четвертом этаже, тоже шли уроки с группой гимназистов. Сегодня туда приехал и историк из быдгощской гимназии. У них, наверное, были новые книжки, присланные польскими школьными властями из Варшавы. Не зря же там ночевали хлопцы из «Серых шеренг».

— Ах так, на четвертом, прекрасно, — пробурчал тот, в плаще реглан и, повернувшись к двери, любезно добавил: — Прошу прощения. Herraus!¹ — крикнул он своим.

Они вышли, стуча сапогами. Марта закрыла за ними дверь, заперла на ключ, заложила на цепочку. Оперлась о стенку и стиснула на груди руки. Должно быть, она была очень бледна.

Все это время они сидели не двигаясь, как мертвые. Лицо учительницы стало пепельно-серым. Она смотрела на девочек. Машинально мяла в руках страничку из катехизиса. Наконец она справилась с дрожью в руках, и, когда

¹ Вперед! (нем.)

Марта открыла дверь, на лестнице прогрохотали тяжелые сапоги жандармов и послышались раздирающие душу всхлипывания мальчишек, она тихо сказала:

— Самая важная заповедь, девочки, пятая: не убий!

— Ах, Стефа, какой в этом смысл! — возмутилась Марта, — ведь это стоит столько крови. Ведь это настоящее безумие! И во всей стране такое происходит! Может быть, мы ради собственных иллюзий подвергаем детей опасности? Зачем все это? Зачем?

Учительница подняла на сестру свои усталые, обведенные темными кругами глаза. Встала из-за стола, отложила страничку, вырванную из катехизиса, и подошла к окну. Девочки встали с дивана и прижались к ней. Она крепко обняла их. По улице ехали военные машины и брели редкие прохожие. Блондин в клетчатом шарфе переходил на другую сторону улицы. Жандармы грузили в машину детей, учителя и хозяйку квартиры. У учителя были связаны руки. Он был без шляпы, с развевающимися волосами. Его, наверное, били. Выглядел он моложе, чем обычно. Дети сидели в машине испуганные, сжавшись, как замерзшие куропатки.

— Как это зачем? — Обернулась учительница к сестре. — Не понимаешь? Чтобы мир был лучше, — добавила она, помолчав минуту.

Я просмотрел сотни сочинений и воспоминаний детей из этого города в поисках дальнейшей истории учительницы, чтобы узнать судьбу тех, кого увезли тогда в машине. Кто-то из уроженцев тех мест сказал мне, что учитель и его ученики пропали бесследно.

— Может, их расстреляли в гестапо, может, они умерли в лагере, может, их убили где-нибудь в дороге. Разве вы не знаете, что это было обычным делом? Кто там переписывал все фамилии? В конце концов, какая разница — шесть миллионов или семь...

В нескольких сочинениях говорилось об учительнице. Осенью ее арестовали и вывезли в лагерь в Равенсбрюк. За несколько дней до конца войны ее, как больную туберкулезом, переправили в Швецию. Чуть-чуть подлечившись, она вернулась домой. И разумеется, по-прежнему учителемствует.

ЭКЗАМЕН НА АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

Всю зиму я занимался в маленькой пристройке, которую оставила нам фабрика среди развалин дома, разрушенного во время первой битвы за Варшаву.

Пристройка была узкая, низкая и сырая, в большое окно, которое открывалось в сторону поросшего кустарником пустыря, где когда-то стояли гаражи, вечерами лилось сияние луны и светили огни с моста. Занимался я поздно вечером. Пламя маленького светильника, переделанного из чернильницы (надо было экономить керосин), колебалось от моего дыхания. И тогда огромные тени моей головы безмолвно, как в кино, перемещались по стене. На сбитом из досок топчане тяжелым сном спал отец, работавший почти по двенадцать часов в сутки, спала мать и чистокровный доберман-пинчер, неизвестно откуда приблудившийся к нам во время осады. Громадный добродушный пес крутился око-

ло моих родителей, — когда мы, после того, как сгорел наш дом, приютились на пустой площади под навесом из толя, спасавшем нас от дождя, — гонялся за воронами, лаял на чужих и так при нас и остался. В ту зиму Анджей работал рикшей. Развозил товары и людей на трехколесном велосипеде с тележкой. Как в Японии, при помощи ног. Анджей — высокий, стройный, обаятельный юноша, вместе со мной окончил школу. Я зачитывался Платоном и польскими философами эпохи романтизма, его притягивали Ибсен, Пшибышевский, духовный вождь Молодой Польши, и Каспрович, видный поэт того времени. Анджей сам писал стихи, еще в школе. А теперь, в горячие дни оккупации, он пишет дневник. Аркадий был живописцем. Блестяще разбирался в математике. Во время наших философских диспутов он цитировал неизвестных нам авторов, называл течения, о которых мы не имели ни малейшего понятия. Он был блондин с острым взглядом художника, зарабатывал на жизнь тем, что рисовал карикатуры на прохожих. Нарисовал их свыше десяти тысяч.

Он ушел от богатого отца, известного варшавского портного, жил один, учился в художественной академии, одновременно сдавал экзамены на аттестат зрелости и пил.

Юлек был воспитанником иезуитов. Он упорно корпел над трудами Фомы Аквинского, над греками и немецкой философией. Зарабатывал тем, что торговал валютой.

Всех их я потерял из виду.

Но до того как нас разбросала судьба, до того как я отправился в Освенцим, Анджей погиб в уличной расправе, под чужим, впрочем, именем, а Аркадия погребли развалины варшав-

ской баррикады, — той зимой, первой военной зимой, когда на Западе, на линии Мажино происходили невинные стычки патрулей, а английские самолеты сбрасывали над Германией пачки листовок, старательно при этом их развязывая, чтобы (как мы шутили), упаси боже, не убить немца, — у нас, в темной, как могила, Варшаве слышались лающие залпы карательных отрядов, а мы, в домах с заколоченными окнами, кончали среднюю школу и готовились к экзаменам на аттестат зрелости, хотя и знали, что война будет длиться долгие годы.

Учились мы на частных квартирах, холодных и тесных. Они служили нам и классами и химическими лабораториями. Впрочем, были и богатые дома. Мы ходили там по пушистым коврам, разглядывали картины прославленных мастеров, кончиками пальцев касались книг с позолоченными корешками, а после занятий, — после урока математики, лекции по литературе, физических опытов или чтения религиозной книги (ибо у нас была и религия, преподаваемая почтенным ксендзом) — завсегдатаи усаживались играть в бридж и порой проигрывали в карты деньги, заработанные на черной бирже. В гостиной сгущался папиросный дым, клубился у окон и стлался по потолку.

Зима, хотя и тяжелая, темная, прошла незаметно. Правда, Анджей перенес опасное заболевание легких и был вынужден бросить свою рикшу, правда, Аркадий не хотел идти в бюро к немцам, чтобы купить себе удостоверение художника, и полиция преследовала его на улицах, однако достижения наши были значительными. У Анджея в портфеле лежало несколько хороших стихотворений, у меня на сбитой из досок

этажерке стояло немного книжек, купленных на деньги, которые я заработал от продажи дров, Аркадий снял наконец комнату и уже не ночевал у приятелей. От той кошмарной, гнилой зимы осталось еще воспоминание о расправе в Вавре, когда за пьяного немецкого солдата, заколотого в драке своим собственным товарищем по гестапо, были вытащены из квартир и расстреляны на занесенном снегом пустыре двести мужчин. Уже заполнялись камеры тюрьмы Павяк, уже прославилась Аллея Шука, мы уже держали в руках первые номера конспиративных газет и сами разносили их.

Весной, когда немецкие войска ударили на Данию и Норвегию, а потом сразу же, как нож в тело, врезались во Францию, в Варшаве начались первые облавы. Огромные немецкие фургоны, крытые брезентом грузовики стаями въезжали в город. Жандармы и гестаповцы окружали улицу, загоняли всех прохожих в машины и везли в Германию на работы, а обычно ближе — в Освенцим, Майданек, Ораниенбург, — пресловутые концентрационные лагеря. Сколько людей выжило из двухтысячного эшелона, который в августе 1940 года прибыл в Освенцим? Может быть, пятеро. Сколько выжило из семнадцати тысяч людей, вывезенных с варшавских улиц в январе 1943 года? Двести? Триста? Не больше!

Именно в период этих первых немецких облав, которые казались абсурдом в столице большого государства, внезапно превращенной в джунгли, в период, когда Гитлер фотографировался на Эйфелевой башне, а огромные эшелоны польских узников направлялись в Ораниенбург, именно тогда мы четверо: Анджей, Арка-

дий, Юлек и я, — мы четверо сдавали на аттестат зрелости.

И не только мы. Не отстала ни одна варшавская гимназия. Всюду, — в гимназии имени Батория, имени Чацкого, Лелевеля, Мицкевича, Сташица, Владислава IV, в женских гимназиях — имени Плятер, Королевы Ядвиги, Конопницкой, Ожешко, во всех частных гимназиях, начиная с лучших из них — таких, как Св. Войцеха и Замойского, — всюду шли экзамены на аттестат зрелости, придиричivé, обстоятельные, такие, как каждый год, как всегда, с тех пор как существует современная польская школа.

Тысячи молодых людей сдавали экзамены. Тысячи кончали гимназии и шли в лицеи. Когда Европа лежала в развалинах, в Великой Польше, в Силезии, на Поморье и в сердце Польши — в Варшаве дети и молодежь спасали веру в Европу и веру в бинóm Ньютона, веру в интегральное исчисление и веру в свободу народов. Когда Европа проигрывала свою битву за Свободу, польская молодежь, — а также, я думаю, чешская и норвежская, — выигрывала свою битву за Знания. Помню, как мы втроем стояли на остановке около многоэтажного здания Национального банка в Аллеях Ерозолимских. По этой столичной артерии, обладающей самой большой пропускной способностью, непрерывным потоком шли немецкие войска, на восток и на запад двигался транспорт, танки, бронемшины, набитые товаром грузовики. А несколькими улицами далее, на площади Трех Крестов, где сегодня остались лишь развалины красивого храма св. Александра, хватали людей. Жандармы блокировали все выходы с площади. С ревом мото-

ров набитые людьми фургоны еле тащились к Павяку.

Это было нелепое зрелище. Не знаю почему, оно вызывало смех. Бывает, что у человека заторможена реакция, и когда перед ним разыгрывается страшная трагедия, разрядкой ему служит смех. Все мы трое были в отличном настроении оттого, что мы живем на свете, что находимся в самом центре облавы, что должны ехать на другой берег Вислы, на Торговую улицу сдавать экзамен. И что мы поедem туда, даже если земля разверзнется.

И вот тут к нам подошла старая седая женщина. Она обратила к нам свое покрытое морщинами лицо. В ее глазах явно отражалось беспокойство.

— В городе, на площади Трех Крестов, облава, — сказала она тихо. Все тогда предостерегали друг друга об облавах, как некогда об эпидемиях. — К вам никто не пристаet?

— Кроме вас, никто, — фыркнул Анджей.

Мы вскочили в трамвай и поехали на Прагу. За мостом шла аллея, с одной стороны граничившая с полем, с другой — с районом особняков. А там, где кончалась аллея, стояла колонна грузовиков и ждала трамваев, словно тигр, подстерегающий на тропе антилоп. Мы на ходу высыпали из трамвая, как груши, и прошмыгнули наискосок полем, засаженным овощами. Земля пахла по-весеннему. Цвел коровяк и жужжали пчелы. А в городе за рекой, как в глубоких джунглях, шла облава на людей.

Когда мы наконец прорвались к дому на Торговой, где нас ждали директор, председатель экзаменационной комиссии, классный руководи-

тель и преподаватель химии, лавина облавы подкатилась уже под самые наши окна.

Директор хранил молчание. Внимательно слушал ответы. Классный руководитель, высокий, добродушный мужчина, глядел на нас с сочувствием и подбадривал взглядом. Мы никогда не слыли корифеями в химии, — ни Анджей, поэт и критик, ни Аркадий, художник и философ, ни я. Наши неуверенные ответы вызывали хитрую усмешку у экзаменатора, которого мы в школе из-за его седой бороды называли Козьей Бородкой. Вообще-то он был весьма уважаемым ученым.

Кое-как сдали. И тогда Козья Бородка произнес:

— Ну, господа (это «господа» подчеркивало нашу зрелость в области химии), — не будьте глупцами и не попадайтесь в облаву.

Он показал рукой на окно, за которым бурлила толпа, окруженная полицейскими, и добавил, подняв вверх пробирку с какой-то красной жидкостью, сложный состав которой Анджей тщетно пытался вывести на доске.

— Если вы не знаете, во что верить, верьте в химию. Верьте в науку. Эта вера вернет вас к человеку.

Одного только человека не хватало тогда среди нас: светловолосого Юлека, питомца отцов иезуитов. Он был схвачен между Новым Святым и Аллеями, и след его пропал. Осенью, когда нас приняли в подпольный университет, до нас дошли слухи, что Юлека вывезли в Ораниенбург, недоброй памяти лагерь под Берлином, и что он еще жив.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ

До дома профессора надо было идти тихими боковыми улочками, заасфальтированными и обсаженными молодыми каштанами. Осеннее, с металлическим блеском заходящее солнце просвечивало сквозь их бледно-зеленые чахлые листья. Из центра сюда долетали приглушенные звонки трамваев и монотонный шум машин. Над гонтовыми крышами особняков иногда пролетали, хлопая крыльями, голуби, а по тротуарам время от времени, стуча сапогами, проходил патруль немецких жандармов.

Профессор принимал нас в халате и мягких домашних туфлях. Он сидел за письменным столом, облокотившись на подлокотники кресла, куря одну папиросу за другой, и молча ждал, когда мы все будем в сборе. Мягкий зеленоватый свет настольной лампы падал на позолоченные пуговицы халата и тонкую жилистую руку профессора, но не достигал его лица. Только когда профессор затягивался, вспыхивал красный огонек папиросы и освещал черные, гладко зачесанные блестящие волосы, смуглое энергичное лицо и крепко сжатые губы, которые в красном свете казались почти синими.

Профессор никогда не читал лекций в городе. Во время самых ожесточенных уличных облав он всегда проводил занятия у себя, сначала в прекрасном особняке, полном цветов, картин и книг в изящных переплетах, громоздившихся на книжных полках от пола до потолка, а затем в скромной квартирке профессорского дома на Старом Мясте. Другие преподаватели пользовались испытанным, почти классическим способом: проводили семинары и читали универ-

ситетский курс на квартирах у своих студентов поочередно.

Сначала нас было восемь — шесть девушек и два парня. Мы были первыми студентами подпольного варшавского университета. Сейчас это звучит очень красиво, но в период воздушных боев за Англию и одновременно за господство фашизма над миром заниматься вопросами истории польской литературы, изучать структуру языка и знакомиться с такой ненужной в борьбе вещью, как библиография, казалось делом неразумным.

Поздней осенью, когда исход сражения за Англию был решен в пользу союзников, профессор прочитал нам по карточке темы для самостоятельной работы, касающиеся, разумеется, шедевра нашей поэзии — «Пана Тадеуша», — требовалось овладеть обширной литературой по этому предмету. Профессор предоставил в наше распоряжение свою роскошную библиотеку, приносил нам книги из города, одалживал их у своих знакомых и выкрадывал из закрытых немцами библиотек, руководил нашим чтением и интересовался нашим бытом.

В очень просторном, но лишенном всякой мебели и совершенно нетопленном помещении на шестом этаже мы изучали описательную фонетику. Преподаватель приезжал на велосипеде из какого-то варшавского пригорода. На узкой лестнице было темно как в подzemелье, поэтому он взваливал себе на плечо велосипед и, крутя одной рукой переднее колесо, динамиком освещал себе дорогу. К счастью, он был крепкого сложения, но порой сильно задыхался. Промерзнув в квартире во время двухчасовой лекции, он поспешно сносил велосипед вниз и возвращался

к себе в пригород, изо всех сил нажимая на педали, чтобы успеть до полицейского часа.

В кабинете Корбута на Краковском Предместье, некогда полным книг, а сегодня зияющим провалами сгоревших стен, проходили лекции по книговедению. Преподаватель был страшно молод и, когда говорил, краснел как девушка. Он вытаскивал для нас средневековые инкунабулы, оправленные в обшитые кожей доски, объяснял современную технику изготовления бумаги и процесс создания книги.

Семинары проходили на первом этаже, окно выходило во двор, и с улицы сквозь толстые стены старого дворца до нас не долетало ни единого звука. Поэтому в зале, полном старых книг и пропитанном специфическим библиотечным запахом, можно было отдохнуть, позабыв об улице, жандармах и сыщиках, а также о доме, превращенном в склад различных предметов, весьма необходимых для нелегальной жизни.

В складе строительных материалов на Праге, в помещении, предназначенном для ночного сторожа и одновременно кладовщика, читался университетский курс философии. Окно пристройки выходило на площадь, где около ямы с известью и кучи песка, глины и кирпичей стояла у сетки, отделяющей площадь от улицы, большая пароконная подвода и маленькая ручная тележка. По тротуару прохаживался жандарм, охраняя соседнее здание, где содержались люди, которых отправляли на работы в Пруссию. По этой причине окно изнутри завешивали тростниковой циновкой. Хотя на улице еще было светло, в комнате зажигали свет, профессор усаживался на табуретке против нас, теснившихся на деревянном топчане (под топчаном лежали:

множительный аппарат, радио, несколько стоп копировальной бумаги), заслонял глаза рукой и неторопливо, отчетливо произнося слова, начинал двухчасовую лекцию. Мы искренне восхищались им, потому что говорил он сжато, удивительно точно и ясно, — а еще потому что выдерживал двухчасовое сиденье на твердом канцелярском табурете. Правда, другого табурета не было во всей квартире.

До сих пор помню вкус дискуссий в первый наш университетский год. Громадина Анджей, тот, что работал рикшей, во время споров яростно тряс буйной шевелюрой. В зеленом свете лампы, на фоне бронзовых корешков книг он подходил на огромного дикого кота, который злился. Когда наступал вечер и за голубым оконным стеклом бесшумно опускались вниз большие мягкие хлопья снега, мы до хрипоты спорили о каких-то частностях в структуре «Пана Тадеуша», взаимопроникновении лирической стихии и эпики в «Бенёвском» Словацкого, о роли описаний природы в литературном произведении, выступая с Анджеем единым фронтом против девушек и безжалостно громя их рефераты. Профессор скручивал одну папиросу за другой и молча улыбался, явно забавляясь горячностью спора, а потом поправлял нас, учил анализировать и выражать свои мысли научно.

Итак, сначала нас было только восемь. Но через два года в Варшаве уже полным ходом работали два университета: варшавский и бывший познанский организованный преподавателями, бежавшими из Познани; функционировал медицинский факультет, политехнический институт, читались лекции в Академии изящных искусств, в Институте театрального искусства.

Кроме этих как бы официальных учебных заведений, стихийно возникали научные и художественные кружки, объединявшиеся вокруг писателей, литературных критиков и художников, которые делились с молодежью своими знаниями.

История польской культуры с гордостью вспомнит о том, что никто из преподавателей не колебался — исполнять ли ему свои обязанности; читали лекции все, работая часто сверх своих сил. Полным курсом преподавались философия и логика, архитектура и право; тайком читался курс лекций по социологии, теологии, с запалом спорили об учении Фомы Аквинского и о коммунизме. Мировоззренческими дискуссиями, которые велись тогда в небольшом кругу слушателей, теперь охвачена вся Европа.

Я помню окончание первого учебного года. В чудесной вилле под Варшавой, в саду, полном цветов, малины и вишен, отгороженном от улицы живой изгородью, мы прохаживались по дорожкам и, срывая целыми пригоршнями ягоды, обсуждали планы на будущее, словно были уверены, что спокойно доедем до дома.

Мы устроили настоящее представление. Нарисовали на картоне сад, полный цветов. Каждый цветок обозначал одного из нас. Профессор был розой — без цветов, одни шипы. Одна из девушек была лилией, неустанно молящейся богу. А бог на небе вздыхал: «Вот ведь, все болтает, болтает, болтает...» Профессор, который читал нам историю средневековой литературы и знакомил с тайнами книг, был фиалкой, спрятавшейся среди огромных подсолнухов. Когда был зачитан соответствующий стихотворный текст с похвалами его скромности и все, сме-

ясь, хлопали в ладоши, он встал, зарделся как красная девица, извлек из-под полы сюртука книжку и застенчиво произнес:

— Поскольку мы заканчиваем учебный год, я позволю себе прочитать из мемуаров Карпинского о том, как он сдавал экзамен на аттестат зрелости в Варшаве без малого полтора века тому назад.

Карпинский — один из симпатичнейших поэтов эпохи классицизма. Он писал чувствительные идиллии и буколики. По обычаям того времени, аттестат зрелости он получал в костеле. Съехалась шляхта, близкие и дальние родственники, в костеле запестрело от кунтушей — многие из его товарищей в тот же день получали аттестаты. «Когда наступила очередь нашего идиллического поэта, — читал профессор, — из рядов, предназначенных для почетных гостей, какой-то, видать, подвыпивший шляхтич крикнул:

— Veto, не разрешаю!

Это прозвучало как обвинение в адрес абитуриента, он, мол, ничего не знает. Предусмотрительный поэт выхватил из-за пояса обушок и огрел им пьянчугу по лбу. Шляхтич молчком свалился под лавку. И торжество без помех достигло конца».

Улыбаясь, профессор закрыл книгу и, усевшись в углу дивана, выпил стакан воды, поднесенный услужливыми студентками.

Многие из тех, кто осенью 1940 года поступил в университет, теперь уже ученые, ассистенты, врачи, ответственные работники, являя собой лучшее свидетельство того, что борьба, которую тогда вели за знание, не была напрасной.

У меня есть приятель, который поступил в медицинский институт, был преследуем гестапо, арестован как еврей, бежал, скрывался, окончил институт, принимал участие в ожесточенных боях во время Варшавского восстания, а теперь он ассистент в самом старом университете Польши. Собирается ехать в Париж пополнять свои научные знания. Ему всего 25 лет. Странная и прекрасная судьба у моей приятельницы, ассистентки в одном из университетов на Западе, которая вместе с нами ходила на лекции в 1941 году. Ее жизнь тоже полна превратностей. Мы искренне восхищались ее способностями к наукам. Однажды она не пришла на занятия. Явилась через две недели бледнее обычного. Мы с шумом обступили ее. Думали, ее задержало гестапо или участие в какой-то акции. Она усмехнулась.

— Приходите ко мне, я покажу вам мою дочку. Прелестная девчушка.

Ребенок был чудом. Глаза — сколько живу, не видел таких глаз. Звали девочку, насколько помню, Иоанна. Мы предлагали Бизерту. Это было во время оккупации Туниса итало-германскими войсками. Тогда мы не знали, что отец девочки — командир роты в знаменитом батальоне «Зоська». Не знали, что мать ее ведает распространением известного подпольного еженедельника, с тиражом в десятки тысяч экземпляров. Ее мать была хорошей, очень хорошей полонисткой.

«...Теперь, — пишет она мне, — после того, как я потеряла ребенка и мужа... — мне кажется, что матерью и женой была не я, а кто-то совсем другой, что теперь я начинаю жить наново, словно бы пробудившись от глубокого сна.

Докторская диссертация? Конечно напишу! Лекции? Буду читать! Но знаешь...»

А ей только двадцать четыре года.

Помню большого знатока римской литературы и приверженца философии Фомы Аквинского, ксендза Дионисия, доминиканца из монастыря на Служевце. Он краснел всякий раз, когда девушки с нашего курса строили ему глазки. Плавно, неторопливо, читал он нам лекцию о латинских стихах Кохановского, нараспев декламировал поэтические строки. Я его терпеть не мог и вместе с ним его философию. Как-то раз после занятий, проходивших у меня в маленьком домике около площади со строительными материалами, где я служил ночным сторожем, я бурно набросился на категории аристотелевой философии, а потом перескочил на Summè — онтологию средневекового мыслителя. Доминиканец улыбался, не противоречил мне, но и не старался сделать вид, что убежден. Через неделю мы по темной улице возвращались домой после лекции о Молодой Польше. Доминиканец остановился на мостовой, сунул руку за пазуху, изъел оттуда книжку и трогательным движением подал ее мне.

— Может быть, это вам пригодится, — мягко сказал он.

Это было исследование по томизму. С той поры он каждую неделю приносил мне книги и каждый раз, когда я пробовал протестовать, говорил с улыбкой:

— У нас такая большая библиотека... Возьмите, пригодится.

Я очень полюбил ксендза Дионисия. Я думал, он далек от жизни, но ошибался. Как-то он прислал мне в концлагерь грушевого джема

пополам со спиртом. У него было тонкое чувство юмора. Позже, как некогда миссионеры в Центральную Африку, он выехал в глубь Германии к польским крестьянам и рабочим, силой вывезенным туда на работы. И никогда уже не вернулся в Польшу.

Как это обычно бывает в войну, одни выжили и полны воспоминаний, иные пропали без вести, а иные погибли во время операций против немцев или были расстреляны в уличных карательных расправах.

ПОРТРЕТ ДРУГА

Среди развалин на улице Новый Свят в Варшаве, с юга замкнутой руинами костела св. Александра, а с севера — руинами костела св. Креста и восстановленным из обломков памятником Копернику, который держит в простреленной руке вдребезги разбитый пулями земной шар, этот трагический кусок порыжевшей стены ничем особенным не выделяется. Под черной табличкой лежат на плитах тротуара увядшие цветы, сухие, шелестящие под ногами прохожих листья и грязноватые помятые ленты от венков. Люди проходят мимо этого места, не задерживая на нем своего внимания. Некоторые машинально приподнимают шляпы или шапки. Набожные женщины мимоходом крестятся и что-то шепчут, но слов не слышно. Около этой стены на первом этаже сожженного дома помещается книжный магазин большого книгоиздательства, в воротах расположилась неприглядная выставка картин (такими выставками Новый Свят славился перед войной), а по

другую сторону стены из нескольких досок и кирпичей сколотили и покрыли украденным где-то толем будку, в которой заправляют и продают вечные ручки с золотым пером.

Всякий раз, когда я прохожу мимо этого трагического места и слышу шелест листьев и лент под ногами людей, я думаю об Анджее. Он погиб здесь в уличной расправе. Один из сотен тысяч убитых у стен домов, на тротуарах обычной городской улицы. Он заслужил привилегию остаться безмянным.

Да простит он мне, если и я, по примеру многих его приятелей, нарушу эту безмянность. Другьям на минуту покажу его лицо, людям посторонним — нарисую облик человека моего поколения, которое созревало в трудные, горькие годы войны.

Я не был свидетелем его смерти и мое участие в его жизни было случайным и эпизодическим; я только знал, как его зовут, мы были приятелями, и я не любил его.

Когда он в рабочей блузе пилил деревья и корчевал пни, он писал о синих пильщиках, ибо блуза его была голубого цвета. Когда он жадно и ревниво следил со своего высокого этажа за спешившей к нему по тротуару девушкой, он писал стихи о девушке, которая летит по воздуху.

Я никогда не знал, что в нем напускное, от позы, а что настоящее, от живого человека. Густые темные волосы непокорной волной спадали ему на лоб. Когда он входил в азарт или издевался над противником, он внезапным движением руки откидывал их назад и язвительно

улыбался. Глаза его сверкали тогда ослепительным блеском. Считалось, что он хорош собой. Я не раз ссорился с нашими девушками из нелегального университета, доказывая, что обаяние Анджея — это обаяние шарлатана. Они смеялись и утверждали, что то же самое он говорит обо мне.

Именно с ним мы сдавали на аттестат зрелости. И это все. Потом наши пути разошлись. Я, после долгих колебаний и сомнений — есть ли смысл в борьбе и в жизни, сначала больше всего уверовал в смысл науки и поэзии, а не в пистолет и пропаганду; он же, бросив занятия в университете и магистерскую диссертацию, о которой мечтал и которая должна была потрясти основы литературной критики, а также потихоньку высмеяв преподавателей за спокойный, торжественный, почти бесстрастный тон их лекций, перешел к действию. Он предпочитал быть руками, думающими руками, а не головой, — по его мнению, праздною и ненужной. Он рвался в бой.

Его пленила идея польского фашизма. Что ж, в период, когда нация разбита и становится удобением для победителя, как пламя разгорается обычно мессианство, вера в исключительность народа, в его историческую миссию. Когда у нации нет ни клочка своей собственной земли, она всегда мечтает о границах, простирающихся до трех морей, вмещающих в себя земли других народов, и о подчинении себе этих народов.

Анджей вступил в Национальную конфедерацию, воинское подразделение Фаланги, студенческого союза польских националистов. Вступил и взялся за работу, тяжелую работу.

Вместе с приятелем, который погиб, возлагая венок к памятнику Коперника, он редактировал ежемесячный литературный журнал, первый нелегальный журнал в Варшаве, вызывающий, дерзкий, но заставляющий думать и спорить до хрипоты, до удара кулаком о стол. Художник для них — это организатор национального воображения, он обязан служить нации, объединять ее, формировать ее мировоззрение и восприятие. Когда-то мы высмеивали их мечты о национальной живописи, изображающей коней и тихие польские интерьеры, заполненные лихими усатыми шляхтичами.

Анджей ходил вечно голодный и невыспавшийся. У него не было порядочной обуви. Он носил башмаки на деревянной подошве. Костюм на нем был еще с гимназических времен, тесный, куцый, давно отслуживший свой век. Его штанины до лодыжек стали притчей во языцех. Он повсюду бросался в глаза. Кто раз его увидел, запоминал навсегда.

Он хотел идти за Буг, участвовать в первой диверсионной вылазке, организованной его партией. Друзья, согласовав это с партийными руководителями, не пустили его. И правильно сделали, так как вся экспедиция попала в руки немцам. С теми, кто остался, с людьми, прошедшими через всякого рода допросы и репрессии, я встречался в концлагере в Освенциме. Они были полны горечи, как каждый обманутый солдат.

Только раз мы схватились с Анджеем, у нас был с ним короткий, неприятный, но, вероятно, откровенный разговор. Как-то был он у меня на лекции по философии. Маленькая карбидная лампочка потрескивала на столе, освещая круг

лиц. Анджей слушал лекцию о методологии науки, а когда все разошлись, сказал мне:

— Неужели ты не чувствуешь смехотворности того, чем занимаешься? Ты так усердно записывал лекцию.

— Ну что ж, я хочу знать, — ответил я неуверенно.

Меня смущала агрессивность Анджея.

— Знать! Люди не могут дожидаться, когда ты будешь знать! Они умирают уже сегодня. Что ты сделал, чтобы они не умирали?

— Ничего не сделал, — с неохотой ответил я.

— Вот видишь! — победоносно воскликнул он и неожиданно добавил: — Даже если я ошибаюсь, то правильно ошибаюсь. Как солдат.

— Но не как художник, — пренебрежительно сказал я.

— Художник! Что ты знаешь об обязанностях художника! Одинокая келья для размышлений, срывание покровов! И будешь ждать своей очереди, усердно читая Апокалипсис. Ну, всего!

Анджей схватил узелок, который был при нем. Узелок развязался. Из него выпало скомканное рваненькое бельишко. Анджей сгреб его, помахал над головой грязными кальсонами.

— Всего! — повторил он, — и помни, поэт обязан быть солдатом. Если он не может защищаться стихом, пусть защищается собственным телом.

Вот таким — с развевающимися над головой кальсонами, смеющимся и патетичным вспоминал я его, когда, задыхаясь в набитом до отказа вагоне, ехал в Освенцим и когда там, в долгие зимние ночи выходил посмотреть на звезды и на тянущуюся через небо полосу дыма из крематория.

О его смерти я узнал из письма нашего общего приятеля, редактора нелегального литературного журнала «Дорога», который после Варшавского восстания больной туберкулезом, веся немногим больше сорока килограммов, пешком прошел из концлагеря на Эльбе до Варшавы.

В концлагере я не знал, как погиб Анджей. Может, думал я, он все-таки пошел за Буг, на другую диверсию, в которой поголовно был истреблен батальон Национальной конфедерации? Может, его схватили гестаповцы, когда он в нелегальной типографии набирал статью? Может, шел по улице и попал в уличную облаву?

Когда весной 1946 года мы с редактором «Дороги» шли улицей Новый Свят, он у того места, где возвышалась шероховатая стена, и рядом лежали увядшие, засохшие цветы и огарки давно сгоревших свеч, приподнял шляпу и сказал в ответ на мой удивленный, мимолетно брошенный туда взгляд:

— Здесь расстреляли Анджея. Сними шляпу.

И, когда мы миновали это место казни, одно из сотен подобных ему мест в столице, Сташек, рассеянно, словно думал о чем-то другом, сказал мне:

— Знаешь, когда тебя арестовали, Анджей выхлопотал в Делегатуре Лондонского правительства деньги тебе на посылки. Он был одним из первых, кто позаботился о тебе.

О себе он, к сожалению, не заботился. Кто раз его видел, запоминал на всю жизнь. Он ходил в башмаках на деревянной подошве, высокий, небритый, с ироничной усмешкой в глазах.

Он обедал в столовой немецкой фабрики, потому что в Варшаве не нашлось никого, кто захотел бы дать поесть этому человеку. Впрочем, может, он был слишком горд, чтобы брать там, где не было риска. За обедом к нему подошел немец, мастер, в сопровождении двух гестаповцев.

— Вы не работаете у нас на фабрике. Почему вы тут обедаете?

Проверили — не работал. Хуже того, документы у него были фальшивые. Настоящего своего имени не назвал. Дом, в котором он якобы жил, не существовал с сентября 1939 года. Этого было достаточно, репрессии в ту пору усиливались.

— Знаешь, эти парни, — продолжал редактор, когда мы миновали полуразрушенный костел св. Креста, с купола которого Христос, несущий свой крест, указывал прохожим дорогу, — эти парни необыкновенно мужали перед лицом смерти. Вот и Анджей. Он отрекся от косных националистических взглядов. Почувствовал в себе призвание поэта. Ведь он был создателем движения деятелей культуры, Союза свободных художников... Необыкновенный, удивительный парень!

Анджея увезли в Павяк. Он был в хорошем настроении:

— Кто знает, может быть, теперь, в тюремной камере, когда у меня будет немного времени, может быть, теперь я и напишу магистерскую диссертацию?

Не написал он ее. Когда приговоренных расстреливали, они выкрикивали антинемецкие лозунги, призывы к свободе. Во дворе Павяка с них в целях экономии снимали одежду, на го-

лые тела напяливали бумажные рубахи. Им делали уколы, чтобы они не вырывались из пут. Это выглядело бы неэстетично во время публичного расстрела.

И рот его, рот поэта, залили гипсом и убили его среди бела дня на главной артерии столицы, на глазах загнанных в подворотни прохожих.

Всякий раз, когда я прохожу мимо этой порыжелой разбитой стены, мне кажется, что я виноват — я и все мы — в том, что мы живем.

СОДЕРЖАНИЕ

Тадеуш Древновский. Предисловие. <i>Перевод Ю. Живо- вой</i>	5
--	---

ПРОЩАНИЕ С МАРИЕЙ

Прощание с Марией. <i>Перевод Е. Гессен</i>	24
* Мальчик с Библией. <i>Перевод В. Бурича</i>	63
У нас в Аушвице... <i>Перевод Е. Лысенко</i>	77
Люди шли и шли... <i>Перевод Н. Подольской</i>	128
День в Гармензе. <i>Перевод К. Старосельской</i>	145
Пожалуйте в газовую камеру. <i>Перевод Г. Лурье</i>	179
Смерть повстанца. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	205
Битва под Грюнвальдом. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	224
Родина. <i>Перевод В. Климовского</i>	279
* Январское наступление. <i>Перевод Е. Гессен</i>	292
Концерт в Герценбурге. <i>Перевод В. Климовского</i>	304

КАМЕННЫЙ МИР

Краткое предисловие. <i>Перевод К. Старосельской</i>	332
Каменный мир. <i>Перевод Г. Языковой</i>	333
Случай из собственной жизни. <i>Перевод Г. Языковой</i>	337

Смерть Шиллингера. <i>Перевод К. Старосельской</i>	340
Человек с коробкой. <i>Перевод К. Старосельской</i>	344
Ужин. <i>Перевод К. Старосельской</i>	348
Молчание. <i>Перевод К. Старосельской</i>	353
Встреча с ребенком. <i>Перевод К. Старосельской</i>	356
Конец войны. <i>Перевод К. Старосельской</i>	359
Independence Day. <i>Перевод К. Старосельской</i>	362
Путешествие в пульмане. <i>Перевод К. Старосельской</i>	366
Комната. <i>Перевод К. Старосельской</i>	368
Лето в городишке. <i>Перевод К. Старосельской</i>	369
Девушка из сгоревшего дома. <i>Перевод Г. Языковой</i>	371
Повышение. <i>Перевод К. Старосельской</i>	375
Жарким днем. <i>Перевод К. Старосельской</i>	377
Путевой дневник. <i>Перевод К. Старосельской</i>	378
Мещанский вечер. <i>Перевод К. Старосельской</i>	383
Встречи. <i>Перевод Г. Языковой</i>	386

ВОСПОМИНАНИЯ

Перевод О. Смирновой

От автора	390
Дорога через лес	391
Затравленные зверята	399
Экзамен на аттестат зрелости	405
Преподаватели и студенты	412
Портрет друга	420

Боровский Т.

Б83 Прощание с Марией; Рассказы / Пер. с пол. под ред. С. Тонконоговой; Сост. С. Ларина; Предисл. Т. Древновского; Ил. Б. Линке. — М.: Худож. лит., 1989. — 429 с.

ISBN 5-280-00664-5

Талантливый польский писатель Т. Боровский (1922—1951) — бывший узник фашистского концлагеря в Освенциме. Главная трагедия концлагерей, к которой привела преступная логика их создателей, — это, по убеждению писателя, выраженному им в рассказах, истребление всего человеческого в жертве, принуждение под страхом смерти к покорности, расчетливое натравливание человека на человека

Б 4703010100-164 **129-89**
028(01)-89

ББК 84.4П

Тадеуш Боровский

ПРОЩАНИЕ С МАРИЕЙ. РАССКАЗЫ.

Редактор *Е. Рубина*

Художественный редактор *Е. Ененко*

Технический редактор *Г. Такташова*

Корректоры *Г. Володина* и *Т. Медведева*

ИБ № 5400

Сдано в набор 15.07.88. Подписано в печать 08.02.89. Формат 70×100¹/₃₂. Бумага офс. № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,5+альбом=18,14. Усл. кр.-отт. 37,91. Уч.-изд. л. 17,11+альбом=17,65. Тираж 75 000 экз. Изд. № V—3092. Заказ 2361. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Калинин, пр. Ленина, 5.

В издательстве
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

готовятся к выпуску
в 1989—1990 годах

КНИГИ ПОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ:

Игорь Неверли. «СОПКА ГОЛУБОГО СНА». *Роман.*

Ежи Анджеевский. СОЧИНЕНИЯ В 2-х ТОМАХ.

Славомир Мрожек. «ТАНГО. ЭМИГРАНТЫ. РАССКАЗЫ И ДРА-
МЫ».

Бруно Шульц. «КОРИЧНЫЕ ЛАВКИ. САНАТОРИЙ ПОД КЛЕП-
СИДРОЙ». *Рассказы.*

Генрик Сенкевич. «КАМО ГРЯДЕШИ». *Роман.*

Генрик Сенкевич. «СЕМЬЯ ПОЛАНЕЦКИХ». *Роман.*

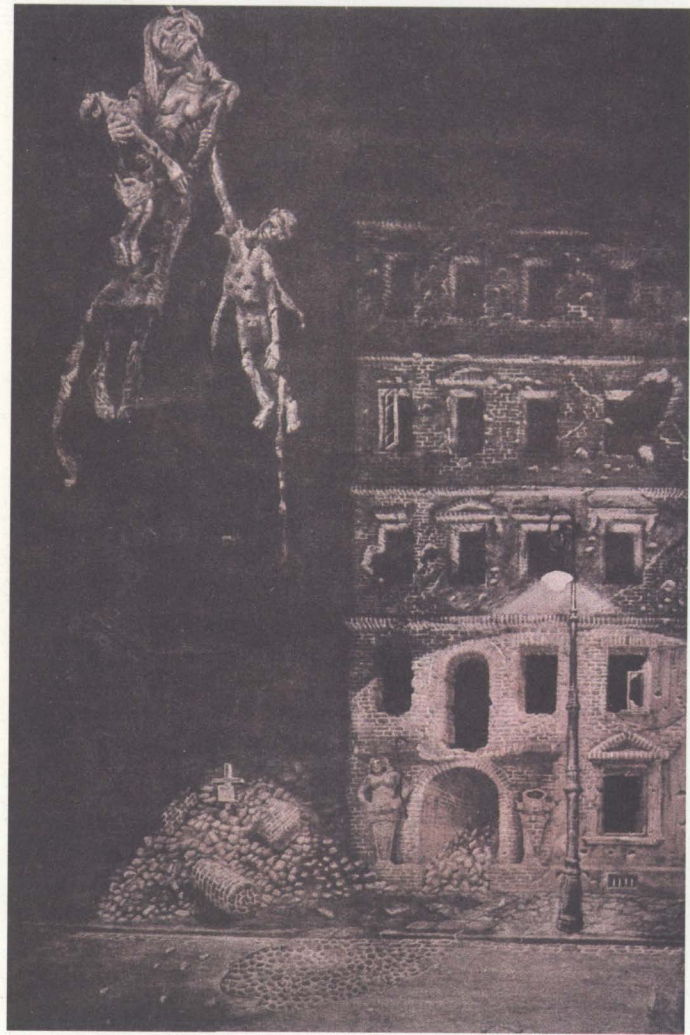
Генрик Сенкевич. «ПАН ВОЛОДЬЕВСКИЙ». *Роман.*

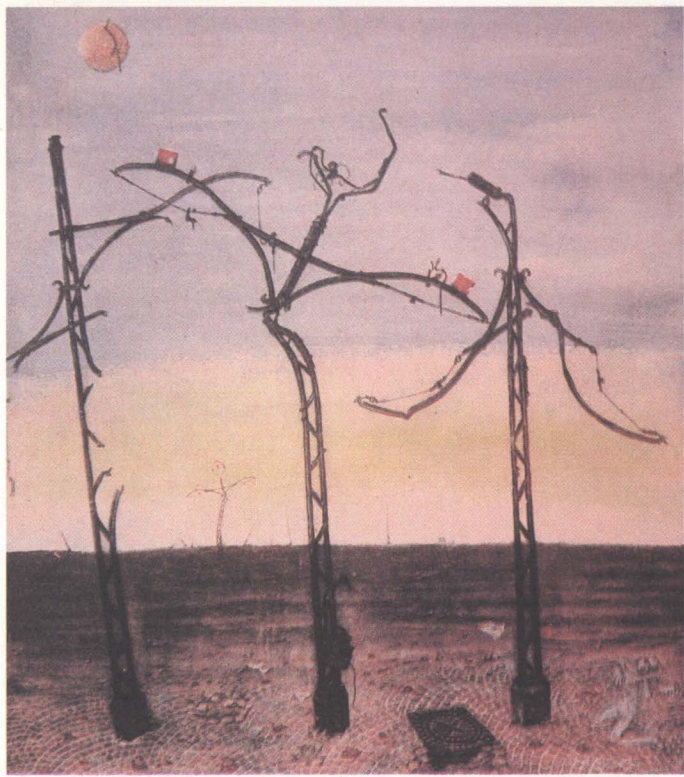


© 1917
1917-18















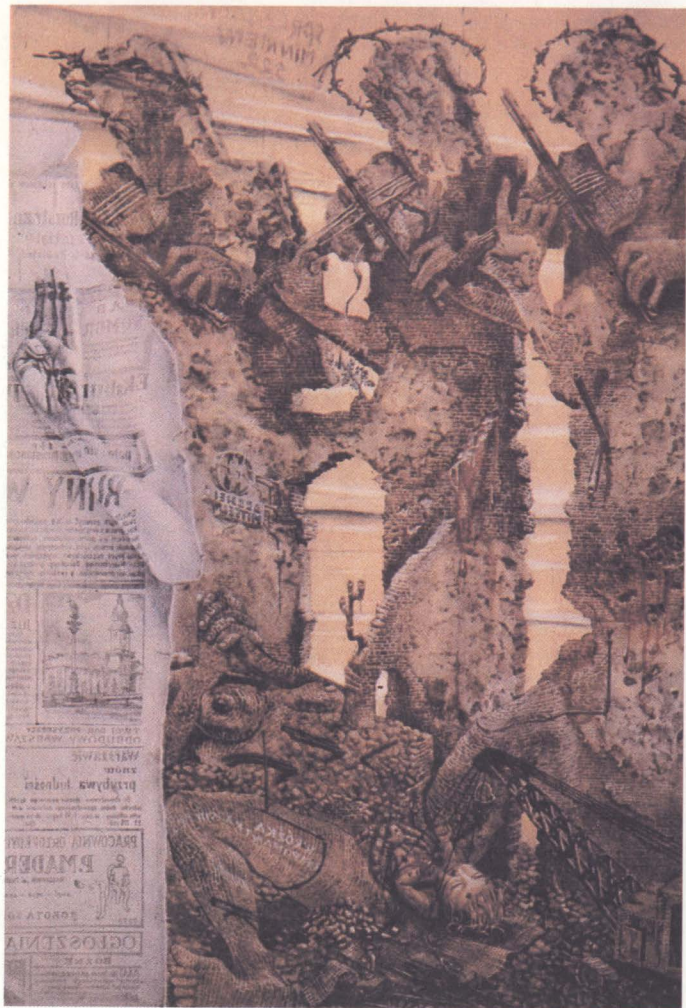


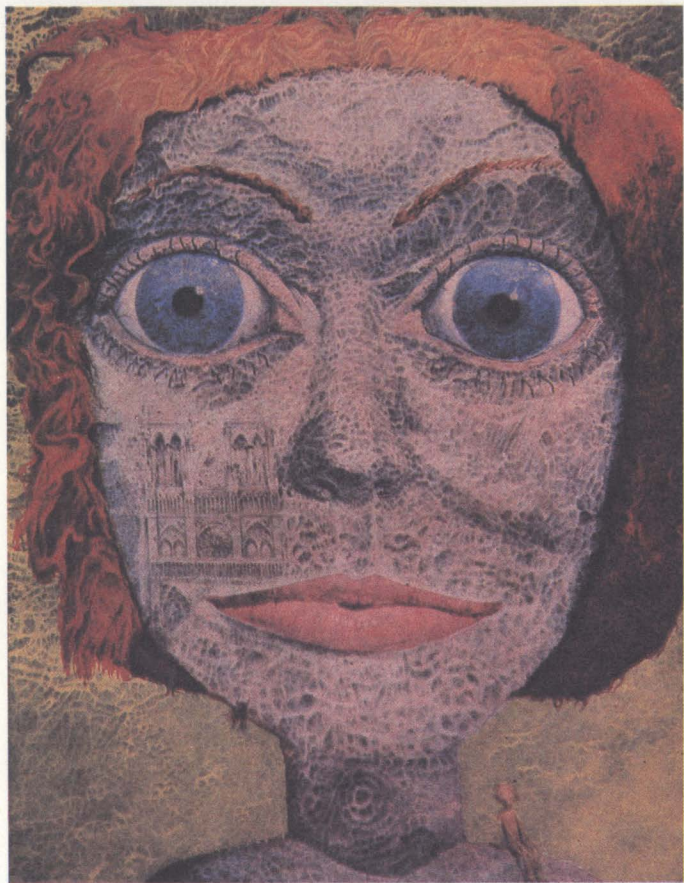


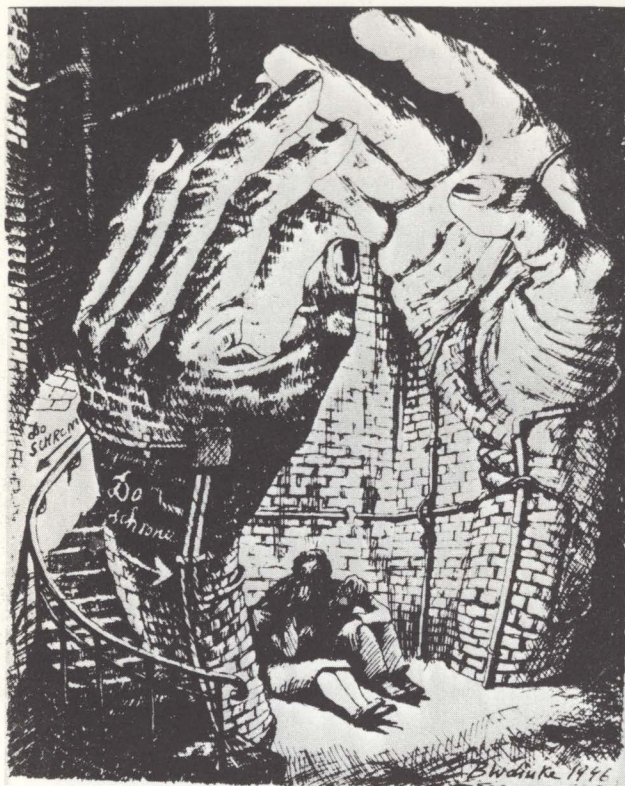


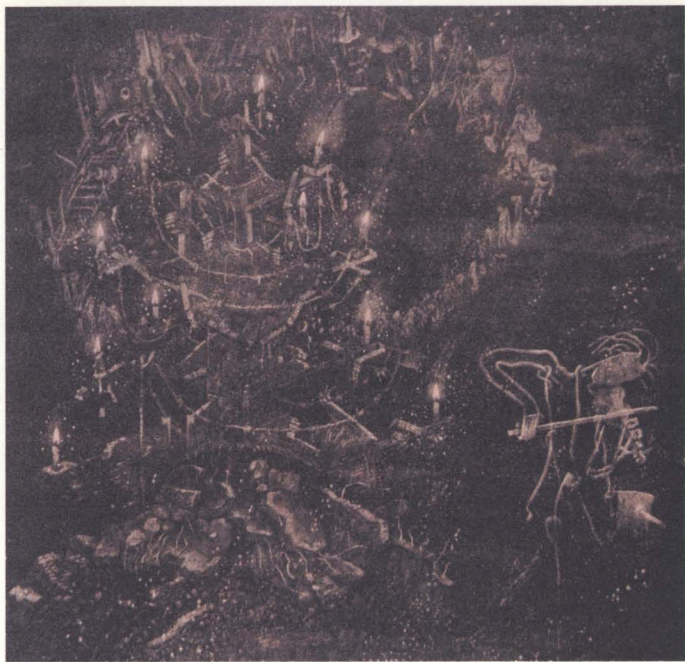
Bildmke 1986













В. С. Савицкий